

КОНСТАНТИН ПОПОВСКИЙ

# МОЗЕС

18+

*роман*

ТОМ ПЕРВЫЙ

# Константин Маркович Поповский

## Мозес

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=57384605](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57384605)*

*SelfPub; 2021*

### **Аннотация**

Роман «Мозес» рассказывает об одном дне немецкой психоневрологической клиники в Иерусалиме. В реальном времени роман занимает всего один день – от последнего утреннего сна главного героя до вечернего празднования торжественного 25-летия этой клиники, сопряженного с веселыми и не слишком событиями и происшествиями. При этом форма романа, которую автор определяет как сны, позволяет ему довольно свободно обращаться с материалом, перенося читателя то в прошлое, то в будущее, населяя пространство романа всем известными персонажами – например, Моисеем, императором Николаем или юным и вечно голодным Адольфом, которого дедушка одного из героев встретил в Вене в 1912 году. Что касается почти обязательного для всякого романа любовного сюжета, то он, конечно, тоже имеет тут свое место, хотя, может быть, не совсем так, как этого можно было ожидать.

# Содержание

Вместо предисловия	7
Книга первая. Мозес и Эвридика	9
1. Иешива	10
2. Кое-что о сновидениях в виду Пэнуэля	22
3. Еврейская самоидентификация	37
4. Филипп Какавека. Фрагмент 10.	41
5. Морг	42
6. Филипп Какавека. Фрагмент 14	48
7. Тетрадь Маэстро	50
8. Феликс и Анна. Первое явление Анны	63
9. Поминальные разговоры	73
10. Филипп Какавека. Фрагмент 123	93
11. Мастерская	95
12. Филипп Какавека. Фрагмент 15	111
13. В тени Ксенофана	113
14. Рыбы небесные	131
15. Мозес	144
16. Филипп Какавека. Фрагмент 42	148
17. Кое-какие умственные движения вокруг Маэстро	149
18. Филипп Какавека. Фрагмент 41	158
19. Вокруг одного самоубийцы	159
20. Филипп Какавека. Фрагмент 22	178

21. Первое явление Иешуа из Назарета	180
22. Тост за Самаэля	197
23. Филипп Какавека. Фрагмент 50	204
24. Ещё одно доказательство бытия Божьего	205
25. Филипп Какавека. Фрагмент 20	223
26. Соло на шофаре	224
27. Филипп Какавека. Фрагмент 13	242
28. Гостиница	243
29. Мелочи из жизни пресс-секретаря футбольного клуба	259
30. Филипп Какавека. Фрагмент 98	273
31. Местонахождение Омфалоса	274
32. Филипп Какавека. Фрагмент 9	285
33. Кое-что о господине Цирихе и истине	286
34. Филипп Какавека. Фрагмент 167	299
35. Продолжение темы	301
36. Филипп Какавека. Фрагмент 169	308
37. Видение Рая	310
38. Имя Розы	312
39. Филипп Какавека. Фрагмент 33	317
40. Меморандум Осии	319
41. Рай или что-то вроде этого	339
42. Филипп Какавека. Фрагмент 355	352
43. Доктор Аппель	355
44. Филипп Какавека. Фрагмент 77	365
45. О том, что все трудности носят безусловно	366

временный характер	
46. Поющий с чужого голоса	385
47. Некоторые насущные проблемы запоздалого отцовства	396
48. Филипп Какавека. Фрагмент 89	411
49. Мысли, порожденные созерцанием творожной запеканки	412
50. Филипп Какавека. Фрагмент 401	428
51. Эвридика, но не та, о которой будет речь позднее	429
52. Филипп Какавека. Фрагмент 223	449
53. Ещё некоторые движения вокруг истины	452
54. Лекарство от пустоты	459
55. Филипп Какавека. Фрагмент 170	473
56. Ночные стуки	474
57. Филипп Какавека. Фрагмент 205	477
58. Водные процедуры перед лицом Небес	479
59. Филипп Какавека. Фрагмент 199	489
60. Мир воняет	495
61. Филипп Какавека. Фрагмент 58	527
62. Стул Исаяи	528
63. Филипп Какавека. Фрагмент 211	546
64. Семейные сцены и никому не нужные воспоминания	548
65. Филипп Какавека. Фрагмент 71	566
66. Первое появление Самаэля	568



# Константин Поповский

## Мозес

### Вместо предисловия

*«Не находка ли это для Вечности – сегодняшний день? – Боюсь только, как бы он не оказался больше Вечности, которая рискует затеряться в этом дне, как оказался затерянным в нем я сам».*

*Константин Поповский «Фрагменты. Прогулки с Истиной и без»*

Роман «Мозес» рассказывает об одном дне немецкой психоневрологической клиники в Иерусалиме.

В реальном времени роман занимает всего один день – от последнего утреннего сна главного героя до вечернего празднования торжеств, которые случились в этот день по случаю 25-летия клиники и были сопряжены с различными веселыми и не слишком веселыми событиями и происшествиями.

При этом форма романа, которую автор определяет как **сны**, позволяет ему довольно свободно обращаться с материалом, то перенося читателя в прошлое, то прогнозируя будущее, населяя при этом пространство романа всем известными персонажами – например, Моисеем, Вильгельмом 2-м,

Филаретом Дроздовым, императором Николаем или юным и вечно голодным Адольфом, которого дедушка одного из героев встретил в Вене в 1912 году.

Однако, это вовсе не самое главное, с чем предстоит столкнуться читателю. Главное заключается в том, что больше всего героев романа, объединенных в некое подобие элитного клуба, занимают теологические и философские проблемы, которые они решают вместе с главным героем, иногда открывая для себя весьма любопытные и неожиданные вещи, которые заставляют их и нас посмотреть на мир немного другими глазами, чем прежде. Поскольку сам автор романа не причисляет себя ни к какой религиозной конфессии, то он легко дает своим героям право голоса, чем они без зазрения совести и пользуются в своих спорах, аргументах и историях, оставаясь при этом по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить все конфессиональные различия ради Истины.

Что касается почти обязательного для всякого романа любовного сюжета (первоначальное название «Мозес и Эвридика»), то он, конечно, тоже имеет тут свое место, хотя, может быть, не совсем так, как этого можно было ожидать.



# Книга первая. Мозес и Эвридика

*Моей жене Евгении,  
с любовью, нежностью и надеждой*

*«— Разве то, чего нет, — это не то, что не существует?»*

*— Да, то, что не существует.*

*— И дело обстоит разве не так, что то, чего нет, нигде не существует?»*

*— Нигде.*

*— Возможно ли, чтобы кто-нибудь, — кем бы он ни был, — так воздействовал на это несуществующее, чтобы создать его, это нигде не существующее?»*

*— Мне кажется, невозможно, — отвечал Ктесипп».*

*Платон «Евтидем».*

# 1. Иешива

Чугунные ворота иешивы были распахнуты настежь, и Давид вошел в них, шагнув через тень каменной арки, ступив на нагретые плиты двора. Пробившаяся с весны трава между плитами уже давно была мертва. Пыльная акация, положив перед собой причудливую тень, почти слилась с песчаной поверхностью ограды, – словно мираж, сотканный из раскаленного воздуха. Ступени каменной лестницы под нависшим балконом прятались в тени. До половины застекленная мутным зеленым стеклом дверь – высокая и тяжелая – нехотя впустила его в прохладный полумрак здания. Густой, падавший сверху, сине-бело-розовый свет витражей и золотое мерцание дверных ручек. Скользящий мрамор под ногами. Крестообразные тени оконных переплетов отпечатались на закрытых шторах, спасающих от солнца. Отсюда надо было подняться на третий этаж. Из круглого окна на лестничную площадку падал столб пыльного света, указывая направление: через библиотеку и дальше, вдоль деревянной галереи к лестнице, ведущей наверх. Загорелись и погасли в стеклянных шкафах электрические блики. Еще один пролет остался позади; до блеска отполированные деревянные перила легко скользили под ладонью. Льющийся сквозь зашторенные окна молочный свет, размыл границы коридора. Дверь в класс

была открыта, и рабби Ицхак уже занял свое место на кафедре, раскрыв перед собою классный журнал. Полы его сюртука, распахнутые над притихшим классом словно крылья, оберегали царившую в классе тишину. Тусклое серебро бороды и золотое свечение тонкой оправы. Белоснежное оперение манжет и воротничка. Его охватило предчувствие неминуемой расплаты. Склонившись над открытой тетрадь, он с ужасом понял, что не помнит ничего. Возможно, ему было задано подготовить дома один из Малых трактатов, но, может быть, что-нибудь другое? Например, затерявшиеся в правом нижнем углу замечания рава Ронсбурга или комментарии околдованного чужими противоречиями рабби Акивы Эгера, – ах, эти путанные комментарии, занимавшие не одну страницу! Похоже, они и теперь, спустя много лет, все еще беспокоили его в сновидениях, появляясь только затем, чтобы лишний раз напомнить о его лени и нерадивости. Сияние электрического семисвечника не оставляло ни малейшей надежды укрыться в тени. Оставалось сжаться, застыть, склонившись как можно ниже, затаить дыхание, чтобы случайным взглядом или движением не обратить на себя внимание, – вполне жалкий трюк, к тому же, как правило, приносящий прямо противоположные результаты. Шляпа рабби Ицхака плыла над классом, словно коршун, высматривающий себе жертву. Потом Мозес услышал его голос, сказавший:

«Всеблагой, да будет благословенно Его имя, призывает

не всех, далеко не всех. Поступает ли Он справедливо, когда призывает не всех, и в чем возможная причина этого, – на это нам ответит сегодня...»

Голос смолк, как смолкает на мгновение осенний ветер, прежде чем обрушиться с новой силой. Конечно, он знал, что не следует поднимать глаза, и уж тем более, смотреть в сторону кафедры. И все же он поднял их навстречу этой бесконечной паузе, обещавшей ему позор и унижение, поднял, чтобы встретиться с направленным прямо на него из-под очков взглядом, тотчас поймавшим его, словно неосторожно клюнувшую приманку рыбу или зазевавшуюся бабочку, слишком положившуюся на свои крылья. Что же и оставалось ему еще, как ни подчиниться этому голосу, безропотно приняв то, что уготовило ему уже отворявшее дверь будущее?

Ветер обрушился, прозвенев хрустальными подвесками люстры; метнулся по стенам мигающий свет семисвечника.

«Давид!» – сказал этот голос, и его имя прокатилось под расписным сводом и оборвалось вместе со звуком хлопнувшей форточки.

Смутные пятна повернувшихся к нему лиц.

Страстное желание хотя бы еще на мгновение отсрочить неизбежное.

Может быть, ему и удалось бы это, да только рабби Ицхак уже манил его, указывая место перед кафедрой.

Твое место, Давид.

То самое, где тебя мог легко заметить даже слепой.

Первое, что он увидел, оказавшись на виду у всего класса, был жирный Стеклярус, мрачно вззирающий на него с колен старой тети Берты. Сама тетя поглаживала кота и тоже смотрела на него, и на лице ее было написано знакомое выражение, которое можно было бы перевести одним словом: *ничегодругогояразумеетсяяинеожидала*. Каштановый парик ее сбился, и казалось, вот-вот свалится с головы.

То же выражение, впрочем, было и на лице дяди Шломо, сцепившего пальцы на набалдашнике своей трости, и на лицах трех троюродных сестер из Ашдода, чьих имен он не помнил, и на лице всегда веселого дурачка, охраняющего стоянку машин, – оно было даже на лице старого Нафана, о котором рассказывали, что он был женат семь или восемь раз, и чье лицо теперь казалось окаменевшим в презрительной маске, а взгляд, направленный в сторону, был холоден и почти враждебен.

Погибший во время взрыва в автобусе вместе со своей маленькой сестренкой Иося Рабман поглядывал на него с недоумением и, пожалуй, даже с жалостью, тогда как его мать, закутанная в черную, заколотую на плече большой брошью шаль, напротив, смотрела на Давида с нескрываемой ненавистью, как будто именно он был виноват в том, что миллионы порождающих друг друга случайностей сплелись в тот злополучный день и час в одну непостижимую случайность, которая привела в один и тот же автобус обвязанного взрывчат-

кой арабского террориста и ее детей, старшего Йосю и младшую Рахель.

Что же касается его тренера, – маленького Самуила, откинувшегося назад и заложившего за голову руки – то его взгляд был хотя и печален, но вполне спокоен, как, впрочем, и подобает взгляду человека, которого уже трудно было чем-нибудь удивить – в особенности после того, как его карьере чуть было не пришел конец, и разумеется, по вине все того же Давида, который в последнем отчете об игре с итальянцами позволил себе целый ряд неуместных замечаний о работе тренера, да вдобавок отпустил несколько сомнительных колкостей в адрес судьи и организационного комитета, поставив, тем самым, под сомнение свое дальнейшее пребывание в должности пресс-секретаря футбольного клуба «Цви», который, по общему мнению, уже давно наступал на пятки всем известного «Маккаби».

Нервно покусывающий свой свисток судья тоже был здесь. Он смотрел на Давида с брезгливым превосходством и взгляд этот, похоже, не обещал в будущем ничего хорошего. Тем более, подумал Давид, что его родители тоже сидели где-то поблизости, не глядя в его сторону и сгорая от стыда, потому что было совсем нетрудно догадаться, что все те, кто собрался сегодня здесь, собрались исключительно затем, чтобы услышать голос маленького Давида, по какому случаю были куплены цветы и разосланы приглашительные открытки. Даже господин Леви, имевший какую-то ученую степень

и преподававший в Еврейском университете, не отказался от приглашения, хотя уже несколько лет был разбит параличом и не покидал своего дома. Он сидел в своей коляске, укрывшись среди цветных подушек, и его торчащие из-под пледа босые ступни были похожи на только что выкопанные из земли картофельные клубни.

Дедушка Самуил обнимал за плечи бабашку Рейзл, которая, склонив на его плечо голову, смотрела равнодушно и даже чуть надменно, как на той фотографии в деревянной рамке, висевшей между окном и шкафом в маминой комнате. Взгляд фалафельщика-марроканца, напротив, был насмешлив и рот его, под пышными усами, кривился в белозубой ухмылке. Все они – и еще многие, чьи лица он не мог отсюда видеть, – пришли сюда, чтобы праздновать и веселиться, и уж во всяком случае, не слушать все те глупые оправдания, которые он собирался вот-вот вывалить присутствующим на голову. Но ужаснее всего был, конечно, паривший над первой партой огромный бант, принадлежавший дочери хозяина красной «Тойоты» с висящим на ветровом стекле пушистым медведем. Каждое утро, когда отец отвозил ее в школу, Давид смотрел из окна, пока машина не исчезала за поворотом, и, возвращаясь вечером домой, он специально делал небольшой крюк, чтобы взглянуть на угловое окно третьего этажа, где была ее комната. Теперь она смотрела на него, широко открыв глаза, словно ожидая, что сейчас произойдет нечто ужасное и в высшей степени постыдное, чего никогда

не случается в жизни, но о чем можно прочесть в некоторых книгах или узнать из случайно подслушанного разговора.

Похоже, оно уже, и правда, стояло за дверью, – это ужасное и постыдное.

Съеденное внезапно нахлынувшими из померкших окон сумерками пространство класса стало значительно меньше, – легли на лица тени и потускнели краски, – и только листы лежащей на столе перед рабби Ицхаком Книги по-прежнему излучали теплый жемчужный свет, в круг которого, повинувшись приказу рабби Ицхака, Давид готовился теперь войти – надеясь, что эти испещренные черными буквами страницы, лежащие в центре мерцающего пространства, должны были защитить его от позора и унижения, уже коснувшихся его негодующим шепотом и негромким смехом.

Его нагота – непристойная и кощунственная – была пока еще только чуть различима в окутавшей класс темноте, но сейчас, когда ему, наконец, предстояло войти в этот световой круг, чтобы испытать последнюю степень унижения и оставленности. Становилось ясно, что эта нагота уже не могла быть преодолена ни бегством, ни отступлением, ни даже жалкой попыткой спрятать ее, укрыв оберегающим покровом одежды. Похоже, происходящее указывало ему единственно возможный выход, который следовало искать в каком-то скрытом соответствии, существовавшем между этой постыдной наготой и плывущим вокруг Книги сиянием, – между бесстыдной абсурдностью обнаженной плоти и эти-



ми повисшими над страницами буквами, которые, наливаясь то красным, то белым, то голубым, уже росли и ветвились, сплетая невероятные узоры, образуя глубину и объем, и раздвигая границы света, чтобы немедленно прорасти в это новое пространство, наполнив его шорохом листьев и невысказанными переливами красок, – разросшийся «коф» цеплялся за пустивший корни «алеф», «мем» сплетался с «тафом», провиснув воздушной аркой над разбросавшим свои побеги «шином», уносился в умопомрачительную высоту стремительный «гимель», толстый ствол «вава» тянулся вверх, прочь от травянистого ковра «иодов» и нежных стеблей «нун» и «коф-софитов», – оплетавший ствол ветвистого «цади» «ламед» был подобен виноградной лозе, а ветви «айна» легко стелились по земле, путаясь в побегах «зайна», – и все эти коралловые заросли и переплетенные кроны светились, переливаясь и пульсируя. Они то вспыхивали кипящим золотом, то загорались изумрудным, сиреневым или молочно-белым магическим светом, который – потеснив из памяти стены класса – открывал теперь глубину и кружевную сложность нового изменчивого пространства, – все эти закоулки и ярусы, созданные переплетением ветвей, ажурные галереи, уводящие в чашу тропинки, повисшие над бездной поляны и мосты, едва угадывающиеся в туманной дали невысказанные деревья-гиганты, и уносящаяся в никуда путаница корней, – пространство, обещавшее открыть ему это желанное соответствие, это потаенное от посторонних глаз место, где

его нагота перестанет быть позором и проклятьем, – и, стало быть, оставалось только войти в этот трепещущий лес, в этот мерцающий, вспыхивающий, горящий праздник – вот так, раздвинув руками ветви и ступив на тропу, которая одна могла увести прочь от уже наступающего, готового затопить тебя тысячеголосого смеха, больше похожего на шум морского прибоя.

Впрочем, этот смех уже не казался ему ни ужасным, ни внушающим страха. Разве что, на редкость бессмысленным показался он Давиду, – таким каким смеялся когда-то жирный Рувимчик, сын торговли-эфиопки с соседней улицы, вечно пахнувший шоколадом или мятной карамелью, за что его звали Батончик Дерьма, и чей смех Давид слышал напоследок, прежде чем в наступившей тишине сомкнулись за его спиной стеклянные ветви и чей-то голос, наполнивший собой все видимое пространство, сказал, не заботясь о том, слышит ли кто-нибудь его или нет, – *"Приду и в святости Моей освятишься"*.

Именно так и было сказано, и это лишало тебя возможности сомневаться, тем более что сразу после сказанного на мир опустилась долгожданная тишина и черная фигура в шляпе, мелькнувшая напоследок среди деревьев, могла, наконец, вернуться туда, откуда она и начала когда-то свой путь, требовалось только поскорее скрыться среди всех этих "вавов", "йодов" и "зайнов", чтобы самому стать одним из них, – вот так, раскинув руки-ветви, протянув их навстречу

уже меркнувшему небу, пустив корни в лежащую под ногами бездну и повторяя про себя, что награда – это всего лишь возвращение, а обретенное всегда в состоянии обрести только самого себя.

Наверное, именно поэтому таким чужим выглядело теперь собственное отражение, смотрящее на тебя из туманной дали меркнувшего небесного зеркала, – хотя следовало признать, что оно имело несомненное сходство с физиономией жирного Рувимчика, – каким его можно было видеть в телевизионной религиозной программе, которую он вел каждый четверг: те же кокетливо пружинящие, безукоризненно завитые пейсы, и заплывшие хитрые глаза, да еще это непередаваемое выражение лица, – словно он был со Всевышним в самых близких отношениях, которые требовали теперь от всех окружающих уважения и понимания. При этом, разумеется, он тоже ничего не желал знать о твоей жаждущей благословения нагой плоти, которая, быть может, была только преддверием другой, последней и ослепительной наготы, стремящейся прочь от оплетающих ее мертвых ветвей и корней. Это значило, конечно, что прежде чем выбрать направление бегства, следовало без промедления узнать, кто же ты все-таки такой, забывший свое имя и не помнящий своего лица?.. Кто ты, смотрящий сквозь мертвую сеть ветвей, как взбирается на небосвод мерцающий алмазами Скорпион, – уже готовый выкрикнуть в окружающую тьму давно готовый вопрос, который следовало задать, пока Рувимчик на экране

телевизора еще не успел взять в руки микрофон,  
выдохнуть эти застрявшие в горле слова,  
чтобы услышать в ответ голос рабби Ицхака, –  
– близкое пробуждение иногда позволяет нам расслышать  
и понять тишину самой нашей оставленности, на несколько  
мгновений остающуюся от навсегда уходящего от нас сна, –  
– голос, подобный порывам сухого хамсина, поющего  
свою песню над сожженной травой Негева или рокоту, плывущему над Храмовой площадью в Песах или в Шавуот –  
– этот никогда не утруждающий себя повторениями голос,  
ответивший ему:

«Ты – Давид Вайсблат, пресс-секретарь футбольного клуба "Цви", играющего, как умеет, перед лицом Господа твоего, который вывел народ твой из плена и исполнил все до последнего слова, как клялся отцу их Аврааму в Харране...»

Донесшиеся до слуха слова были услышаны в уже осязаемой тишине пробуждения. Они, несомненно, принадлежали рабби Ицхаку. Но только не стремительно тающему сну. А поскольку этот голос также ни в коем случае не мог принадлежать возвратившейся реальности – хотя бы только потому, что тело его хозяина уже несколько лет мирно покоилось на южном склоне Еврейского кладбища, – то, вероятно, оставалось отнести эти слова к реальности другого, высшего порядка, – к той самой, которая была, как пишут знающие книги, домом ангелов и источником откровений, – последним местом, где человек еще мог встретиться с Небом, что-

бы получить наставления или лишний раз убедиться в своей оставленности. При этом следовало, конечно, признать, что хотя логика этого рассуждения и была вполне безупречна, она, тем не менее, не избавляла нас от сомнений, тем более, не давала в руки твердых доказательств, поскольку одним из основополагающих принципов, на котором созидалась та реальность, куда возвращался теперь Давид, состоял в том, что эта, называющая себя явью реальность, хоть и не умела сама продемонстрировать что-либо вразумительное и достоверное, зато с легкостью позволяла каждому обитающему в ней «хомо сапиенсу» – опираясь на свой опыт или не опираясь вообще ни на что – самому, на свой страх и риск, выносить окончательные суждения об истинности или ложности чего бы то ни было: увиденного, услышанного или же только помысленного – не важно, своего или чужого.

Именно это и намеревался сделать теперь Давид, расставаясь с последними ключьями тающего сна. Но прежде следовало открыть глаза.

## 2. Кое-что о сновидениях в виду Пэнзуэля

Сны занимали его, главным образом, в силу их непредсказуемой опасности. Большинство из них, правда, уходило, не задев ни памяти, ни сердца: пестрая чехарда смазанных образов, вышивающих свои нехитрые сюжеты из обрывков подсмотренной реальности и не имеющих своей доли в дневной жизни. Но случались и другие сны, они властно творили свое пространство, которое, скорее, походило на камеру пыток, откуда немислимо было убежать уже только потому, что их власть не признавала границ, отделяющих сновидение от яви.

Эти сны вторгались без какого бы то ни было повода, не считаясь с действительностью, но, что еще хуже, они не считались даже со временем, которое одно обладало когда-то способностью врачевать раны и возвращать покой, а теперь само обернулось сном, искусно скрывающим подлинную реальность. Эти сны захватывали тебя врасплох, превращая в беззащитную куклу, послушно исполнявшую все, что требовал их незамысловатый пыточный сценарий. Сны-кошмары, не наполненные никаким содержанием, кроме беспредельного ужаса перед чем-то, не имеющим даже фор-

мы, – черный провал, настагающий тебя, чтобы поделиться единственным богатством, которым он обладал: последним и окончательным уничтожением, у которого не было даже имени.

Случалось, впрочем, что эта бездна обретала иногда какие-то смутные очертания, – не то человеческой фигуры с протянутыми к нему руками, не то чудовищной рыбы, раскрывающей пасть, – но чаще все же это был только беспросветный мрак, сжимающий грудную клетку, забивающий рот, пеленающий по рукам и ногам невидимой сетью. Ужас, который он испытывал при этом, был часто столь велик, что он сразу просыпался от собственного крика. Но прежде, чем проснуться, – в непостижимом мгновении, отделяющим сон от яви, – он успевал понять, что рвущийся из его горла крик был не только свидетельством овладевшего им ужаса, но и вызывающей о помощи мольбой, – рожденной из глубины последнего отчаянья молитвой, невозможной среди погруженной в сомнения обыденности дневной жизни.

Молитвой, которая, несомненно, была услышана, о чем неопровержимо свидетельствовало наступившее вслед за тем пробуждение.

Какие еще нужны были доказательства, Давид?.. И был ли этот странный трепещущий звук, сопровождавший его возвращение, действительно шелестом ангельских крыльев, посланных избавить его от неминуемой смерти, как это, помимо воли, приходило ему в голову?

Самого Давида, впрочем, это нисколько не занимало, как не занимал его и вопрос о том, насколько заслуженно было его спасение. Полагая, что случившееся относится к той редкой области, где важен сам факт, а не его истолкование, он не делал никаких выводов, кроме разве что одного: поданная ему помощь была реальна и несомненна, как реален и несомненен был и сам он, – стоящий на краю гибели и взывающий об избавлении. Это значило, среди прочего, что и те, другие сны, которые ранили его болью – были только испытанием, только проверкой – тем более что именно на этом настаивал в одном из своих писем рабби Ицхак, ссылаясь на слова Ирмеягу, сказавшего: «не слушайте снов ваших, которые вам снятся», ибо по свидетельству Шмот даже сбывшийся сон ни в коей мере не подтверждает истинности самого этого сбывшегося, а лишь указывает на то, что Всеблагой искушает нас, чтобы узнать глубину нашего сердца...

Возможно, – отмечал рабби Ицхак, – что эти сны могли быть также предупреждением и здесь он указывал на спор между Йовом, сказавшим: «Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня», и Елиуем, ответившим (и, кажется, не без основания), что, приходя во сне, Бог «открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость... чтобы душу его отвести от пропасти и жизнь его от поражения мечом».

К этому рабби Ицхак добавлял уже от себя (и его мне-



ние, как нельзя кстати, было тогда созвучно настроению самого Давида), что, вероятно, следует допустить существование темных областей, угрожающих нашей жизни, – областей, не пронизанных божественным светом и стремящихся прорваться в нашу действительность, для чего они избирают самый короткий и прямой путь, ведущий через человеческую душу, которой они пытаются овладеть в сновидениях.

Тем самым, – продолжал рабби, – эти сны можно было понять и как испытания нашей готовности самостоятельно противостоять уводящим от света боли и отчаянью, и как предупреждения об опасности вторжения темных сил, угрожающей превратить нашу жизнь в одну только видимость и мираж...

Сон, приснившийся ему сегодня, был, впрочем, не похож ни на то, ни на другое, хотя бы потому, что снился ему уже не в первый раз. Впервые он увидел его еще в иешиве, много лет назад, тогда этот сон ушел, не оставив следа, чтобы затем вернуться и повториться еще много раз – тревожа и маня. Декорации его менялись от раза к разу, но главное оставалось без изменений: полумрак иешивы, его абсурдная нагота, бегство в пылающие заросли разросшегося текста, и, наконец, голос рабби Ицхака, предвещающий неминуемое пробуждение.

В иешиве, куда он ходил много лет назад, конечно же, не было ни мраморного пола, ни витражей, ни висящей в классе хрустальной люстры, –

еще не разлепив веки,  
лениво перебирая в памяти давно прошедшее,  
он вновь лишний раз убеждался,  
что в бессознательной потребности сравнивать образы  
сновидений с реальностью таилось всего лишь обыденное  
желание покоя и уверенности,  
ибо эта потребность, как нельзя лучше, подчеркивала  
устойчивость и прочность желанной яви,  
ее достигаемые горизонты  
и вполне понятные требования.

Не было в той иешиве, разумеется, и расписного свода, и электрического семисвечника, и огромных, мерцающих золотом, дверных ручек, как, впрочем, не было и третьего этажа, куда на этот раз вела во сне широкая лестница. Крохотная иешива рабби Ицхака располагалась в двухэтажной пристройке старого дома, в глубине заканчивающейся тупиком улочки, которая, кажется, даже не имела своего имени. В памяти остались выкрашенные зеленой краской стены и тесная прихожая, где висела в шкафу верхняя одежда, квадратные окна, выходящие во двор, – там действительно росла у ворот старая акация, – потертые корешки Виленского Талмуда, стоявшие вместе с другими книгами в незастекленных шкафах напротив окон, и висевшие над столами пыльные стеклянные плафоны с аккуратно выписанными на них цитатами из Танаха.

Второй этаж пристройки занимал вместе с женой сам раб-

би Ицхак, – туда вела со двора наружная железная лестница, всегда отзывающаяся на шаги поднимающихся или спускающихся по ней тревожным гулом.

Покопавшись в памяти, можно было вспомнить еще кое-какие мелочи, например, капли воды, падавшие на раскаленные камни двора с развешенного на балконе белья, или разносившийся из открытого окна кухни запах жареного лука и рыбы, или же, наконец, саму госпожу Хану Зак, боком спускавшуюся с лестницы, чтобы отправиться на рынок или к младшему сыну, живущему в соседнем квартале, – Давид давно обратил внимание, что если зацепиться за оставшееся в памяти прошлое и сосредоточиться на нем, то спустя какое-то время начинаешь припоминать скрытые до того второстепенные детали, очертания вещей и лиц становятся отчетливее, и все, что прежде было разбросано и смазано, начинает возвращаться на свои места, складываясь в отчетливую картину, подобно тому, как отдельные пятна и линии проступая на фотобумаге, постепенно образуют одно целое. Другое дело, что точность деталей, похоже, не имела к его сну никакого отношения, потому что здесь все было совсем не так, как в действительности, – в особенности это касалось здания, более походившего во сне на дворец; впрочем, так было и во всех предыдущих сновидениях, где оно то поднималось в небо сверкающим нагромождением стеклянных сфер и кубов, то дробилось в немозгльных пересечениях зеркальных отражений или же утопало в цветах, которые рос-

ли прямо из стен и свисали с потолка. Неизменной оставалась лишь растущая у ворот старая акация, хотя и она однажды тоже прозвенела в одном из его снов густой серебряной листвой.

Скорее, в качестве забавного курьеза, нежели чего-то, что нуждалось в серьезном обсуждении, Давид упомянул однажды об этом превращении в одном из писем к рабби Ицхаку. Тот ответил ему на удивление обстоятельно и подробно. В первую очередь он высказал осторожное сомнение относительно нашей способности видеть и понимать подлинную суть окружающих нас вещей.

Можно думать, что вещи, с которыми мы имеем дело в этом мире, равно как и сам мир, в действительности, далеко не то же самое, что они представляют собой в своей последней истинности, как воплощение великого Божественного замысла, – писал рабби Ицхак своим аккуратным, почти прозрачным женским почерком.

Подлинная сущность вещей скрыта от нас, как скрыта от нас и наша собственная природа. Ссылаясь на первую главу Брейшит, рабби отметил в подтверждение сказанного, что сотворенный мир, несомненно, был хорош в глазах Сотворившего его, ибо он был сотворен Его волей и по Его замыслу, – однако, из этого вовсе не следует, что мир хорош также и для нас, находящих себя в этом мире, пребывающих в нем и созерцающих его изнутри. Ведь если под словом «хорошо» – пояснял рабби, – понимать истинный смысл и

сущность вещей, их последнюю красоту и смысл, то это может быть открыто лишь очам Того, Кто вызвал эти вещи из мрака небытия, – но совсем не обязательно очам смертных, видящих мир гадательно и неясно. Ибо, подобно морским птицам, обреченным самой природой проводить всю свою жизнь на морских просторах и иногда ныряющим в непонятной тоске в темную глубь моря, – мы довольствуемся лишь далеким от первоначального совершенства образом мира, чья истинная суть до поры до времени надежно скрыта от нас волей Всевышнего.

Извинившись за некоторую, возможно, излишнюю цветистость слога (к чему он действительно имел порой неодолимую склонность), рабби Ицхак отметил далее, что безбрежная водная ширь, конечно же, дает морским птицам пищу и пристанище, однако никто не будет спорить с тем, что следует отличать «хорошее» от «полезного» – если под «хорошим» понимать истинное и последнее. Разве же в Брейшите говорится, что Всесильный открыл нам Творение в его истинности? – вопрошал рабби, и отвечал – Конечно, нет, ибо там сказано лишь о том, что все, что Он даровал человеку, было даровано ему для его пользы (как эти плодоносящие деревья или годная для пахоты земля), однако ничего не сказано, что Он открыл человеку Творение в его сокровенной глубине. Лишь сам Всесильный видит Творение так, как оно задумано – в его изначальной чистоте и окончательной завершенности, – а значит, оно действительно является тако-

вым и таковым будет пребывать вовеки, ибо слово Всемогущего – непреложно.

Вот почему, – торопливо продолжал рабби Ицхак, словно боялся потерять нить размышлений, – вот почему следует помнить, что смерть и разрушение, страдание и старость – все это суть только видимость, проистекающая из нашей неспособности видеть сущее в его высочайшем совершенстве, и в этом нам следует черпать утешение и надежду. И разве не о той же надежде свидетельствует загадочное молчание Создателя, не высказавшего о человеке своего одобрения, ибо завершающее шестой день творения «хорошо» было обращено не непосредственно к сотворенному человеку, но относилось, скорее, ко всему Творению в целом, или, во всяком случае, к положению человека в мире, где он был призван властвовать и повелевать? Ведь определяя человека, с одной стороны, через возложенную на него задачу (властвовать, возделывать и хранить), а с другой, через его подобие Тому, Кому никто и ничто не может быть подобно, Брейшит подводит нас к мысли о возможности бесконечного совершенствования человека, о его бесконечном приближении к видению истинной сути вещей и мира, когда зло следует понимать, как способность видеть своими собственными глазами, а добро – как способность созерцать мир глазами самого Творца, или, – насколько это возможно, – приблизиться к такому созерцанию, хотя было бы большой ошибкой считать, что это созерцание есть только опре-

деленный способ познания, – пусть даже это познание является истинным и последним.

Это значило, конечно, – легко догадался Давид, – что видеть сокровенное, значит обнаружить свою собственную сокровенность, а различать истинное – значит самому быть истинным.

Другими словами, – заключал рабби в последних строках своего письма, – увидеть мир глазами Творца, означает самому стать таким, каким тебя видит Творец...

Когда-то очень давно это письмо навело Давида на грустные размышления о влиянии греческой и европейской философии на еврейский дух, заговоривший чужим языком и утративший, в результате, свою ясность и простоту. Не тени Филона и Маймонида проступали за его строчками? И разве не повторял рабби Ицхак Платона и Спинозу, чьи рассуждения выпирали из-под традиционной одежды, сотканной из цитат и заговорившего молчания? Что значит это повторение в устах того, кто верил всем сердцем, что Всевышний в состоянии умерщвлять младенцев и заниматься истекающим слизью или потерявшим волосы? Ответить на это, вероятно, не составляло бы большого труда, однако едва ли не тогда же, или, быть может, чуть позже, перечитывая письма учителя, Давид начал ловить себя на подозрении, что, возможно, речь здесь шла совсем о другом – о чем-то, чему сам автор писем не мог, сколько не старался, найти адекватного выражения и потому был вынужден прибегать к тради-

ционной терминологии и вводящим в заблуждения символам, так, словно он изо всех сил пытался передать ускользающие образы сновидений, которые никак не вмещались в границы яви, или поймать лишь одному ему слышную мелодию, ничего общего не имеющую с ее нотной интерпретацией, – одним словом, нечто, что никак не удавалось спеленать сетью привычных понятий и логических приемов, и что оставляло после себя лишь крепнувшую раз от раза уверенность в безнадежности всех дальнейших попыток.

Впрочем, кроме этого оставалось и еще кое-что, а именно, сама эта невозможность рассказать об увиденном, – это кричащее и доступное для всеобщего обозрения косноязычие, похожее на клеймо, которое, пожалуй, одно могло свидетельствовать в пользу действительного существования этого ускользающего – подобно хромоте, подаренной когда-то Якову Боровшимся с ним в Пэнуэле, чтобы эта хромота свидетельствовала, что случившееся с ним во сне, случилось на самом деле.

Это таинственное клеймо, это мучительное косноязычие, обретающее себя в безнадежных поисках нужных слов, Давид со временем научился различать почти за всем, о чем писал и что говорил рабби Ицхак.

Иногда он сравнивал эти попытки с ночной борьбой Якова, изнемогавшего в объятиях Напавшего, иногда же – с криками Йова, воющего над телами своих мертвых детей. Случалось, что вчитываясь в аккуратные строчки писем, он



вдруг начинал чувствовать, что ему все же удалось проникнуть за завесу слов, подобрать к дверному замку нужные ключи, – но даже если ему это действительно удавалось, подсмотренное быстро исчезало, как только он пытался сформулировать его в привычных понятиях.

Немота, жаждущая воплощения и всякий раз получающая в дар хромоту.

Необыкновенно ясно она проступала в конце письма, где точность мысли – очерчивающей и высвечивающей свое загадочное пространство – соседствовала с довольно жалким выводом, невольно наводя на подозрение, что все это – не более чем шутка или мистификация.

Рабби Ицхак бен Иегуди Зак писал:

Видеть мир глазами Творца – означает самому стать таким, каким тебя видит Творец. Это значит также, что подлинное и сокровенное всегда рядом с нами, оно – не иное, чем то, с чем мы ежедневно сталкиваемся в нашей жизни. Если же мы не в состоянии преодолеть окутавшую жизнь видимость, то это происходит только в силу нашего неумения или нежелания вернуться к самим себе, – вновь увидеть себя поставленными Всесильным в самую сердцевину Творения и слушающими Его голос, призывающий нас властвовать и повелевать.

Не указывает ли Брейшит на что-то очень важное, рассказывая, что человек был сотворен в последний день Творения, чтобы получить из рук Творца власть над сотворен-

ным? Разве иметь власть – не значит быть другим, нежели то, над чем ты властвуешь, – не в этом ли и заключается истинный смысл человеческой свободы: быть вне всего, чтобы царствовать над всем?

Конечно, – торопливо продолжал далее рабби Ицхак, словно желал поскорее миновать это опасное место, – кто скажет, что подобная свобода всего лишь пустота – тот будет, наверное, тысячу раз прав, ибо, что же еще можно сказать о том, что не является ничем и не принадлежит никому? Но разве не эта пустота составляет нашу подлинную природу, – ту, о которой не было сказано, что она «хороша», может быть, только потому, что она оказалась лучше всякой похвалы, несмотря на то, что ее день еще не наступил?

И разве не она была призвана к тому, чтобы властвовать и повелевать, терять и находить, возделывать, хранить и побеждать, любить и отдавать, преображать и преодолевать непреодолимое – и все это перед лицом Сотворившего ее, как это и было сказано: «встань, пройди по этой стране в длину ее и ширину, ибо тебе Я отдам ее»?

Ибо, что нам с того, – продолжал рабби, – что мы знаем, что человеку не дано видеть истинную сущность Творения, если ему дана возможность бесконечного приближения к этому видению, в котором – обретая свою собственную истинность – он преодолевает призраки страдания, смерти и несовершенства, окутавшие мир и пребывающие в мире вещи?

Близость к сокровенному, – заключал, наконец, рабби Ицхак, – вот на что должны мы направить все свои помыслы.

Близость к сокровенному, которое всегда рядом, ибо неизменно пребывает, охваченное взглядом Творца, – увиденное Им и живущее в этой вечной увиденности.

Вот почему, – напоминал рабби, – нам следует быть внимательными и всегда готовыми, ибо иногда Всесильный позволяет нам – наяву или в сновидении, – увидеть эту сокровенность окружающего, быть может, не так ясно и отчетливо, как ее видели пророки и великие праведники, но вполне достаточно для того, чтобы мы могли различить в ее свете свое собственное лицо и лежащий под ногами путь.

И, стало быть, – допускал рабби Ицхак, возвращаясь к нашей прежней теме, – преображенное в сонном видении здание иешивы, может быть, и не значило ничего особенного, но, возможно, Давиду было дано увидеть ее в ее подлинном облики, – такой, какой ее видит сам Творец...

– и прочее, и прочее, hoc genus omne.

Уже значительно позже Давид отметил по поводу этого пассажа, что, в конце концов, из каждого Канта рано или поздно выглянет свой Шопенгауэр, звенящий контрабандными отмычками от, казалось бы, навсегда запечатанных дверей. В противном случае, – подумал тогда Давид, – мир давно бы уже погрузился в молчание.

Впрочем, иногда он ловил себя на подозрении, что, в сущности, здесь не требовалось никаких отмычек, потому что,

на самом деле, не существовало ни самих дверей, ни скрывающейся за ними тайны. Не было ничего сокровенного, что лежало бы по ту сторону слов, за исключением этого абсурдного ночного единоборства в виду Пэнуэля, – этого чертового мордобоя, награждающего тебя в результате обжигающим клеймом, хромотой и другими увечьями, которые отрывали человека от привычного мира и делали его непохожим на других.

Иногда ему приходило в голову, что, пожалуй, не было бы ничего удивительного, если бы оказалось, что именно эту нелепую мысль и пытался выговорить его старый учитель.

### 3. Еврейская самоидентификация

Если принять во внимание мнение рабби Ицхака бен Иегуды, полагавшего, что снившаяся Давиду иешива вполне могла быть точным отражением истинного творения Вечности, то это же следовало бы, пожалуй, сказать и о самом рабби, чей облик, нет-нет, да и возникал во снах Давида. Во всяком случае, это можно было бы легко допустить хотя бы в отношении того повторяющегося сновидения, в котором присутствие рабби было неизменным и, похоже, обязательным. И хотя причудливые и неправдоподобные образы, в которых он приходил, менялись от сна ко сну, тем не менее, он всегда оставался в этих сновидениях именно рабби Ицхаком, – не важно, восседал ли он при этом среди застывших стеклянных облаков, или давал о себе знать повисшей над классом шляпой, чьи поля украшали маленькие букеты весенних тюльпанов, или же, наконец, просто прогуливался возле стен Старого города, постукивая по асфальту своей неизменной палкой с серебряным набалдашником, изображавшим смотрящего в разные стороны двуликого Януса. Но, даже прорастая на его глазах деревом или порхая под потолком беззаботной бабочкой, он всегда сохранял нечто свое, что, как правило, позволяло безошибочно отличить его от прочих персонажей сна, – возможно, потому, что за этим скрывалось его

особенное отношение к Давиду, которое трудно было передать словами, хотя оно и наводило, конечно, на мысль о серьезных отношениях учителя и ученика, или об идеальных отношениях отца и сына, и не только вело его по жизни при дневном свете, но и оберегало Давида в его ночных странствиях.

Однажды, когда в случайном разговоре он упомянул об этих превращениях, рабби Ицхак, рассмеявшись, отвечал ему в своей обычной манере, свойственной ему, когда приходилось говорить о себе. (За глаза Давид называл ее «Манера Ускользящей Откровенности», потому что, не вызывая сомнений в искренности говорящего, она почти всегда оставляла слушателя в неведении относительно собственного отношения рассказчика к излагаемым им фактам своей жизни, – так, словно факты эти были сами по себе, тогда как рассказчик, то есть сам рабби Ицхак, хотя и имел к ним какое-то отношение, но, скорее, лишь косвенное и вполне случайное).

– Похоже, – сказал рабби, отвечая на рассказ Давида об иешиве, – похоже, никто из нас не знает достоверно своей подлинной сущности, не знает самого себя. Поэтому нам не дано знать и своего назначения на этой земле. Смысл Творения в целом, открыт, конечно, только Всевышнему, – продолжал он с некоторой неуверенностью, наводящей на подозрение, что, в случае возражения, он готов немедленно отказать от своих слов.

– Можно, например, предположить, – сообщил он после небольшой паузы, – что отдельная человеческая жизнь длится, возможно, только ради одного единственного события, о смысле которого человек даже не догадывается... Да, представь себе, ради какого-нибудь, на первый взгляд, совершенно случайного события, которому он, возможно, даже не придает большого значения... Поэтому нет ничего невероятного, – добавил он, неожиданно улыбаясь, – нет ничего невероятного, если вдруг окажется, что я пришел в этот мир только затем, чтобы время от времени показываться тебе в твоём сновидении, о котором ты мне рассказал... Не так уж и плохо, – заключил рабби, не переставая улыбаться и не внося никакой ясности относительно того, заключалась ли в его словах скрытая ирония (как правило, призванная сгладить пробелы нашего знания), или же сказанное следовало понимать буквально (что невольно наводило на мысль о смирении, как наипервейшей добродетели, украшающей послужной список всякого праведника).

Что касается Давида, то он, скорее, был склонен соглашаться с последним.

Тем более что когда речь заходила о рабби Ицхаке, он всегда почему-то вспоминал сначала случайно подсмотренное выражение его лица, – такое, каким он видел его однажды, когда тот произнес свою известную фразу, причинившую ему позже немало хлопот.

– Еврей – сказал он тогда, – это всегда только смирение

и ожидание...

– В сущности, еврей – это всегда только смирение и ожидание, – произнес рабби Ицхак, опустив на стол развернутый номер «*Едиот ахронот*», который он только что читал.

На фотографии, помещенной в центре газетной полосы, стоял похожий на раздавленную коробку, развороченный взрывом автобус, окруженный полицейскими и санитарными машинами, запрудившими перекресток улиц Яффо и Кинг Джордж.

Он что-то еще добавил, впрочем. Что-то, что, пожалуй, можно было бы и не говорить. Ах, да.

– В противном случае, – добавил рабби Ицхак бен Иегуди Зак, – я уверен, что ему было бы лучше начать есть по субботам свинину.



## 4. Филипп Какавека. Фрагмент 10.

«Умирающая бабочка, лежащая в грязи на обочине осенней проселочной дороги в слякотный октябрьский денек, похоже что-то хочет сказать нам своим оранжевым и бархатисто-черным – таким нелепым здесь в своей яркости – узором и широко раскинутыми крыльями, уже едва дрожащими, но еще помнящими летнее солнце и тепло воздушных потоков, кружащих ее над цветущей землей, – что-то, что мы не услышали летом, и что теперь вряд ли поймем, обреченные всегда опаздывать и догонять истину, которую ведь все равно не догнать, если верить этой осенней дороге, и серой пелене, в которой тонет лес, и этому морозящему дождю, и этой еще зеленой, но уже обреченной траве, – всему тому, что, кажется, тоже хочет сказать нам что-то, что мы не умеем или не хотим вовремя услышать и понять».

## 5. Морг

Возможно, ты помнишь, как мы встретились тогда глазами, и ты чуть кивнула мне, ведь, слава Богу, мы были знакомы до этого уже не первый год. Это значит, что время от времени мы встречались то у общих знакомых, чаще всего у Феликса и у твоей сестры Анны, то на каких-то выставках и никому не нужных презентациях, а один раз мы даже отмечали в какой-то компании Новый год, впрочем, это было так давно, что я, конечно, уже не вспомню ни самого этого года, ни компании, ни тех, с кем ты была.

Несколько раз я видел вас вместе с Маэстро, – как-то в кинотеатре (показывали, кажется, Фассбиндера) – он махнул мне рукой и я ответил тем же, и лишь после заметил тебя, сидящую рядом и смотрящую в сторону, поверх голов. (*«Все фильмы Фассбиндера напоминают о зубоврачебном кабинете, – сказал он, когда мы вышли из кабинеты. – Тошно и стерильно».*) Впрочем, это было, кажется, позже, а до того я как-то столкнулся с тобой в его мастерской (шестой этаж старого дома без лифта, узкая лестница с выщербленными и обкатанными ступенями, страшный беспорядок в двух вечно прокуренных и пропахших краской комнатах, а за окнами мансарды – разноцветные крыши Города. Я легко представляю, как ты взбиралась по этим ступенькам, наклонив голову

и вполголоса чертыхаясь, зацепившись за выставленные на лестницу коляски или всегда открытые оконные рамы.) Кажется, это было месяцев за пять до того; я снимал его картины для какого-то каталога, он торопился, роясь в подрамниках и вытаскивая один за другим холсты, а ты сидела в глубине комнаты, между окном и заваленным рисунками столом – черное пятно среди цветных пятен, – и, напрягая память, я вспомнил позже коралловую нитку бус, и раскрытую сумку на столе, и длинную черную юбку, достающую почти до пола. Возвращаясь к той встрече (право же, в ней не было ничего символического, – в ней не было вообще ничего, что заслуживало бы внимания, – разве только то, что она отпечталась в памяти и осталась вместе с другими, никому не нужными воспоминаниями, чтобы по прошествии многих лет напомнить о себе, удивляя точностью деталей и свежестью красок), я вспомнил позже даже скрип стула, когда ты встала, чтобы принести нам чай. Какое-то время спустя в памяти всплыло выражение твоего лица – поднятые брови и чуть выпяченная нижняя губа – когда ты сказала: «Я бы взяла еще вот эту». («А ты что скажешь?» – спросил он, обращаясь ко мне.), – и другое выражение, почти неуловимое, созданное едва заметным прищуром глаз и опущенными уголками губ, – когда ты заметила, что не видишь слишком большой разницы между полотнами последних лет и теми, трехлетней давности. «Ну, это как посмотреть», – отмахнулся Маэстро, продолжая возиться с картинами, – стирая пыль с подрамников?

отыскивая недостающую часть триптиха? – я почти не помню его тогда, лишь несколько фраз, да расстегнутая, когда-то песочного цвета рубаша, вспыхивающая под солнцем всякий раз, когда он проходил мимо открытого окна.

И еще раз мы оказались вместе совсем незадолго, на этот раз в помещении какого-то спортивного клуба, где открывалась его выставка. Клуб был на окраине, и гостей было совсем немного; я знал их всех, по крайней мере, в лицо, за исключением какого-то корреспондента с роскошной «Яшикой» на животе, – художники или их знакомые, кто еще поедет в такую даль ради двух-трех десятков развешанных в плохо освещенном зале полотен? – корреспондент слепил вспышкой то в одном, то в другом углу, и я не отставал от него, ловя в объектив знакомые лица и стараясь поймать на них выражение, сообразное происходящему (требование, которое я многожды раз слышал от Зямы Рубинчика, моего первого наставника в фотографии, который, впрочем, будучи человеком в высшей степени справедливым, никогда не забывал при этом добавить, что сообразное происходящему выражение не часто встретишь даже у покойников).

Корреспондент – он все-таки оказался, в конце концов, корреспондентом – заговорил вдруг с тобой по-французски, и ты отвечала ему – не слишком свободно, но достаточно уверенно, и я опять отметил это неуловимое выражение твоего лица, – еле заметный прищур и опущенные уголки глаз – загадочная смесь доброжелательности с почти вызывающим

равнодушием, – я успел поймать его в кадр и нажать затвор до того, как оно сменилось ничего не значащей улыбкой. Потом кто-то поманил меня в соседнюю комнату, где на канцелярском столе уже стояли две бутылки водки и какая-то закуска. Он уже был там, вечный черный свитер с засученными рукавами дополнял на сей раз белый воротничок рубахи, – рассеянная улыбка и покачивание головой в ответ на слова собеседника, легкое подмигивание в мою сторону и приглашающий жест в сторону стоящих бутылок. Потом, в сопровождении француза, появилась ты, и тобою тут же занялся Ру, который, кажется, давно уже был влюблен в тебя, – во всяком случае, таково было общее мнение, – он оттеснил француза, который, кстати, был на голову его выше, и принялся уговаривать тебя выпить за здоровье Маэстро (ну, хоть самую малость, позвольте, да тут всего один глоток), а сам Маэстро, повернувшись, молча смотрел на вас с улыбкой, пока Ру, наконец, не уговорил тебя, и к тебе потянулись через стол руки со стаканами, – конечно же, к тебе, ведь по какой-то нелепой случайности ты была здесь единственной женщиной (но вот еще вопрос, откуда взялось столько стаканов в этом Богом забытом месте?) И здесь я неожиданно увидел все происходящее совсем по иному, чем мгновение назад, словно в нем проступил его тайный смысл, который невозможно было передать словами, который можно было только случайно увидеть и подсмотреть, – тайный смысл, благодаря которому каждая черта, и каждое лицо, и движе-

нье, и взгляд оказались, наконец, на своем месте – и ты, странно помолодевшая, совсем девочка в окружении взрослых мужчин, и эти мужские лица вокруг, и черный свитер Маэстро, и поднятые стаканы, – безмолвный символ, за которым не пряталось ничего, кроме самого остановившегося времени, ставшего на мгновение совершенной формой (жарптицей, смеющейся над своими незадачливыми ловцами), а потому, не дожидаясь, пока это совершенство вновь обратится в фальшивую определенность, следовало поскорее втиснуть его в кадр, поймать, прежде чем оно развалится на отдельные лица, выражения, краски (впрочем, только затем, чтобы спустя день или два, полоская в проявителе мокрую бумагу с проступающими на ней пятнами, в который раз убедиться, что оно вновь ускользнуло от тебя, а с фотографии на тебя смотрит все то же, не знающее совершенства, время).

Вспышка слизнула комнату, и вслед за тем все вернулось на свои места. Феликс, кажется, поднял руку и попросил внимания, намереваясь сказать тост, и все это было почти накануне, кажется за неделю или чуть больше до того, как мы встретились с тобою глазами на дальнем больничном дворике, возле дверей морга, и ты кивнула мне, ведь, слава Богу, мы были знакомы уже не первый год, а теперь встретились возле самых дверей, – четыре стертые ступени под проржавевшим козырьком, к тому же мы не знали, что это служебный вход и, войдя, сразу же наткнулись на каталку с лежащим на ней под прозрачным полиэтиленом телом с повер-

нутой в нашу сторону головой и приоткрытым ртом. Ты не вцепилась мне в рукав и не остановилась, хотя переход от солнечного осеннего дня, который мы оставили за спиной, к липкому полумраку, густо напоенному запахом смерти, был достаточно резок даже для меня. Я помню, как ты решительно толкнула следующую дверь, и я вошел вслед за тобой в это царство смерти, до краев наполненное осенним солнцем, теплом и цветами. Сидящий за столом санитар читал книгу, он посмотрел на нас безо всякого интереса и вновь опустил голову. Кто-то, уж не помню – кто из сидящих поднялся тебе навстречу. Кивнув Феликсу и Анне, я сел на свободное место. На коленях у Анны лежал букет белых гвоздик. Простой гроб был закрыт и, кажется, уже заколочен, потому что сбившая Маэстро машина протащила его за собой несколько метров, выбросив затем под колеса идущего навстречу грузовика. Через распахнутые прямо во двор большие стеклянные двери ярко било осеннее солнце, мы сидели молча (хотя, быть может, на этот раз мне изменяет память), пока, наконец, вошедший распорядитель не предложил всем присутствующим начинать собираться. Потом во двор начал медленно въезжать автобус и тень от него легла на желтый кафельный пол, на гроб и на лица провожающих. Было утро, должно быть, где-то около десяти.

## 6. Филипп Какавека. Фрагмент 14

«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Философия, пожалуй, самая чистоплотная особа на свете. Помилуйте! Она даже не подозревает, что в мире существуют такие вещи, как свалки нечистот и отхожие места. Велика ли важность – отхожее место? Но откуда нам это знать а priori? Задача философии, в конце концов, выяснить все, в том числе, разумеется, смысл и значение отхожих мест. И вот вместо этого она воротит от них свой нос и закрывает глаза, делая вид, что их просто не существует. Скажут, что философия только послушно следует туда, куда ведет ее Истина. И верно! Чистоплотная Истина, целомудренная Истина, окрашенная в розовое и голубое, – разве не она требует от нас чистоты в качестве необходимого условия своего собственного познания? Однако приглядимся: эти розовые тона – не чахоточный ли румянец? А эти манящие голубые блики – не синюшные ли это пятна, которые не скрыть никакими притираниями? Истина больна, – всякая Истина больна – той загадочной и странной болезнью, которой боги наградили когда-то фригийского царя: все, до чего бы он ни дотронулся, немедленно превращалось, как мы помним, в золото. Не то же ли и с Истиной? К чему бы она ни притронулась, чего бы ни коснулась, все тотчас же обращается в ликующие песнопения и



цветущие сады. Здесь кроется разгадка и философской чистоплотности: философия вовсе не отворачивается от отхожих мест, – она превращает их в сады и розарии, точно следуя тому, чего требует от нее Истина. Это, конечно, болезнь, метафизическая болезнь, ничуть не менее опасная, чем болезнь Мидаса. И, подобно тому, как обращенный в золото хлеб не спасает от голода, так и преобразенный в розарий мир ничуть не в состоянии избавиться от грязи и нечистот, которые по-прежнему не только пугают, но и манят нас, хотя бы уже тем, что они существуют наперекор Истине и помимо нее. Впрочем, грязь и нечистоты остаются на наше полное усмотрение. Потому-то вольно или невольно мы всегда вынуждены выбирать между двумя или даже тремя «или», не сомневаясь при этом, что, сколько ни выбирай, а все останется на своих местах: и Истина, ничего не желающая знать о грязи, и грязь, не желающая обращаться в цветущий жасмин, и, наконец, наша загадочная неспособность не только выбирать между реальностью и иллюзией, но, зачастую, просто отличать одно от другого. Похоже, что последнее тоже есть своего рода болезнь, метафизическая болезнь».

## 7. Тетрадь Маэстро

Но, даже допуская, что наша возможная встреча перед дверью морга была в высшей степени символической, – словно кто-то развернул перед нами спрессованное в одно мгновение будущее, – даже допуская это, трудно было отделаться от сомнений, что в действительности все эти символы и знаки были лишь игрой запоздалого воображения, легко вычисленной фантазией, вытекающей из вечной человеческой потребности в устойчивости и порядке. Ведь, в конце концов, символическое значение того или иного факта, как правило, распознается лишь по прошествии времени, властвуя исключительно над прошлым, благодаря чему утрачивает свой первоначальный смысл, который состоит только в том, чтобы предостерегать, защищать и оберегать нас от вторжения в нашу жизнь таинственных и непонятных сил, – ибо кому, в противном случае, нужны эти запоздалые предостережения и невнятные знаки, легко поддающиеся разгадке задним числом и с неизбежностью исполняющиеся прежде, чем ты успеваешь понять смысл происходящего?

И все же, несмотря ни на что, он все равно продолжал отыскивать эти сомнительные знаки, эти указывающие правильное направление магические отметины, смысл которых заключался в том, чтобы в очередной раз растолковать тебе

все случившееся, расставив все по своим местам и сделав, наконец, все события прошлого осмысленными, понятными и не вызывающими сомнений.

Одной из таких отметин стала общая тетрадь в синем коленкоровом переплете, которую Давид увидел однажды на кухне Феликса во время одного из субботних вечерних чаепитий, которые с некоторых пор стали уже почти традицией.

Толстая тетрабочка, на обложке которой была аккуратно выведена большая буква «М».

– Нет, ты видел? – говорил Феликс, разводя руками, словно призывал присутствующих разделить с ним удивление от свалившегося на него подарка. – Оказывается, она записывала за нашим Маэстро все, что он говорил. Слово в слово... Каково?

– Только то, что мне казалось интересным, – сказал Ольга.

– Только то, что ей казалось интересным, – повторил Феликс. – Ну, ничего себе!.. А то, что не казалось интересным, с тем что?

Было похоже, что он и в самом деле удивлен и обрадован.

– А ты не знал? – спросила Анна со странной, почти незаметной усмешкой, – так, словно она давно уже знала кое-какие обстоятельства обсуждаемого предмета, но не хотела, чтобы это становилось известно широкой публике.

– Конечно, я не знал, – сказал Феликс. – Откуда, интересно, мне было это знать, подумай сама?.. Разве я похож на человека, с которым все спешат поделиться последними ново-

стями?

– Ты похож на человека, который любит все, кроме новостей, – сообщил Ру. – Вопрос только, в том, насколько сильно ты не любишь этих бедных крошек.

– Ты так говоришь, как будто я сделала что-то неприличное, – сказала Ольга.

– Конечно, нет, – сказал Феликс. – Я просто удивился, что ты ничего нам до сих пор не говорила, вот, собственно, и все... Почитать-то хоть можно будет?

– Почитай, – сказала Ольга, подталкивая к Феликсу толстую общую тетрадь в синем коленкоре.

Давид восхищенно присвистнул.

– Господи, – сказал Феликс, открывая тетрадь и листая страницы. – Да тут наберется на солидную книжку.

– Даже не думай, – быстро сказала Ольга, заставив тогда Давида впервые насторожиться, хотя для этого вроде бы не было пока никаких серьезных поводов.

В конце концов, она не сказала ничего особенного.

Ничего, кроме этого *«даже и не думай»*, которое недвусмысленно давало понять всем окружающим, кто является настоящим хозяином этой тетради, вольным распорядиться ею так, как он посчитает нужным.

Тайна, о которой и без того прекрасно догадывались все присутствующие.

– Ладно, – Феликс быстро раскрыл тетрадь. – Поживем, увидим. Интересно только – насколько точно ты все записы-

вала?

– Можешь не беспокоиться, – сказала Ольга, и Давиду вновь показалось, что в ее голосе прозвучала едва различимая враждебная нотка.

– На вашем месте, дорогие мои, прежде чем спорить, я бы сначала прочитала сам текст, – не отрываясь от вязанья, заметила Анна.

– Конечно, – сказал Феликс, листая тетрадь. – Конечно, мы читаем все до последней строчки. Можешь не сомневаться.

– Буду только рада, – Анна, похоже, даже не скрывала того, что в ее словах кроется нечто большее, чем то, что слышали все окружающие.

Так, – мелькнуло в голове у Давида, – словно ей выпала возможность вновь напомнить присутствующим: что бы мы там ни говорили и что бы ни делали, мы все равно останемся только реками, несущими свои темные воды мимо вечерних берегов, – метафизическими реками, прячущимися от того, что они отражают, подобно убегающему пророку Ионе, которого Небеса взвесили и нашли легким и неспособным сказать «да будет!».

Кажется, одна из первых записей этой толстой тетради в синем коленкоре гласила:

*«Настоящее всегда опознает себя только в своем прошлом, Оно обретает себя во вчерашнем дне, обращаясь в слово и мысль, то есть, обретая язык, но навсегда теряя се-*

бя, как настоящее. Сейчас – это всегда вчера или когда-то. Смысл настоящего самого по себе – утерян для нас. Не менее вероятно, что этот смысл, быть может, не существует вовсе; во всяком случае, доведись нам узнать его, он ничуть не напомнил бы нам то, что предлагает нам наша память. Вот почему оно так неуверенно в себе, это Настоящее, не знающее ни отдыха, ни сна, ни покоя

Тогда, в самые первые дни, он лишь пытался нащупать какую-нибудь нить, на которую можно было бы нанизать весь этот хаос торопливо сделанных записей, заключенных в общей тетради в синем коленкоровом переплете.

Вероятно, поэтому эта запись ускользнула от него тогда, чтобы вернуться позже, когда – в точном соответствии с ее содержанием – приходилось признать (или, во всяком случае, заподозрить), что и сама она, – с точки зрения и ее происхождения, и последующих событий, – явилась своеобразным предупреждением, косвенным намеком, – глухим и невнятным, – каким, собственно, и полагалось быть *предупреждению*, посланному из Царства мертвых.

Позже Давид обнаружил в этой записи какую-то магическую прелесть (свойственную, впрочем, многим записям Маэстро), – этакую изящную игру, в которой слова служили только для того, чтобы очертить какую-нибудь замысловатую фигуру или пространство, чтобы затем стремительно унести прочь при первой же попытке внимательного прочтения и, вместе с тем, остающихся на месте, лишая тем са-

мым зрителя возможности сосредоточиться и остановиться на чем-нибудь одном и вынуждая его опять и опять искать несуществующую точку опоры (что, как правило, вызывало естественное и довольно понятное раздражение).

Эта запись была, кажется, именно такого рода. Во всяком случае, Давид воспринимал ее именно так, ибо предостерегая, она, в то же время, свидетельствовала своим собственным содержанием о невозможности каких бы то ни было предостережений, а вселяя тревогу, отрицала свой собственный смысл, поскольку сама эта тревога служила предостережением, демонстрируя тебе некий двоящийся мир переходящих друг в друга призраков.

Конечно, он ни на минуту не забывал, что это было только *предостережение*, – нечто, что еще только требовалось доказать, как любил повторять к месту и не к месту Ру, хотя и без всякого Ру было понятно, что возвращение к этой записи все равно было почти неизбежно, хотя бы потому, что сама тема времени занимала у Маэстро столько места, что это трудно было посчитать простой случайностью.

– На мой взгляд, все выглядит достаточно банально, – заметил как-то Феликс, когда, в который уже раз, мы вернулись к этой теме. – Одно то, что художник имеет дело только с пространством, невольно вынуждает его не замечать, что на свете существует еще и такая замечательная вещь, как время. Пространство, которым он занят, просто не нуждается во времени. Оно вообще ни в чем, кроме самого себя не нужда-

ется, потому что оно разворачивается из себя и живет только собой. И при этом, спешу обратить ваше внимание, оно и не желает никаких изменений, – любое изменение было бы для него, как для целого, катастрофой. Оттого пространство, которое разворачивается на полотне, всегда враждебно реальному времени, оно его просто не хочет знать и не знает. Возьмите любую картину, – причем, не важно, будет ли это Тициан или Миро, – лично я часто ловлю себя на ощущении, что они просто издеваются над нами. Понятно, что всякое искусство самодовольно, но живопись самодовольна в особенности. Это значит, что живописное пространство вовсе ничего не изображает, вот что я хочу сказать («Ну, уж и ничего?» – сказал кто-то). Оно занято только тем, что орет во всю глотку, что ему удалось сожрать время. И больше ничем. Поэтому художник, если хотите, всегда еще немного и убийца, да еще с комплексом вины перед убитым им временем. А история живописи – это история умерщвления времени. Возьмите хотя бы «Черный квадрат». Все что он говорит, это то, что Царство времени закончилось и началось что-то другое, чему нет даже имени... А теперь я вам скажу, что отсюда следует...

– Вероятно, нечто, что заставить нас всех содрогнуться от собственной ограниченности, – предположил Левушка.

– Вот уж в чем можешь не сомневаться, – не отрывая глаз от лежащей на коленях книги, усмехнулась Анна.

Мы снова сидели на кухне у Феликса и Анны, – кухне,



скорее напоминавшей кабинет из-за громоздившихся по стенам книжных полок, которым не нашлось места в комнатах – впрочем, оранжевый абажур над столом и пестрые клетчатые занавески, как и знаменитая коллекция пустых бутылок, не давали забыть, что это пристанище зовется все же кухней, и что только здесь, в действительности, возможен недолгий покой и уместны вечерние беседы, потому что – какая-никакая – а кухня все же остается подобием очага, она хранит память о закопченных стенах и согревающим огне, чью ускользающую тень, если приглядеться, можно было распознать как в электрическом свете оранжевой лампы, так и в синем пламени газовой конфорки. Я не удивился бы, если кто-нибудь стал бы вдруг серьезно настаивать на том, что только здесь имеют смысл слова, которые произносил Феликс (да, впрочем, и все мы), тогда как в любом другом месте они выглядели бы и неуместно и смешно. Мне самому время от времени приходило в голову, что все, что мы произносим, нуждается, в первую очередь, в своем собственном пространстве, которое приняло бы наши слова, дав им возможность ожить и раскрыться в полной мере, – или же, напротив, отвергло бы их, обрекая на насмешки и скорое забвенье. Впрочем, на этот раз все было в совершенном порядке. И художник, обреченный испытывать чувство вины перед временем, которое он убивает, и сама вина, вытекающая из переживания того, что время, все-таки, есть всегда нечто более значительное, чем застывшее в своем самодовольстве пространство, –

да, пожалуй, эта кухня была самым подходящим местом для подобных сплетений, потому что только здесь становилось понятным (во всяком случае, принималось в качестве допустимого), что причину этой неудовлетворенности следовало бы все-таки искать где-то здесь, ибо живописное пространство, прикидываясь решением, на самом деле, всегда мертво («Побойся Бога, золотце», – негромко сказала Анна). Впрочем, никто так хорошо не знает этого, как тот, кто сотворил его, потому что, на самом деле, ему нужно совсем не это застывшее красочное пятно, а нечто совсем другое.

– Если я правильно понял, – сказал Левушка, – то мы как всегда вплотную приблизились к неразрешимой проблеме господина Пигмалиона?

– Если угодно, – подтвердил Феликс.

– Тогда я позволю себе вставить небольшое замечание, которое, надеюсь, кое-что прояснит.

– Сделай такую милость, – сказал Феликс.

– Я только хотел сказать два слова о природе живописного пространстве.

– Ого, – негромко сказал Ру.

– Для этого я спрашиваю, как вообще оно возможно, это пространство, и в чем его сущность? И отвечаю – сущность живописного пространства заключается в его завершенности, свершенности, в его, если хотите, невозможности стать другим. Его тайна заключается в том, что оно уже достигло своего совершенства, стало, так сказать, взрослым, способ-

ным удержать свое содержание, которое оно противопоставляет всему миру, занятое исключительно только собой... Не знаю, что вы думаете, но, по-моему, это хорошая мысль.

– По-моему, это совсем неплохо, – сказала Анна, отрываясь от книги. – Пространство, которое стало взрослым... Разве нет?

– Конечно, нет, – возразил Феликс, похоже, задетый реакцией Анны. – Я против и притом – категорически и принципиально... Господи, о чем вы говорите! Пространство всегда инертно и всегда готово подчиниться тому, что приходит извне... Почитай хотя бы Арнхейма.

– Непременно, – сказала Анна.

– Побойтесь Бога, ребята, – сказал из своего угла Ру. – Маэстро – гений, и этим все сказано.

Разумеется, ответом ему был укоризненный взгляд обоих.

– У одного философа сказано, что гений – это человек, который безрезультатно ищет ключ к несуществующей двери, а затем пытается выдать эту безрезультатность за некий результат, – снисходительно сказал Левушка. – Вот это мы, как раз, и пытаемся сейчас выяснить: насколько безрезультатными были попытки Маэстро.

И повернувшись в сторону Анны, добавил:

– Кстати, если уж говорить о результатах, то кофе был просто божественный

– Спасибо, – сказала Анна и улыбнулась. – Это Феликс варил.

– В таком случае, беру свои слова назад, – сказал Левушка. – Между нами говоря, кофе был довольно невыразительный.

– Не нравится, не пей, – сказал Феликс.

– Между прочим, – обиженно сообщил Ру, – если вы еще не забыли о чем шел сегодняшний разговор, то я могу вам об этом напомнить.

– Не надо, – сказал Левушка.

– А по-моему, так очень даже надо, – сказал Ру. – Потому что он касался в первую очередь того, что живопись только тем и занята, что раскрывает время и в этом ее главный смысл.

– Конечно, она раскрывает, – мягко протянул Феликс. – Но только мы не об этом.

– Да уж, – сказал Левушка. – Если живопись что и раскрывает, то только свое собственное желание раскрыть то, что оно хотело бы видеть раскрытым ... Надеюсь, вы меня поняли.

Давид посмотрел на Левушку с интересом.

Кажется, Ру хотел было что-то возразить, но передумал и только махнул рукой.

– Еще одну минуточку, – сказал между тем, Левушка, соскользнув с подоконника и возвращаясь на свое место за столом. – Мне кажется, что, вероятно, стоило бы все-таки говорить не о времени, которое, в конце концов, есть только невразумительная абстракция. В действительности же суще-

ствуует нечто, что все мы, каждый на свой лад, пытаемся поймать, но что всегда ускользает, оставляя нам, в лучшем случае, красивый мрамор, который потом пылится где-нибудь в музее. («Это еще в самом лучшем случае» – подтвердил Феликс.) Собственно, время, – время, это всегда только ускользание того, что мы ищем. Мы блуждаем в поисках постоянства, но оно существует для нас только как ускользающее. Мы даже не знаем его имени. Это, как охотник и заяц: *modus vivendi* зайца – бегство, а *modus vivendi* охотника – преследовать и убивать. Но убитый заяц годится разве что на жаркое. И мне кажется, что это противоречие между тем, что мы ищем и его вечным ускользанием – единственное, что вообще заслуживает внимания. Поэтому, например, меня не очень удивляет, что Маэстро занимала эта тема...

– Занимала? – негромко переспросила Анна.

Конечно, мы одновременно посмотрели друг на друга, я и Ру, и слегка кивнули, что должно было значить: ну, разумеется, Анна, как всегда, великолепна. Кто-кто, а уж она-то никогда не упустит случая поставить все на свои места, так, чтобы не оставалось уже никаких сомнений. И самое замечательное, что она всегда делала это совершенно бескорыстно, из одной только любви к порядку, и тут, конечно, оставалось только заткнуться, потому что – что, собственно, можно было возразить против порядка, который (и это можно было прочесть во всех книгах, стоящих и здесь на кухне, и в двух других комнатах) воплощал собой покой совершенства,

да, вдобавок еще, олицетворял ту самую справедливость, которая, не вникая ни в какие подробности и обстоятельства, расставляла все на свои места...

– Банальность – это характеристика не предмета, а всего лишь того места, с которого мы его рассматриваем, – отвечая Левушке, заметил Феликс.

– Вот именно поэтому, – сказал Ру, вновь загнанный в угол.

– И все-таки, ты сказал: занимала, – негромко повторила Анна.

## 8. Феликс и Анна.

### Первое явление Анны

Разумеется: все мы уже давно смирились с тем, что Феликс и Анна – это одно неделимое целое, некое маленькое андрогинное царство, задуманное еще до сотворения мира, алмазная монада, повернутая внутрь самой себя, и только внешне являющаяся в образе двух отдельных людей, одного из которых зовут Феликс, а другого – Анна. Анна – Феликс, Феликс – Анна, – мы хорошо знали, что это только различные имена, которые обозначают одно и то же (подобно множеству божественных имен, которые указывают на одну сущность), поэтому, когда мы говорили о Феликсе, как-то само собой подразумевалось, что речь идет также и об Анне, – хотя, пожалуй, еще вопрос, как заметил однажды Ру, подразумевается ли Феликс, когда разговор заходит об Анне. А потому – добавил он со свойственной ему любовью обращать самые простые мысли в милые философские абракадабры, – следовало бы пользоваться этой формулой с осторожностью, ибо греша двусмысленностью, она, пожалуй, легко могла ввести в заблуждение, поскольку подразумеваемое всегда ощущается, как нечто более значительное, подобно тому, – добавил он, – как сущность, являясь нам,

хотя и позволяет говорить о себе, но лишь как о явлении, и никогда, как о сущности.

(«По своему характеру философия подобна щипцам для орехов» – заметил где-то Маэстро. И добавил, что орехи, разумеется, важнее.)

Как бы то ни было, оно все же существовало, это царство чужого согласия, эта вещь в себе, стеклянное море, в которое нельзя было погрузиться и оставалось только скользить по его поверхности, в лучшем случае – наблюдая, как мелькают в глубине загадочные и непонятные тени. «Какой-то сплошной филоменобавкидизм», – как заметила однажды Ольга.

Да, Филомен и Бавкида, Бавкида и Феликс, Анна и Филомен, – но в этом замечании не было ни капли восхищения, скорее – хорошо скрытая досада, потому что, в конце концов, не было ничего удивительного, когда человек замыкается в своем собственном царстве, исчезает за своими границами. Сколько песен пропето одиночеству, – вероятно, столько же, сколько произнесено проклятий, – но все выглядит иначе, когда стена прячет двоих, в этом мерещилась какая-то несправедливость, какое-то надувательство, словно перед твоим носом вдруг захлопнули дверь, – я сказал «мерещилось», а это значило, что все происходило наперекор здравому смыслу, который немедленно заставлял тебя устыдиться, – бам! и сразу вслед за тем щелчок никелированного замка, и, как правило, это случалось именно тогда, когда по рассеянности ты уже собирался переступить порог, забыв



о неприкосновенности разделяющей вас границы.

Впрочем (и тут здравый смысл, наконец, вступал, конечно, в свои права) – никаких претензий. В конце концов, каждый волен проводить границы там, где он считает нужным. Тем более что для тех, кто оказался по эту сторону, всегда оставался простор для тщательного наблюдения и непредвзятого анализа, глядя на которые, правда, трудно было отделаться от ощущения, что ты исследуешь только внешнюю сторону фактов и событий, тогда как все прочее оставалось только в области домыслов и шатких гипотез.

*(«Наши мысли, слова и представления стираются от долгого и безнадежного соприкосновения с действительностью, – записал на одном из клочков бумаги Маэстро. – Наконец, они умирают, потому что их собственная природа обрекает их на пустоту. Действительность не нуждается в словах, но именно поэтому она всегда остается в одиночестве, – по ту сторону*

– Последняя фраза кажется мне совершенно излишней, – сказал Феликс. – Что это значит – по ту сторону? Если речь идет всего лишь о том, что мы не в состоянии приблизиться к реальности, то это достаточно тривиально, или, во всяком случае, требует серьезных аргументов. К тому же весь отрывок выглядит, как поэтический образ, тогда как последняя фраза подана в качестве точного вывода, а это несерьезно...

На мгновение за столом воцарилось неловкое молчание.

– Я и не знал, что среди нас есть люди, чуждые поэзии, –

укоризненно сказал, наконец, Ру. – Это новость.

– К тому же, печальная, – отметил Давид.

– Господи! – сказал Феликс. – Я только сказал простую вещь, которая должна быть понятна даже таким одноклеточным, какими являетесь все вы! – Он чуть привстал, вытянув руку и указывая то на Ру, то на Давида. – Кто смешивает жанры, тот неясно мыслит, вот все, что я хотел сказать. Я не против метафор, но не тогда, когда разговор идет об эпистемологии.

– Мы не против метафор, – сообщил Ру, подмигивая Давиду. – В целом, мы, конечно, за.

Тот согласился, добавив при этом, что, как ни крути, метафора – дело святое.

– К тому же, он обозвал вас одноклеточными, – наябедничал Левушка.

– Тьфу на вас, – отмахнулся Феликс.

– Тьфу, это не аргумент.

– Можете мне не верить, – сказал Феликс, – но в этом случае трудно найти аргумент лучше.

– Хочу напомнить присутствующим, – сообщил Левушка, разливая остатки водки, – хочу вам напомнить, дураки, что если уж говорить о метафоре, то метафора нужна нам только для того, чтобы продлить миг. Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но, по-моему, это хороший повод для того, чтобы культурно выпить.

– Где-то я уже это слышал, – сказал Ру. – Кто это сказал?

– Про выпить сказал я, а про метафору, кажется, Борхес. И еще неизвестно, кто сказал лучше.

– Мне кажется про выпить лучше сказал ты, – польстил Давид.

– Согласен, – кивнул Левушка. – Про выпить лучше сказал я, а про метафору Борхес... Каждому свое.

– Если мне будет позволено вмешаться, – сказала вдруг Анна, поднимая от вязания голову, – если никто не станет возражать, – продолжала она, неожиданно вмешиваясь в разговор, хотя, сказать по правде, эта неожиданность никого из присутствующих не удивила, поскольку в случае с Анной она, как правило, всегда *ожидалась*, всегда маячила где-то совсем рядом, причем, даже тогда, когда казалось, что Анна была за тысячу километров от нас, занятая какой-нибудь книгой, чаем или своими вечными спицами.

– Интересно, кто бы стал возражать, – поинтересовался Левушка.

– Мы все во внимании, – сказал Феликс.

Чуть помедлив, Анна продолжила:

– Тогда я бы сказала, золотце, что у Маэстро в этом отрывке идет речь совсем о другом. И уж во всяком случае, не об эпистемологии.

– Вот, – сказал Ру, приглашая всех обратить внимание. Впрочем, это «вот» вполне могло означать и совсем другое. Например, оно могло служить чем-то вроде предупреждения, указывающего на то, что нам, возможно, представилась

редкая возможность заглянуть за закрытую дверь, проникнуть на мгновение в таинственную глубину, лежащую за спокойной поверхностью стеклянного моря, успеть разглядеть мелькнувший за стеклом загадочный силуэт.

– Мне кажется, – продолжала Анна, – он просто хотел сказать, что реальность не меньше нас переживает свою неспособность пробиться сюда, к нам. Мы для нее тоже – по ту сторону, понимаешь?.. («А-а», – сказал Феликс откуда-то издалека.) И все, что она находит у нас, – это только наши слова и больше ничего. Поэтому он говорит: действительность не нуждается в словах. Знаешь, что это значит?

Она повернула голову и посмотрела за окно, где уже во всю силу разгорался яркий закат.

– Это значит, милый, что она нуждается в чем-то другом. Наверное, так же, как и все мы.

– Мне кажется, это совершенно необязательно, – сказал Левушка, впрочем, неуверенно и вполголоса.

– Понятно, – Феликс слегка качнул головой и пожал плечами, словно ничего другого он и не ожидал. – Склонность к антропоцентризму, как известно, является признаком младенческого мышления, и тут уж ничего не поделаешь. Но, к счастью или к несчастью, действительность вообще ни в чем не нуждается. И уж меньше всего, в наших сомнительных рассуждениях относительно последней истины.

Странно, но Анна почему-то и не думала ему возражать. Вместо нее открыл рот Давид, который сказал:

– Это смелая гипотеза. Хотя мне попадались гипотезы и посмелее.

– Несомненно, – протягивая руку к коньячной бутылке, отметил Левушка. – Есть гипотезы посмелее, но трудно придумать более ненужную. Да, вот хотя бы, – продолжал он, разливая коньяк. – Имеет ли этот коньяк отношение к действительности или вовсе никакого («Имеет», «Не имеет», «Самое прямое», – сказали одновременно Феликс, Давид и Ру) ясно, что не это самое главное... Да, дайте же мне сказать, дураки! Существенно только то, что мы его все равно рано или поздно выпьем. Это, во-первых. А во-вторых, поскольку другой коньячной действительности для нас на сегодняшний день не существует, мы будем скромно довольствоваться тем, что имеем...

– Аминь, – сказал Ру.

– В слове «довольствоваться» мне слышится легкий запах мученичества, – сказал Давид, лениво констатируя этот очевидный факт безо всякого, впрочем, энтузиазма, из одной только привычки находить в чужих аргументах уязвимые места. Можно было бы и промолчать.

– В конце концов, – сказал Левушка, – я только кратенько изложил мнение великого Какавеки, с которым я в этом пункте совершенно солидарен. («Ты солидарен со Штирнером», – сказал Ру.) Если мы далеки от действительности, – продолжал он, подняв свою стопку, – то и хрен с ней, с родной. Другими словами – ей же хуже, если мы далеки... Ведь

никто не станет отказываться от коньяка на том основании, что его действительная природа нам неизвестна. Или я ошибаюсь?... Феликс?

– Не знаю, как у вас тут, а у нас, в России, коньяк отдаляет от родины, – закрыв ладонью рюмку, сообщил Феликс. Похоже, подумал Давид, он сильно перебрал. Глаза его блестели, словно от повышенной температуры.

– Отчего, пардон? – не понял Давид

– От Родины, – и Феликс почему-то показал на пустую бутылку водки, которую еще не убрали со стола.

– Ты это серьезно? – спросил Ру.

– Абсолютно, – кивнул Феликс, для пущей убедительности пристукнув ладонью по столу.

– Тогда выходит, что рассол, наоборот, приближает, – сказал Ру.

– Логично, – согласился Давид

– А вот мне кажется, что вы отклонились от темы, – сказал Левушка. – Жалкие шовинисты. Кого коньяк отдаляет, тот может не пить... Анна?

– Да, – кивнула Анна. – Чуть-чуть... – Потом она протянула Ру свою рюмку:

– Не знаю, правда ли, что мы далеки от действительности, но я очень хорошо могу себе представить, что она так же одинока, как и все мы здесь. Я даже могу предположить, что у нее тоже есть свои пустые слова, которыми она пытается зацепить нас и при этом безо всякого успеха. И они тоже

стираются о нас, так же, как стираются наши. – Она улыбнулась и добавила негромко, словно извиняясь. – Такое вот мучение и по ту, и по эту сторону.

Левушка и Ру выпили и одновременно посмотрели на Анну.

– Метафизический ужас, – сказал Левушка, одновременно закусывая. – Все, что нам остается, это сидеть и дожидаться, пока они, наконец, не сотрут друг от друга и не остановят этот метафизический кошмар.

– Чем мы, собственно говоря, и занимаемся, – сказала молчащая до сих пор Ольга.

– Конечно, – согласилась Анна, не поднимая глаз. – Мы занимаемся именно этим. Но зато нас может утешать мысль, что когда они сотрут, не будет больше ни той, ни этой стороны. А этот ваш Какавека, – сказала она, и, поджав губы, сморщила нос, так словно одно только упоминание об этом предмете могло вызвать тошноту. – Этот ваш Какавека...

– Что такое? – спросил Ру.

Она покачала головой, как будто хотела освободиться от неприятных воспоминаний. Затем сказала:

– Не хочу никого обижать, но иногда он напоминает мне крысу, которая больше всего на свете дорожит своим хвостом.

– Очень поэтично, – засмеялась Ольга.

– Все, все, все, – Феликс протянул руку к коньячной бутылке. – Довольно. Я признаю, конечно, что по части спасе-

ния души ты весьма преуспела, но, поверь мне, радость моя – философская герменевтика – это совсем не то же самое, что богословская экзегеза.

Было похоже, что блестящие глаза его смотрят от выпитого в разные стороны.

– Я тебе верю, золотце, – сказала Анна. – Только, пожалуйста, больше не пей.

– Ты, наверное, забыл, – Левушка показал на коньячную бутылку, которую держал Феликс. – Разве коньяк не отделяет от Родины?

– Плевать, – сказал Феликс, наливая себе полную стопку.

– Интересно, на кого, – спросил Левушка. – На родину или на коньяк?

– И все-таки, я бы хотел сказать несколько слов в защиту рассола, – неуверенно начал было Ру.



## 9. Поминальные разговоры

Уже потом, не раз и не два, он вновь вспоминал, как эта, забившая три комнаты, толпа вдруг вынесла их в пустую в эту минуту кухню, – словно быстрый ручей вынес вдруг два упавших в него листка в тихую заводь, где вода была почти неподвижна и можно было передохнуть от бессмысленного бега спешащего неизвестно куда ручья.

Пожалуй, это было даже похоже на чудо: толпа, гудящая за закрытой застекленной дверью и пустая кухня, в которую почему-то никто не рвался.

– Черт, – нервно сказала она, опускаясь на единственный на кухне стул и выпуская прозрачное облако клубящегося дыма. – Господи, как хорошо... Хоть немного передохнуть от этих идиотских разговоров...

– Да уж, – согласился Давид, опускаясь вслед за ней на пол возле холодильника. – Если, конечно, они сейчас не бросятся сломя голову сюда.

– Бедный Маэстро, – она стряхнула пепел на пол. – Ты не заметил?.. У меня такое впечатление, будто они обгладывают его как собаки кость.

– Что-то в этом роде, – сказал Давид, продолжая удивляться, что кроме них на кухне больше никого нет. – Но ведь это поминки. Чего ты еще ждала от поминок?

– Ничего, – она вновь выпустила в лампу клубящийся сигаретный дым. – Но, как правило, почему-то всегда ждешь сначала чего-нибудь хорошего.

– Сначала, – повторил Давид.

– Сначала.

Она улыбнулась.

Похоже, это был хороший признак.

Странно, но повисшее затем молчание было совсем не в тягость. Потом она сказала:

– Просто какие-то идиоты. Половину из них я вижу в первый раз...

– Есть такие специальные люди, – сказал Давид. – Их встречаешь только на поминках.

Она негромко засмеялась. Потом спросила:

– А ты видел этого лысого в клетчатом пиджаке?.. Он десять минут рассказывал, как замечательно Маэстро умел открывать зубами пиво... – Она негромко фыркнула и выругалась. – Ты видел когда-нибудь, чтобы он открывал зубами пиво?

– Нет, – сказал Давид. – Не видел. А этот лысый в пиджаке, это Хванчик. У него галерея.

– И черт с ним, – сказала Ольга. – И с его галереей тоже.

– Да, – согласился Давид, изо всех сил желая, чтобы никому не пришло в голову зайти на кухню. – Говорят, что он на свободе только потому, что сдал всех, кого только можно.

– Оно и видно, – она на мгновение исчезла в клубах дыма.

Еще одна пауза, легкая и естественная, как будто они дали друг другу немного времени подумать и передохнуть, прежде чем продолжить этот ни к чему не обязывающий разговор.

– Представить себе не могу, – сказала она, наконец, вновь нервно стряхивая пепел на пол. – Просто какой-то бред... Мы ведь еще в четверг были с ним в кино... Ты представляешь?... В этот самый чертовый четверг...

Она засмеялась.

Холодно и насмешливо, словно давая кому-то понять, что ничего другого, пожалуй, и не ожидала.

На этот раз его не обмануло, что ее глаза смотрели прямо на него, тогда как на самом деле ее взгляд плутал где-то далеко, возможно, в том самом четверге, которому уже не суждено было никогда повториться, – ну, разве что в сновидениях, которые приходят, не требуя нашего согласия, чтобы затем снова оставить нас наедине с нашей болью и нашими вопросами.

– И что вы смотрели? – спросил он, подозревая, что вопрос может показаться не совсем уместным. В ответ Ольга только усмехнулась и спросила:

– Думаешь, это имеет какое-нибудь значение?

– А черт его знает, – пожимая плечами, сказал Давид. – В последнее время я что-то плохо стал понимать, что имеет значение, а что нет.

– Это плохо, – она даже не старалась придать своему голо-

су хоть немного сочувствия.

– Бывало и хуже, – не удержался Давид, почувствовав легкую обиду. Впрочем, это, пожалуй, было уже лишним. В конце концов, не самое подходящее время, чтобы делиться своими болячками, до которых, на самом деле, никому не было дела.

Она потушила сигарету и посмотрела в окно, за которым уже стояла черная южная ночь. Потом спросила:

– Видел Мордехая?

– О, – сказал Давид, радуясь, что предыдущая тема разговора, наконец, себя исчерпала. – И даже разговаривал... Чувствую, что он готовит мне какой-то сюрприз, вот только не знаю еще какой.

– Сюрприз, – сказала она равнодушно. – С чего бы это?

– Народная примета, – сказал Давид. – Когда Мордехай смотрит тебе прямо в глаза и не мигает, то это значит, что ему от тебя что-то очень надо... Никогда не обращала внимания?

– Ужас какой, – сказала Ольга и мелко захихикала. – Еще приснится, чего доброго.

Ему вдруг пришло в голову, что на самом деле он, кажется, готов стоять тут целую вечность, перебрасываясь ничего не значащими фразами и давая жизнь всем этим невнятным "ну, да", "еще бы" или "ну, конечно", слушая и отвечая, отводя глаза и вновь встречаясь взглядом, улыбаясь и погружаясь в молчание, все время чувствуя, как до краев напол-

ненное время остановилось, не видя больше никакого смысла в том, чтобы течь дальше.

Приятная и вполне простительная иллюзия, сэр.

– А вообще-то он страшный козел, – сказала она, доставая пачку сигарет. – Сказал, что купит мне дом в Мале-Адуме, если я стану его наложницей... Ничего, да?..

Она опять захихикала, и он заметил, как мелко задрожала на ее виске каштановая прядь.

– Это он так шутит, – сказал Давид, думая в то же время – будет ли расценено как проявление антисемитизма, если он натянет Мордехаю его шляпу по самый нос или затолкает ему в рот кусок его же собственной бороды.

– Ничего себе шутки, – сказала она, зажигая новую сигарету.

– Вообще-то, если придерживаться точки зрения самого Мордехая, ничего оскорбительного в его предложении нет.

– Да? – она посмотрела вдруг на Давида так, как будто увидела его в первый раз. – Ты так считаешь?

– Не я. Мордехай... Потому что, если я правильно понял, то последние двадцать лет он решает одну очень важную религиозную проблему... Ты что, действительно, не в курсе?

– Нет, – сказала она, уставившись на Давида неожиданно широко открытыми глазами. – И какую же проблему он решает?

– Как изменить жене и, одновременно, остаться приличным семьянином, – сказал Давид. – Другими словами, и рыб-

ку съест и на хрен сесть.

– Ну и как?

Она смотрела на Давида, не отрывая глаз, словно сказанное им никогда прежде не приходило ей в голову.

Кажется, ей действительно, было интересно.

– Элементарно, – сказал Давид, с удивлением чувствуя, что не испытывает в отношении Мордехая никаких угрызений совести. – Институт наложниц, известный на всем Ближнем Востоке, с вашего позволения. И удобно, и прилично, и ничему не противоречит. Тем более что никто этот институт никогда не отменял. Во всяком случае, Тора нигде не нашла нужным сказать что-нибудь против этого уважаемого института.

– Теперь понятно, – сказала Ольга, поднимаясь со стула. – Я же сказала тебе, что он козел.

– Значит, от дома отказываемся, – сказал Давид.

– Ну-у, не знаю, – протянула она с неожиданно кокетливой улыбкой. – Насчет дома еще надо будет подумать. Это ведь не такая вещь, которой можно швыряться налево направо?

– Не такая, – подтвердил Давид, одновременно обратив внимание на то, как под порывом ветра оконная рама дернулась и захлопнулась, словно принимая сказанное к сведению.

– Знаешь, – сказала она, опускаясь рядом с ним на пол. – Это, наверное, смешно... Сегодня на кладбище... Как бы тебе сказать... Мне вдруг показалось, что ничего этого на са-

мом деле нет... Ни этой глины, ни этих могил вокруг, ни этого ужасного тела... Что все это только кажется... Пони-  
маешь?.. Это как в кино... Думаешь, это смешно?

Возможно, сказанное можно было принять в качестве же-  
ста доверия и расположения, хотя, скорее всего, оно было  
только следствием усталости и выпитого алкоголя.

Так сказать, следствием естественных причин, сэр.

Следствием естественных причин, Давид.

– Мне тоже так показалось, – сказал он, чувствуя, как  
должно быть, фальшиво и неубедительно это прозвучало.

– Правда?

– Да, – он вспомнил сегодняшнее утро. – Как будто все  
это только сон, от которого надо поскорее проснуться.

Сон, у которого не было, конечно, никакого будущего,  
но который успешно компенсировал это отсутствие тем, что  
растягивался на всю оставшуюся жизнь.

Так, во всяком случае, он подумал тогда, вспомнив се-  
годняшние похороны, рассеянный осенний свет и лицо Ан-  
ны, а рядом твое лицо, – словно смутное, но точное отраже-  
ние, хотя между вами, кажется, была разница почти в десять  
лет, – две сестры, отвернувшиеся от ветра, – одну из кото-  
рых звали Анна, а другую Ольга, – впрочем, выражение ва-  
ших лиц, словно оголенных происходящим, пожалуй, мог-  
ло навести на подозрение, что это сходство, вопреки обще-  
му мнению, простирается гораздо дальше и значит гораздо  
больше, чем простое совпадение внешних черт, – а впрочем,

это было всего только подозрение, от которого, как всегда, конечно, немного проку.

На тебе был длинный черный плащ и белый шарф, и вместе с букетом белых роз, который ты держала, все это так и просилось на широкоформатную цветную пленку, особенно в те мгновенья, когда вспыхивало солнце, хотя, с другой стороны, можно было допустить, что кому-то это могло показаться немного искусственным и даже напоминающим какую-то телевизионную заставку, рекламирующую не то духи, не то женские колготки.

Узкая рука в черной перчатке. Светло-рыжие пряди, взлетающие вдруг от порыва ветра. Плотно сжатые, ярко окрашенные губы на бледном лице. Едва заметные темные тени под глазами. Стремительно бегущая по равнине тень облаков. Хруст гравия под ногами. И за всем этим – нелепая, ни на что другое не похожая уверенность, что все, что ты видишь вокруг – это только застилающая глаза иллюзия, дурной сон, фата-моргана, взявшая тебя на короткое время в плен.

– Ну? – спросила она искоса глядя на Давида. – И что же это, по-твоему, значит?

В ее голосе ему послышалась едва различимая насмешка, как будто она уже заранее знала ответ на свой вопрос и теперь задавала его только затем, чтобы убедиться, что не ошиблась.

– Не знаю, – сказал Давид. – Ответов много. Один из них



гласит, что может и правда – ничего этого на самом деле нет.

Она засмеялась. Негромко и, пожалуй, несколько вызывающе. Сказала:

– А по-моему, это ужасно. Держать нас в неведении относительно таких важных предметов, мне кажется, это редкое свинство... Как кроликов...

Она снисходительно усмехнулась, давая понять, что, в конце концов, прекрасно отдает себе отчет в том, что все это – одни только разговоры и ничего больше.

– Кролики ведь тоже ничего не знают о том, что их ждет, – добавила она, немного помолчав. – Хочешь выпить?

– Хочу, – сказал Давид, оставив реплику о кроликах без ответа.

Она открыла дверцы кухонного шкафчика, звеня стоящим там стеклом.

– Где-то тут что-то такое было... Ага!

Это *что-то* оказалось слегка початой бутылкой «Абсолюта».

– Надеюсь, Феликс меня не убьет, – сказала она, доставая вслед за бутылкой две пластмассовые кофейные чашки. – Ну, что?.. За Маэстро.

– За Маэстро, – сказал Давид, намереваясь, впрочем, выпить на самом деле за что-то другое. – Тебе, может, что-нибудь закусить?

– Нет, – сказала она. – Никаких закусить. Хочу сегодня напиток, как свинья и с кем-нибудь подраться.

– Тогда желаю успеха, – сказал Давид, опрокидывая в себя пластмассовую чашечку и, одновременно, видя краем глаза, как взлетели и рассыпались по плечам ее волосы.

– Хорошо, хоть Грегори не видит, – сказала она несколько мгновений спустя, ставя на стол кофейную чашечку. – Бр-р-р... Интересно, что бы он подумал?

– Он бы подумал, что только святые могут пить эту отраву в таких количествах, не закусывая, – сказал Давид, глядя на знакомый силуэт, который возник за рифленным стеклом двери. – Не хотелось бы тебя расстраивать, но, кажется, к нам гости.

Дверь и в самом деле отворилась и в проеме показалась сначала шляпа, потом борода, а потом и сам Мордехай.

Глаза его подозрительно бегали.

– Я так и думал, – он сверлил тяжелым взглядом то Давида, то Ольгу. – Вот вы где... И что у тебя с ней?

– Консенсус, – сказал Давид. – Ты что, не видишь?

– И при этом – полный, – добавила Ольга.

– Смотри у меня, – и Мордехай показал большой волосатый кулак. – А водка откуда?

– Мордехай, – сказал Давид.

– Что, Мордехай!.. Спрятались так, что их не найти и думаете, что это может кому-то понравиться!..

– Ну, я пошла, – сказала Ольга, забирая со стола бутылку.

– Куда? – Мордехай загородил собой выход. – А с нами посидеть?

– Посижу, когда ты будешь немного повежливей... Пусти меня, пожалуйста... Интересно, дома ты тоже такое же хамло?

– Если бы я был не хамло, то сидел бы сейчас в каких-нибудь Люберцах и сосал бы лапу, – сообщил Мордехай; причем как всегда было непонятно, шутит ли он или говорит серьезно. Потом он посторонился, пропуская Ольгу и добавил:

– А тебе советую еще раз хорошенько подумать. Предложение пока остается в силе...

– Непременно, – сказала Ольга, исчезая.

– Дверь, дверь, – зашептал Мордехай, махая рукой.

Давид закрыл дверь. Потом он повернулся к усевшемуся на единственный стул Мордехаю и спросил, не давая тому опомниться:

– Ты это что, серьезно собираешься купить ей дом?

– Это она тебе сказала?

Давид кивнул.

– Трепло, – Мордехай достал из нагрудного кармана сигареты. – Разве можно женщинам что-нибудь доверить?..

– Ну, и как ты себе это представляешь? – спросил Давид, увидев вдруг всю нелепость этой ситуации. – Ты ведь, кажется, женат, если я не ошибаюсь.

– Авраам тоже был женат, – сообщил Мордехай, после чего протянул руку и запер дверь на задвижку. Затем он сказал негромко и доверительно:

– Можешь себе представить, Дав. Я ни в кого не влюблял-

ся уже десять лет. А?

Глаза его вдруг неожиданно потеплели.

– Так значит – это все-таки правда? – спросил Давид, опускаясь на пол возле плиты. – С вашим институтом наложниц?.. Тебя что, можно поздравить?

– Ты, что, оглох? – Мордехай с сожалением посмотрел на Давида. – Я тебе говорю, что ни в кого уже не влюблялся десять лет, а ты лезешь с какими-то дурацкими поздравлениями! Солить я их, что ли буду?

– Сочувствую, – сказал Давид.

– Вот то-то, – печально покачал головой Мордехай. – Влюбился, как мальчишка-пятиклассник... Может, поговоришь с ней?

– Ты с ума сошел? – Давид с неподдельным удивлением взглянул на Мордехая. – И что, по-твоему, я ей скажу?.. Люби Мордехая, он хороший?

– Ну, что-то в этом роде, – сказал Мордехай, опуская глаза. При этом Давид мог поклясться, что его лицо слегка порозовело, так, словно ему было страшно неудобно обсуждать эту сомнительную тему. Розовеющий Мордехай, – пожалуй, это было что-то новенькое.

– Есть вещи, – сказал Давид, пожимая плечами, – есть вещи, которые каждый должен делать исключительно сам. Особенно, если это касается твоих собственных гениталий.

– Дело не в гениталиях, – Мордехай, кажется, порозовел еще больше. – Дело в том, – повторил он, вновь понижая

голос, – что я влюбился первый раз за десять лет. Ты только подумай, Дав.

– Это я уже слышал.

– Ну и все... А с институтом наложниц у нас, слава Небесам, все в порядке. Никто его не отменял. Заводи столько, сколько сможешь прокормить.

– Нашел чем удивить, – сказал Давид. – Между прочим, я это знал еще в средней школе. Вы бы еще лет тридцать поискали. Отчего бы вам, дуракам, об этом было бы сразу не догадаться?

– Хорошие мысли приходят не вдруг, – вздохнул Мордехай.

– И не ко всем, – добавил Давид. – Могу подбросить вам еще одну.

– Подбрось, – сказал Мордехай, демонстрируя автоматическую привычку никогда не отказываться ни от какой халавы.

– Апофеоз многоженства, – сказал Давид, делая серьезное лицо. – Лия и Рахель. Чувствуешь, какие перспективы?

– Думали уже, – Мордехай взглянул на Давида печальными глазами.

– И что? – спросил Давид.

– Женщины против. – Мордехай пренебрежительно махнул рукой. – Все почему-то хотят иметь по одному мужу, которым ни с кем не надо делиться. Жадные идиотки.

– А вы в приказном порядке, – посоветовал Давид. – Бог

ведь не спрашивал вас, хотите ли вы, чтобы Он вас избрал?.. И вы не спрашивайте. Возьмите и объявите с завтрашнего дня тотальное многоженство. Чем вы хуже арабов?

– Иди в жопу, – отмахнулся Мордехай. – Если говорить о хороших мыслях, то единственная хорошая мысль на сегодняшний день заключается в том, что я прочитал эту вашу тетрадь Маэстро и готов это обсудить, но только позже.

– Между прочим, она еще даже не до конца перепечатана, – заметил Давид. – Где ты вообще ее взял?

– Феликс дал, – ответил Мордехай и принялся доставать свою бороду, спрятанную под рубашкой. Какое-то время Давид молча наблюдал за этим редким зрелищем. Потом сказал:

– Когда ты разоришься, то сможешь продать маленькие подушечки с твоей бородой и говорить всем, что они имеют целебные свойства.

– Я не разорюсь, – проворчал Мордехай, расправляя бороду во всю ее длину, так что она вся теперь лежала на столе, невольно рождая вопрос – как такая вещь вообще могла вырасти на человеческом лице. – Кто правильно поставил дело, тот не разорится.

– Интересная мысль, – сказал Давид.

– Только я тебя умоляю. Ладно? Если ты действительно хочешь издать этот шедевр, надо сначала выбросить из него все эти гойские штучки.

– А там есть гойские штучки? – спросил Давид. – Напри-

мер?

– Например, все эти ненужные разговоры... Кого сейчас, скажи, интересуют разговоры?

– Меня, – сказал Давид.

– Ну, разве что, – ответил Мордехай, двумя руками поглаживая бороду.

– Понятно. Значит, когда мы выбросим гойские штучки, ты эти записки напечатаешь... Я правильно понял?

– Ничего ты не понял, – сказал Мордехай. – Когда ты выбросишь все гойские штучки, тогда мы сможем сесть и все обсудить.

– Заманчивая перспектива, – Давид внимательно поглядел в глаза Мордехая. – Слушай, Мордехай. Ты забыл, наверное, что я тебя знаю больше двадцати лет?... Зачем тебе это надо?

– А тебе? – спросил Мордехай, поглаживая бороду. – Или у тебя есть другой издатель?... Так ради Бога!.. Печатайся, где хочешь.

– Только не бери меня на понт, – сказал Давид. – Лучше скажи старому другу, зачем тебе сдались эти чертовы записки?

– Зачем?... Зачем? – с грустью сказал Мордехай, глядя на Давида. – А мне почему-то казалось, что ты мне веришь.

– Тебе? – переспросил Давид и желчно усмехнулся. – Тебе?... Ну, еще бы!.. Как не верить человеку, который только и знает, что повторять "на мне не заработаешь"!.. Или, может,

это говорилось исключительно в воспитательных целях?

– Так это же правда, Дав, – сказал Мордехай, вдруг расплываясь в светлой, почти детской улыбке. – На мне не заработаешь, и это все знают... Нашел, на что обижаться.

– И все-таки, – сказал Давид. – Хотелось бы знать, зачем тебе понадобились эти записки?

– Вот пристал, – Мордехай протянул руку и подергал ручку, проверяя, закрыта ли дверь. Потом зажег сигарету и сказал, понизив голос:

– Дело не в тетради, а в бумагах, которые остались после смерти твоего рабби Ицхака... Знаешь, о чем я говорю?

– Впервые слышу, – Давид чувствовал, что сейчас покраснеет.

– Они пропали, – сказал Мордехай почти шепотом. – Сразу после его смерти. Родственники точно знают, что они были, а затем исчезли. Но поскольку они сами из Америки, то им было некогда разбираться тут с какими-то бумагами и они оставили это все на меня... Теперь доволен?

– Я видел на похоронах двух его сыновей, – сказал Давид. – Это они?

– Они, – сказал Мордехай. – Два откормленных раввина из американской реформаторской общины. Чтоб я так жил.

– И что это за бумаги? – спросил Давид, удивляясь собственной наглости.

– Пока еще не знаю, – сказал Мордехай. – Но думаю, что это что-то, что очень всполошило родственников, так как



они битых два часа рассказывали мне – какие это важные бумаги и что их необходимо как можно быстрее вернуть... Теперь чувствуешь?

– Что? – сказал Давид.

– Деньги, – Мордехай, похоже, удивился, что такая простая мысль сама не пришла сразу Давиду в голову. – Деньги, милый, мой. Приличные деньги. У меня на это нюх. Они еще не приехали, а я уже чувствовал, что тут пахнет деньгами.

– Значит, дело только в бумагах рабби, а записи Маэстро, тебе не нужны?

– Записи Маэстро – это мелочь, – сказал Мордехай, – А вот бумаги рабби Зака могут нас сделать почти счастливыми... Ты-то сам ничего не слышал?

– Ничего, – сказал Давид.

– Вы ведь были хорошо знакомы, кажется.

– И тем не менее.

– И все-таки ты попробуй порыться, – с некоторой настойчивостью посоветовал Мордехай.

– Мордехай, – Давид с отвращением посмотрел на старого друга.

– На всякий случай, – сказал Мордехай, внимательно глядя на Давида. Возможно, он хотел добавить еще что-то, но не успел, потому что в дверь постучали.

– Не открывай, – прошептал Мордехай, глядя на туманное очертание за рифленным стеклом.

– Это Анна, – шелковая задвижкой, сказал Давид.

– А вы тут хорошо устроились, – сказала Анна, ставя в раковину грязные чашки. – Хотите кофе?

– Нет, – сказал Давид. – Спасибо.

– Да, – сказал Мордехай. – Хотим.

– Тогда придется немного подождать, – сказала Анна, включая чайник. – Кстати, Феликс тебе сказал, что ты забыл у нас записную книжку?

– Ну, да, – сказал Мордехай, пытаясь засунуть назад в рубашку свою бороду. – Только он сказал, что не знает, где она.

– Надо было спросить у меня, – сказала Анна. – Напомни, чтобы я тебе потом принесла. – Она смахнула со стола крошки и выскользнула из кухни.

– А я думал, настоящие евреи ничего не забывают, – сказал Давид.

– Настоящие евреи не забывают главного, – сказал Мордехай.

– То есть плодиться и размножаться.

– Отвали, – Мордехай поднялся со стула. – Допечатавай свои записи и думай о том, что я тебе сказал.

– Я подумаю, – пообещал Давид, выходя вслед за Мордехаем, чтобы опять попасть в эту гудящую, бормочущую, курящую и пьющую толпу. Где-то в конце комнаты мелькнуло знакомое лицо. Потом он обнаружил еще несколько знакомых. Лысый Хванчик негромко смеялся, прикрыв лицо ладонью. Кто-то помахал ему рукой. Какая-то пожилая женщина, смотрела на него и улыбалась, явно приняв его за кого-то

другого. "Ну, как?" – спросил проходящий мимо Ру. – "Никак", – ответил Давид. – "И слава Богу", – сказал Ру, оставив за собой последнее слово.

Потом он услышал мягкий голос Левушки.

– Пойдем, выпьем, – сказал этот голос и Левушкина рука потрепала его по плечу.

– С удовольствием, – сказал Давид, ища глазами Ольгу. – Только – что?

– Погоди, я сейчас принесу, – сказал Левушка, останавливаясь возле подоконника. – Постой пока здесь... Знаешь, что Мордехай приехал?

– Уже имел счастья с ним беседовать, – сказал Давид.

– И что? – спросил Левушка.

– Он влюбился.

Левушка захихикал и сказал:

– Влюбленный Мордехай. Похоже, что это серьезно.

– Еще как, – сказал Давид. – Особенно, если учесть, что он влюбился в нашу Ольгу.

– Вот это да, – сказал Левушка. – Боюсь, что ей теперь не позавидуешь. Ты бы с ним все-таки поосторожней, Дав.

– Вообще-то я его знаю двадцать пять лет. В один садик ходили.

– Ну и что? – сказал Левушка. – А что если он особенно опасен в брачный период?.. Ты представляешь? Да он тут все сметет, к чертовой матери.

– Двадцать пять лет, – повторил Давид.

– Ну, смотри сам, – сказал Левушка, исчезая в толпе и через минуту вновь появляясь, держа что-то под топорщившимся пиджаком.

– Вот, – сказал он, ставя на подоконник пол-литровую банку, два стаканчика и небольшой кусочек черного хлеба. – Между прочим, это все наше.

– Похоже, мы опять богаты, – сказал Давид, поворачиваясь спиной к галдящей толпе.

– А ты как думал?.. Кстати, в банке спирт. Правда, немного теплый, но я думаю, это ничего.

– Это определенно ничего, – сказал Левушка, разливая.

– Тогда поехали, – Давид взял в руку стаканчик. – Сам знаешь – за что.

– Буль-буль, – сказал Давид и выпил.

– Прошу закусить, – сказал Левушка.

– Про закусить не может быть и речи, – Давид принюхивался к запаху спирта. – Мне хочется сегодня не закусить, а нажраться, как последняя свинья. Так, чтобы потом не пускали на порог и долго вспоминали, какие подвиги ты совершил.

– Я с тобой – сказал Левушка.

– Тогда вперед, – Давид поднял свой стаканчик.

– Вперед, – сказал чей-то незнакомый голос, хотя, может быть, Давиду это только показалось.

## 10. Филипп Какавека. Фрагмент 123

«Пора домой, пора возвращаться, – сколько раз я слышал эти слова! Разве не они тревожат меня с тех пор, как я научился слушать? Каждая вещь – и здесь, и за окном – твердит мне об этом, хотя сам я спрашивал их совсем о другом. Пора возвращаться, – говорит мне и это небо, и этот далекий горизонт, и твое лицо; прислушайся, говорят они, – настало это время, время расставаний. Ведь мир – это только возвращение, могут ли быть у него другие дела? А значит и у нас не может быть другой надежды, кроме этой. И верно: если что-то и зовется этим словом, так ведь только это – пора возвращения.

Но прежде чем отправиться по этой единственно-возможной из всех возможных дорог, разве не спрошу я: что же я делал здесь, в царстве вечной Осени и безмолвной Печали? Неужели я был здесь только затем, чтобы ждать, и ждал лишь затем, чтобы вернуться? Пусть так. Но нет ли в этом возвращении чего-нибудь, что могло бы пригодиться мне дома? Будут ли *там* сниться мне эти «здесь» и «теперь»? – Смешные вопросы! Ведь все они принадлежат этому возвращению, так стоит ли принимать их в расчет? – Правда, у меня есть и

другая тревога: ведь, похоже, я ничего не знаю не только о том, откуда я иду, но и о доме, куда возвращаюсь. Расставание с тем, что не должно иметь в моих глазах никакой цены, ради того, чтобы обрести желанный очаг, о котором молчат даже мои сновидения, – не это ли заставляет меня тревожно прислушиваться и подозревать, быть может, наихудшее? Не значит ли это, что если в действительности что-то и существует, так это только возвращение, не знающее ни того, что было, ни того, что ожидает впереди, и уж тем более ни того, что есть, – Возвращение не умеющее вернуться, не знающее возврата?»

# 11. Мастерская

Сейчас уже трудно было вспомнить, когда мы впервые оказались в мастерской Маэстро. Кажется, это случилось где-то через неделю после похорон. Похоже, именно тогда Феликс попросил меня отобрать несколько полотен для памятного альбома, мысль об издании которого пришла ему в голову, похоже, на следующий же день после смерти Маэстро.

Помню некоторую неловкость, которая сопровождала поначалу наше появление в мастерской.

Так, словно мы нарушили только что покой Маэстро, вызвав этим понятное неудовольствие самого хозяина, который прятался теперь от нас в темных углах и в сгустившихся под диваном и шкафами тенью, которую не могли разогнать даже яркие софиты, включенные Феликсом.

Потом эта неловкость как будто немного прошла.

Ключи от мастерской были, конечно, у Ольги и это, кажется, не вызывало ни у кого ни удивления, ни смущения. В конце концов, это было не наше дело, тем более что такое водилось среди его близких друзей, к которым, без сомнения, относилась и Ольга, о чем свидетельствовал и ее незаконченный портрет у окна, и тот уверенный жест, с которым она повесила ключи от мастерской возле двери – так, как это

мог сделать только человек, делавший это уже много раз.

Хорошо помню, как Феликс спорил с Ру по поводу того, как раскладывать картины, – по годам или по темам, – помню как затем из горы стоящих возле стен подрамников, возникли одна за другой знакомые и незнакомые полотна, одни из которых откладывались в сторону, тогда как другие возвращались на место. Помню и как висела в веселом солнечном свете потревоженная пыль, и как вдруг начинали непривычно светиться только что протертые влажной тряпкой холсты, но не помню ни твоего лица, ни запаха твоих духов, – сомнительного достоинства резкий "БельЛюшаль", аромат которого, кажется, сопровождал тебя с первого дня нашего знакомства.

– Да тут на целый музей, – сказал Ру, откидывая в сторону один подрамник за другим.

– Мусей, – повторил Грегори, бесцеремонно вытаскивая и разворачивая подрамники лицом к свету.

– А вот эту посмотри, – Феликс придвинул к лампе небольшую картину (кажется из серии "Чужие лица"), на которой старая нищенка в драном платке, просила милостыню возле горящего фонаря. Шел снег и она смотрела на тебя немного снизу, запрокинув голову и протягивая пустую открытую ладонь, а ее широко распахнутые, сумасшедшие и темные глаза, в которых отражался невидимый фонарь, казалось, не видели тебя и смотрели прямо сквозь.

– Такая, пожалуй, сглазит и с картины, – сказал Феликс и



спросил, обращаясь к Грегори:

– Нравится?

– Это... как сказать? – Грегори замялся, вспоминая нужное слово. – Колдунья? Да?

– Видели? – сказал Феликс и похлопал Грегори по плечу. – Человек приехал всего полгода, а уже различает грамматические нюансы... Конечно, это колдунья... Ведьма...

– Ведма, – сказал Грегори.

– Женщина, которая продала душу дьяволу... Ведьма. Ты только посмотри, какие у нее глаза. Просто жуть.

– Да. Ведма, – повторил Грегори, глядя на картину. – У нас в Ирландии не было ведма. Ни одна ведьма не была.

– Не может быть, – не поверил Феликс. – Кого же вы тогда, интересно, жгли?

– Никого, – сказал Грегори немного снисходительно. – Ведьмов жгли в Шотландии и Британии. В Ирландии никто не жгли.

– Что-то я сомневаюсь, – сказал Ру.

– Никто, – подтвердил Грегори, отдавая салют, как научил его Феликс. – Нет. Одну женщину судили в 1711 году за колдовство. Это было один раз. Она испортила молодую девушку и отбила у нее жениха. Жених пожаловался на нее, потому что она ночью делала из него коня и ездила к своей тетке... как это... в Эдинбург.

– Ну, вот, – сказал Феликс. – А ты говоришь. Это же и есть ведьма. А ты говоришь – не жгли.

– Ее... как это... отпустили, – сказал Грегори.

– Оправдали, – сказал Ру и громко засмеялся.

– Как это? – сказал Феликс, переворачивая следующую картину. – Что за страна у вас такая, ей-богу?.. В другой стране за такие вот дела сожгли бы и ее, и ее родных, и всех ее друзей в придачу.

– И коня, – сказал Давид.

– Уж коня-то в первую очередь.

– У вас тоже жгли ведьмов?

В голосе Грегори появилось не то, чтобы недоверие, а какое-то недоумение, – так, словно, он всю жизнь думал о человеке только хорошее, а теперь вдруг выяснилось, что это не совсем отвечает действительному положению вещей.

– Вон у Ру спроси, – сказал Давид. – Там, откуда он приехал, жгут всех подряд. И без всякого исключения.

– А откуда? – спросил Грегори.

– Он приехал из России, – сказал Давид.

– В России жгли ведьмов?

На лице Грегори появилось изумленное выражение.

– Не хуже других, – сказал Ру. – Вам в вашей Ирландии и в страшном сне не снилось. Я тебе потом книжку дам.

– Это большое сожаление, – сказал Грегори.

– Еще какое, – сказал Ру, поворачивая очередную картину к свету. – Вся русская история – это только одно большее сожаление.

– А вот это уже перебор, – сказал Феликс. – Не слушай

его, Грегори.

– Это ты его не слушай, – проворчал Ру, опускаясь на пол рядом со стулом, на котором сидел Давид. – По-моему, наш друг и учитель скоро станет русским националистом, если его только МОСАД не остановит.

Ольга негромко рассмеялась.

– Я все слышу, – Феликс, не оборачиваясь, погрозил всем кулаком.

– Он все слышит, – сказал Ру, разводя руками и скорчив забавную рожу. – Мне кажется, в этом есть что-то подозрительное, когда человек все слышит.

– Перестань, пожалуйста, – попросила Анна.

– Молчу, – сказал Ру.

Похоже, чайник на плите не собирался закипать.

– И все-таки интересно, – вполголоса сказала Ольга. – Вы заметили? Когда человек умирает, все вокруг почему-то чувствуют исключительный моральный подъем, как будто выиграла в лотерею. Это почему так, интересно?

– Традиция, – сказал Ру.

– И при этом, довольно свинская, – добавила Ольга.

– И тем не менее, психологически вполне объяснимая, – сказала Анна, поднимаясь со своего места. В голосе ее опять прозвучал едва заметный лед, на который никто, кажется, не обратил внимания.

– Что еще? – Феликс оторвался от очередной картины. – Что объяснимая?

– Ничего.

Анна сделала несколько шагов по комнате, потом вновь опустилась на стоящий у стены стул и повторила:

– Ничего.

– Ни-че-го, – с удовольствием повторил Грегори – так, словно он сосал леденец. – Ни-че-го... Это значит...

– Ничего, – сказала Анна.

– Ничего, – кивнул Грегори с явным удовольствием.

Потом он негромко засмеялся.

– Кто-нибудь собирается мне, наконец, помочь? – спросил Феликс. – Я что? Напрасно тащил с собой все эти тетради?.. Давид?

– А может и правда, лучше потом? – спросил Давид, протирая объектив камеры. – Нас ведь никто не подгоняет, слава Богу.

– Лучше, наверное, потом, – согласилась Ольга. – Что-то мне сегодня не очень...

– По-том, – сказал Грегори, и повторил, обкатывая слово во рту. – Потом.

– Между прочим, – укоризненно сказал Феликс, пожимая плечами, – я уже договорился, что через неделю принесу им предварительный план. Вы думаете, мы что-нибудь при таких темпах успеем?

– Никаких сомнений, – сказал Давид.

– Ладно, – Феликс вновь вернулся к полотнам. – Посмотрим.

Между тем, присев на соседний стул, Ру негромко сказал:

– Я понимаю, конечно, что после смерти все так ошарашены, что хотят любыми способами удержать мертвого. Единственное, чего я не понимаю, почему этот запал обычно так быстро проходит.

– У тебя проходит? – почти враждебно спросила Ольга.

– Да, нет, я серьезно, – сказал Ру.

– Тогда угадай с трех раз, – сказал Давид. Он поймал в объектив лицо Ольги и теперь ждал, когда можно будет нажать на спуск.

– Не может быть! – сказал Ру. – Неужели поэтому?

– Вот именно, – сказал Давид. – Именно поэтому.

– Какая неприятность, – Ру повернулся к Анне. – Ты тоже так думаешь?

– Если ты имеешь в виду, что дорога в ад вымощена благими намерениями, то, пожалуй, я тоже.

– Я только имел в виду, что человек – это порядочная скотина, – сказал Ру.

– Кто это скотина? – не оборачиваясь, спросил Феликс.

– Есть тут у нас один, – сказал Ру.

Грегори негромко засмеялся.

– Именно поэтому, – сказал Давид, нажимая на спуск. – Хоть я допускаю, что, может быть, кто-нибудь придерживается другой точки зрения.

– Единогласно, – сказала Ольга и засмеялась.

– Что, единогласно? – спросил Феликс, вытаскивая одно

за другим сразу несколько небольших полотен. – Ах, вот они где, голубчики... А то я уже стал думать, что их нет... Хотите посмотреть?

Он быстро протер их и поставил возле стены...

Четыре полотна из цикла "Бог в изгнании".

Тяжелый, темный фон заплывающих, грязных тротуаров, подъездов, забегаловок.

Одутловатые лица, зловеще светящиеся белки глаз, старые руки с набрякшими венами.

Хохочущий оскал открытых в смехе ртов.

И, как правило, всегда одинокая среди толпы фигура, – светлая, будто выточенная из дерева, с терновым венцом одетым прямо на скрывающий лицо капюшон или накидку, что, собственно, и следовало ожидать, поскольку Маэстро, хоть и не отдавал предпочтение ни одной христианской конфессии, однако, был склонен называть себя христианином, возможно, не всегда отдавая себе отчет, что, собственно говоря, это значит и к каким последствиям может привести.

Возможно, – подумал однажды Давид, – ему просто нравилась эта расцвеченная всеми восточными красками история о распятом проповеднике, который говорил много дельных вещей и не побоялся взойти на Крест, доверяя своему небесному Отцу и полагая, что он никогда не оставит в беде того, кто положил свою жизнь за ближнего своего.

Эта старая история, которая время от времени все еще случалась на земле, не делая мир ни счастливее, ни лучше.

– Что это есть? – спросил Григори, подходя ближе.

– Цикл называется "Бог в изгнании", – ответил Феликс. – Понимаешь?.. «Бог в изгнании». По-моему, очень даже ничего...

Он повернул лампы, так что свет упал сразу на все полотна и спросил:

– Помнишь, Давид?

Ну, разумеется, он помнил.

Ведь это была одна из тех идей, которые Маэстро долго вынашивал, чтобы потом неожиданно вывалить на голову первого же подвернувшегося встречного. Вот так просто – бах! и на тебя вдруг валился компот из цитат, рассуждений и планов, так что через пятнадцать минут в твоей голове была уже сплошная каша, а сам ты начинал забывать, о чем, собственно, идет речь.

Тогда таким встречным оказался Давид, которому пришлось часа три кряду слушать почти восторженные, хоть и не всегда внятные объяснения Маэстро, которому, похоже, прежде чем взять в руки кисть, было необходимо сначала выговориться, чтобы в результате расставить все по своим местам.

Словно каким-то образом он снимал этими разговорами ответственность с себя и частично перекладывал ее на подвернувшегося ему собеседника, который, конечно, даже не подозревал об этом.

Идея добровольного изгнания с небес, сэръ.

Иисус, не желающий возвращаться домой, пока смерть и страдания царят на земле.

Его добровольного присутствие среди людей, которые несмотря ни на что по-прежнему нуждались в словах сострадания и поддержки, а не в изучении церковных брошюрок типа *"Как не утратить веру перед лицом безбожного мира"*.

Нечто, что с равным успехом могло стать темой как для сопливого обсуждения в каком-нибудь христианском клубе, так и для обретения прочного основания, которому не страшно было доверить свою жизнь.

– На самом деле, – говорил Маэстро, нервно потирая руки и меряя шагами свободное пространство мастерской, – на самом деле, если, конечно, относиться к нему серьезно, а не как к простому идолу, от которого мы ждем каких-то реальных благ, – на самом деле, конечно, Он должен остаться среди нас. Потому что иначе получается, что Он просто оставил людей без поддержки и надежды. Просто прошел мимо и больше ничего... Так ведь, надо сказать, многие и считают...

– Есть еще Церковь, – неуверенно произнес Давид, отдавая себе отчет в слабости этого аргумента.

– Если ты хотел пошутить, то тебе это удалось, – сказал Маэстро: – Когда я захожу в церковь, что все, что я там вижу, это только следы Его ухода. Как будто церковь – это брошенный корабль, капитан которого давно уже гуляет на берегу с девочками... Поэтому, если Он вообще есть, Он, конечно, не может быть только в церкви... Он должен быть с каждым,



кто в нем нуждается, и кто его зовет... Ты понимаешь?

– Да, – Давид почувствовал некоторое беспокойство, вызванное этой рискованной темой. – Вообще-то об этом говорили многие, например Паскаль.

– Кто говорил? – подозрительно спросил Маэстро, который не любил, когда его уличали в том, что он что-то не знал или забыл.

Давид привел по памяти несколько известных цитат.

– Как? – переспросил Маэстро. – Мы не должны спать?

Было очевидно, что он слышит эти слова в первый раз.

– Пока Христос все еще висит на кресте, – сказал Давид.

Пока он все еще висит там, сэр.

В этом душном солнечном сиянии, наполненном жужжанием мух и слепней, позвякиванием железа и глухими звуками человеческих голосов, обсуждающих сегодняшней день.

В этом полузабытьи, где время остановилось, потрясенное случившимся и где сегодняшней день, до краев наполненный запахом пота, крови и безнадежного ожидания, уже никогда не станет вчерашним.

Похоже, по этому поводу следовало бы сказать несколько прочувствованных слов, от которых, впрочем, вряд ли стоило бы ожидать какого-нибудь толка.

– Черт, – Маэстро пожал плечами. – А я почему-то забыл. Просто выскочило из головы. Надо посмотреть.

Он был явно огорчен.

Впрочем, поверхностное знакомство с Паскалем совсем

не помешало появлению этого цикла, часть из которого вытаскивал теперь на свет божий Феликс.

Размалеванные вокзальные шлюхи.

Игроки в домино.

Ментовская камера предварительного заключения.

Похороны.

Заплеванное кафе.

И везде – эта сухая, светлая фигура со следами ударов на теле, словно последнее, что Он мог сделать для других – это просто находиться рядом, переживая чужую боль и чужие страдания, как свои собственные.

– И все-таки, – сказал Ру. – Не надо забывать, что Христос это не Бодхисаттва, мне кажется... Есть кое-какая разница.

– Ясное дело, – согласился Давид. – Вопрос только в том, является ли это достоинством или, наоборот, недостатком.

– О, – сказал Ру, давая понять, что сказанное следует обсудить. – Это интересно.

– На вас не угодишь, – сказал Феликс. – При чем здесь Бодхисаттва? Если я не ошибаюсь, Христос пролил кровь за всех.

– Спасибо, что просветил, – сказал Ру. – Как раз это мы и собирались обсудить. Потому что, если Он пролил кровь за всех, то, грубо говоря, не пролил ее ни за кого... Если Он пролил ее за всех, то это, в конце концов, в лучшем случае, выглядит как символический акт, от которого тебе ни тепло и ни холодно... Понимаешь?

– Да что это на тебя сегодня нашло? – спросила Анна.

– На меня нашла та простая мысль, – сказал Ру, – что если Он действительно отдал Церкви власть вязать и разрешать, то это значит, что Церковь становится посредником между тобой и Им, а значит еще вопрос, найдешь ли ты еще Его в этой самой Церкви, которая занята по большей части тем, что без конца расхваливает свои собственные достоинства... Но если Он приходит именно к тебе, то это совсем другое...

– Одно не мешает другому, – сказала его Анна.

– А мне кажется, мешает, – Ру иногда мог быть очень настойчивым. – Потому что, если Он приходит к тебе сам, наплевав на все, что про Него написано и сказано, то тогда не нужна ни Церковь, ни ее разрешения, ни ее благословения... И сдается мне, что Маэстро имел в виду именно это.

– Ура, – сказал Давид. – Кажется, богословский диспут все-таки состоялся.

– Тогда, может быть, я что-нибудь, наконец, поставлю? – спросила Ольга, опускаясь перед шкафчиком с пластинками. – В любом случае это будет лучше, чем слушать вашу богословскую чепуху.

– Поставь лучше водку в холодильник, – сказал Ру. – Между прочим, было бы неплохо чем-нибудь, наконец, перекусить.

– Кем-нибудь, – сказал Давид, впрочем, никого особенно не имея в виду.

– Кем-нибудь, – согласился Ру. – Вопрос только, кем

именно?

– Только не мной, – сказала Анна. – Я невкусная.

– А ты откуда знаешь? – спросил Ру.

– Знаю, – сказала Анна.

– Все кто пытались ее съесть, благополучно отравились, – сказала Ольга, перебирая пластинки.

– Надо разложить все по циклам, а отдельные картины сложить вместе, – сказал Феликс... Идите, наконец, помогите, черт вас возьми... Давид!

– Мне кажется, мы все равно сегодня ничего не успеем, – сказал Ру. – Верно, Грегори?

– Верно, – Грегори рассматривал только что протертую картину.

Погруженный в полумрак полуподвальный зал пивной с длинными деревянными столами и низкими каменными сводами. Грязь, рыба шелуха, недопитые пивные кружки. Бессмысленные выражения лиц и глаз. Несвежие передник и наколка официантки. Почти осязаемый громкий смех, крики, ругань, гул голосов. И странная светлая фигура в разодранном хитоне за столом, на минуту опустившая на ладонь голову и закрывшая глаза, – тщедушная фигура, которая не слышала ни криков, ни смеха, не чувствовала ни боли от тернового венца, из-под которого текла по виску маленькая капля крови, ни запаха грязных человеческих тел, ни этой музыки, которая вдруг ударила из двух стоящих на шкафу колонок, – первый концерт для фортепиано с оркестром, ко-

торый вдруг затопил всю мастерскую, словно из открытых окон вдруг хлынули воды последнего потопы, – во всяком случае, именно так ему и показалось тогда, – воды потопы, не слушающие ни возражений, ни проклятий, ни похвалы, так что даже Феликс только повертел в воздухе рукой, прося немного убавить громкость, от чего, конечно, потоп не перестал быть потопом, особенно в своей первой части, в этом невероятном *Allegro*, которое даже не обещало снести все, что попадется ему на пути, а просто вставало перед тобой надвигающейся темно-зеленой волной, забиралось все выше и выше, и уже, казалось, цепляло само небо, которое гудело и грозило расколоться и упасть на землю.

Вспоминая этот день, он спрашивал себя позже – был ли этот концерт только случайностью или же так и должно было случиться по воле небожителей, что она вытащила тогда именно эту пластинку, словно знак или указание, о смысле которых начинаешь догадываться только задним числом, когда уже ничего не поделаешь и остается только незаметно смириться, надеясь, что уж в следующий-то раз ты обязательно разгадаешь все эти нехитрые ребусы, которые время от времени кто-то подсовывает тебе, словно проверяя, годен ли ты еще к продолжению этой игры.

Хорошая мина при плохой игре, сэр, как, наверное, сказал бы этот приходящий из ниоткуда загадочный голос, называющий себя *Мозес*, хотя в этом не было ни смысла, ни понимания. Зато несомненной, кажется, оставалась эта вновь вер-

нувшаяся мысль, настойчиво царапнувшая его в промежутке между Allegro и Adagio, когда, повернув голову, он вдруг увидел ее на полу, среди разбросанных пластинок, где она сидела, положив голову на согнутые колени и закрыв глаза, словно ей было совершенно наплевать на то, что подумают про нее находящиеся вместе с ней в этой комнате, и уж давно – что они скажут про нее завтра или сегодня вечером, делясь впечатлениями и делая сочувственные лица.

И пока длилась эта пауза – от Allegro к Adagio – он вдруг подумал о том, каково, наверное, ей было возвращаться сегодня сюда, в эту мастерскую, входить в эту дверь, сидеть на этом стуле, слыша запах пыльных полотен или перебирая мятые конверты пластинок, – каково ей было после всего того, что, наверное, помнили ее руки и глаза, и что никуда, конечно, не могло так быстро исчезнуть, – каково было ей сегодня, если, конечно, все, что говорили про нее и Маэстро, не было просто обыкновенной и ничего не значащей болтовней...

## 12. Филипп Какавека. Фрагмент 15

«МАЛЕНЬКАЯ И НАГЛАЯ ИСТИНА. Истин много, чрезвычайно много. Но факт этот вовсе не причина для радости. Скорее наоборот. Необыкновенное число истин тревожит и беспокоит. Ведь сколько не прибавляй к этому Монблану истин еще и еще, сколько не громозди одну гору на другую, – а все будет мало. Иногда даже начинает казаться, что чем больше истин мы находим, тем их становится меньше. Или, вернее, чем больше истин мы узнаем, тем сильнее одолевают нас сомнения в их истинности. К тому же нам нужна не эта или та истина, и даже не эти или те истины, а Истина с большой буквы, – последняя, ясная и всёсвязующая Истина, разговаривающая с нами на нашем собственном языке. Составляют ли наши Монбланы истин такую Истину – об этом можно даже не спрашивать. Может быть, теория, согласно которой Истина есть совокупность всех существующих истин, и может кого-то утешить, но к действительности она имеет точно такое же отношение, как и все прочие теории подобного рода. В лучшем случае нам дано наблюдать совокупность отдельных, непересекающихся друг с другом рядов истин. Но еще больше – тех, которые ни в какой совокупности вообще участвовать не желают, – истин, с удовольствием противоречащих друг другу, поедающих друг друга и

друг друга ненавидящих, истин с хорошим аппетитом и острыми зубами. Впрочем, если и все истины вдруг окажутся совокупны и составят, наконец, одну единственную Истину, то, как знать, не появится ли сразу вслед за этим какая-нибудь маленькая истина с наглой физиономией, на которой мы прочитаем явное желание наплевать и на всю совокупность истин и на каждую из них в отдельности? – Одного этого предположения (которое тоже ведь есть своего рода маленькая истина, – хотя бы по одному тому, что нельзя, как не старайся, доказать обратное) кажется достаточным для того, чтобы от чаемой гармонии не осталось и следа».



## 13. В тени Ксенофана

– Господи, – сказал, наконец, Феликс, вытаскивая на свет божий очередную партию холстов. – Мне кажется, ты решила сегодня замучить нас этим чертовым аллегро до смерти. Между прочим, Бах писал не для того, чтобы его использовали в качестве пытки. По-моему, ты ставишь его уже пятый раз.

– Оно того стоит, – сказала Ольга, немного убавив звук.

– Мера, число и порядок, – наставительно произнес Феликс. – Именно они, если ты это забыла, делают нашу жизнь относительно сносной... Лучше скажи, что нам оставить на обложку... Может, вот эту?.. Анна?

– Можно эту, – кивнула Анна.

– Не знаю, – сказал Ольга несколько вызывающе. – Мне кажется, что Маэстро это сейчас глубоко безразлично.

– Маэстро может оно и безразлично, – сказал Феликс. – А вот нам нет... А чем языком трепать, лучше скажи, что ты думаешь о нашем альбоме. Есть какие-нибудь мысли?

– Вагон.

– Я серьезно – сказал Феликс. – Кто, например, будет писать вступилровку?.. Может, ты?

Пожалуй, в его голосе можно было расслышать какую-то неуверенность, словно он спрашивал только из вежливости

или в силу сложившихся обстоятельств, о которых знал только он один, опасаясь теперь услышать в ответ что-нибудь не слишком приятное.

– Во всяком случае, не я, – отрезала Ольга.

– И напрасно, – как будто с облегчением вздохнул Феликс. – Между прочим, могла бы получиться неплохая статья.

– Я уже тебе говорила, что я думаю по поводу всех этих неплохих статей, – сказала Ольга. – Могу повторить, но боюсь, тебе это не понравится.

– Лучше не надо, – сказал Феликс.

– Я тоже так думаю, – согласилась Ольга. – Потому что все, что я хотела сказать, это то, что все ваши бесконечные разговоры об искусстве на самом деле ничего не стоят. Но это вы и без меня знаете.

– Ну, это еще как сказать, – подал голос Ру.

– Вот так и сказать, – сказала Ольга. – Потому что дело заключается вовсе не в том, чтобы растолковать этим среднестатистическим идиотом, что такое хорошо, а в том, что надо научиться просто смотреть – и больше ничего... Просто открыть глаза и смотреть. А этому научить нельзя.

Пока она говорила, Давид поймал в объективе ее лицо.

Почти хищный прищур глаз. Холодный взгляд, который не обещал ничего хорошего. Едва заметная, покривившая губы усмешка.

– Понятно, – сказал Феликс. – К сожалению, это может

позволить себе не каждый... Некоторые, например, хотят понять, что они видят.

– Вот именно, – Ольга затаилась и пустила над столом клубящийся фиолетовый дым. – Хотеть хотят, но все равно ни хрена при этом не понимают. Потому что Небеса или кто там еще лишили их способности просто смотреть... Открыть глаза и просто посмотреть, не задавая никаких дурацких вопросов.

– Пардон, – сказал Феликс, поворачиваясь к сидящей Ольге и наклоняя голову, что сразу сделало его немного похожим на быка, готового сию минуту броситься на красную тряпку. – Тогда скажи нам, зачем ты тогда все это за Маэстро записывала, если для тебя главное – просто смотреть, а не понимать?... На хрена ты записывала за ним, черт возьми?

Было видно, что он, наконец, решил рассердиться.

– Потому, что он меня попросил, – сказала Ольга. – Надеюсь, это уважительная причина?

– Ой, ну хватит вам, – Анна замахала газетой, чтобы разогнать дым. – Господи, какой дымище. Откройте хотя бы окно, пока мы тут не задохнулись.

Возможно, конечно, что ему это только показалось, – этот легкий аромат зреющего где-то в глубине раздора, который еще только готовился, только собирался где-то, как собирается едва заметная поначалу буря, пока еще только дающая о себе знать стелющейся по земле травой и шумом еще не сильного ветра, гуляющего в кронах деревьев, но уже готовая

через минуту обрушиться на землю звоном разбитого стекла и треском ломающихся ветвей.

Впрочем, пока все было относительно спокойно.

Глядя на стелющийся под солнечным светом дым, Давид вспомнил вдруг, как год или около того назад вот за этим самым столом они сидели втроем – он, рабби Ицхак и Маэстро, который приехал договариваться о выставке в Иерусалиме, и которого Давид привел в мастерскую Маэстро, чтобы показать картины.

Кажется, тогда поначалу тоже все было спокойно.

В меру – одобрительных отзывов, в меру – нейтральных вопросов. Редкие замечания. Сдержанные, слегка натянутые пояснения.

Рабби Зак больше молчал, кивая головой в ответ на реплики Давида или Маэстро. Иногда он, конечно, делал короткие замечания или просил подвинуть очередной холст ближе к свету, но при этом все равно было трудно понять, какое впечатление у него складывается от увиденного. Возможно, – подумал Давид, – что никакого или даже вполне отрицательное, так что в любую минуту можно было ждать, что он вдруг приподнимет свою черную шляпу и, улыбнувшись, откланяется, отделавшись напоследок каким-нибудь общим вежливым местом.

Похоже, что так оно, кажется, и намечалось. Наверное, Давид почувствовал это по той неловкости, которая вдруг повисла в комнате, – так, словно изо всех щелей потянуло

вдруг холодом или как будто в комнате вдруг убавили свет.

Потом рабби спросил, отчего среди полотен Маэстро так много легко узнаваемых античных сюжетов, а Маэстро ответил, – и при этом немного с вызовом, словно в вопросе рабби Ицхака скрывался какой-то обидный намек, – что он по-прежнему видит в античности эталоны истинности и внутренней красоты, которым не грех было бы поучиться современным мастерам. Затем он как-то легко и сразу перескочил к теме заката античности, отметив, что, по его мнению, конец античного мира знаменует самую ужасную катастрофу, которую пришлось пережить человечеству за всю свою духовную историю.

– Катастрофу, – подчеркнул Маэстро – заставившую мир пойти совсем не в ту сторону, в которую ему следовало бы.

– Античность погубило не христианство, – говорил он, с той твердой безапелляционностью, которая легко подсказывала тем, кто хорошо его знал, что Маэстро плотно сел на очередного новенького конька, и слезет с него, пожалуй, не прежде, чем замучает всех своими новыми идеями.

– Античность погубил монотеизм, который пришел много раньше, – говорил Маэстро, пытаясь заглянуть под поля черной шляпы рабби, у которого, среди прочего, была дурная привычка не только надвигать шляпу почти по самые глаза, но и легко ускользать от того, кто надеялся заглянуть под ее поля, словно он и в самом деле хранил там какую-то важную тайну.

– Тот самый монотеизм, – продолжал Маэстро, – который вылутился из самой античности для того чтобы лишить греческий дух воли и возможности противостоять идее единого Бога.

– Чем же он так, по-вашему, плох, этот монотеизм? – спросил рабби с мягкой улыбкой.

С той самой, которая могла ввести в заблуждение только очень наивного человека

Тем более, отметил Давид, что глаза его из-под шляпы сверкнули вдруг совсем не по-доброму.

– Чем? – быстро переспросил Маэстро, словно давно был готов к этому вопросу и только ждал, когда же его, наконец, зададут. – Вы действительно, не понимаете, чем он плох?.. Да, хотя бы тем, что он убивает любую самостоятельность и лишает человека воли, заставляя его танцевать под чужую музыку... Я уже не говорю про то, что он делает любого человека средством и никогда не целью... Разве этого мало?

– Если посмотреть с этой стороны..., – сказал рабби Зак, не успевая за быстрой манерой разговора Маэстро. – Если посмотреть отсюда...

– Да с какой хотите, – перебил его Маэстро. – Монотеизм тоталитарен. А это значит, что он превращает любого человека в ничто, а мир в душеполезный справочник *«Как быстрее и безболезненнее покинуть это чертово место, куда нас занесло против нашей воли»!*.. Правда, при этом он никогда не дает никаких гарантий.

Кажется, именно тогда Давид отметил, что иногда Маэстро бывает до чрезвычайности мил.

– Всемогущий и не должен давать никаких гарантий, – сказал рабби, успевая воспользоваться небольшой паузой. – Он сам есть одна большая гарантия.

– Тем более, – добавил Давид, – мне кажется, что тебе вроде нравилось называть себя христианином. Или я что-то не так понял?

Если бы не обидчивый характер Маэстро, он бы позволил себе немного издевательского хихиканья.

– Я называл себя христианином в честь великого проповедника и пророка, – злобно сказал Маэстро. – Тем более что Христос, если вы еще не поняли, был и остается персонажем античности, если, конечно, не делать из него идола, бога или исчадьа ада.

Давид снова отметил, что иногда Маэстро бывал не только мил, но и очень трогателен.

– И все-таки вы совершенно неправы, – сказал между тем рабби Зак, качая головой. Тень от его шляпы закачалась на противоположной стене. – Вы почему-то забываете, что в самом понятии «монотеизма» уже содержится все мыслимые и немыслимые возможности, а значит, он дает возможность спасения каждому из людей, потому что в отличие от любой другой вещи, Всевышний ничем не ограничен и знает нужды и горести всех, как свои собственные... Это означает, что для Святого нет ничего невозможного, и, следовательно,

каждый из нас может надеяться на милосердие и понимание.

Сказанное звучало, по крайней мере, если и не убедительно, то, во всяком случае, вполне пригодно для каких-нибудь завершающе-примирительных – «ну, может, и так» или «в конце концов, пусть каждый останется при своем», или «время покажет», для которых были важнее традиционные приличия и умение себя вести, а вовсе не какие-нибудь там великие вопросы, на которые, сколько известно, никто и никогда все еще не дал более или менее вразумительного ответа.

Однако, Маэстро, как выяснилось, и не думал сдаваться и идти на попятную.

– Монотеизм совершил самое ужасное преступление, какое только можно вообразить, – сказал он, наглядно демонстрируя склонность к излишней драматизации. – Он лишил человеческое существование глубины и тайны и сделал из него бледную тень Вселенского Бога... Неужели, этого не видно?

В ответ, рабби с сожалением пожал плечами.

– Да вы только посмотрите, – продолжал Маэстро, по-прежнему пытаясь заглянуть рабби под шляпу и сердясь, что это ему никак не удастся. – Мир теряет красоту и смысл, потому что стоило Богу-Абсолюту дать о себе знать, как все, словно сумасшедшие, устремились от прекрасного мира в какой-то выдуманный внутренний мир, совершенно абстрактный и никак не связанный с реальной действительностью.



стью... Посмотрите, посмотрите! Все вокруг только и заняты тем, что кричат о спасении, но при этом никто не может путно объяснить – зачем нужно спасать это тупое, агрессивное, заблудившееся в своем внутреннем мире существо!

Чтобы посмотреть на реакцию рабби, Давид искоса взглянул на него, но наткнулся взглядом только на опущенные больше, чем обыкновенно, поля его шляпы.

Впрочем, реакция на слова Маэстро, не заставила себя долго ждать.

– Должны ли мы понимать, – негромко и немного глухо осведомился ребе, так что можно было подумать, будто его голос доносится не прямо из-под шляпы, а откуда-то из глубины, – должны ли мы понимать сказанное так, что вы действительно верите в существование богов?.. В Артемиду?.. В Аполлона?..

– В Эриний, – добавил Давид, уже жалея, что притащил сюда рабби Ицхака.

Что бы там ни было, а это был славный вопрос. Он просвистел прямо над головой собравшихся и, кажется, даже на мгновение лишил Маэстро способности говорить. Впрочем, только на мгновение.

– Я верю в то, что красота нашего мира божественна, – с вежливой, но злобной улыбкой сообщил Маэстро.

Так, словно ему не впервые приходилось разговаривать с идиотами, до которых все доходит только с третьего раза.

Кажется, обмен любезностями состоялся, подумал Давид.

– К тому же, – добавил Маэстро все с той же вежливой улыбкой, – вы мне так и не ответили, зачем он вообще нужен, этот самый ваш Абсолют, когда мир самодостаточен и прекрасен сам по себе? Вы ведь не станете, надеюсь, утверждать, что Он нужен для того, чтобы спасти всех без разбора? Потому что если вы это скажете, то впадете в противоречие, утверждая, что с одной стороны, Бог творит ничтожных и недостойных внимания тварей, потому что перед Абсолютом – все ничто и все прах, а с другой, обещает им спасение, то есть, обнаруживает в них нечто ценное. А это, извините – абсурд, потому что нельзя же, в самом деле, спасти полное дерьмо!

– Надеюсь, ты все-таки не о себе, – не удержался Давид.

Потом он вновь посмотрел на рабби, полагая, что тот ответит сейчас какой-нибудь апробированной мудростью, вроде той, которая уверяла, что «для Бога все возможно» или призывала тебя стучать во все встреченные тобой двери, до тех пор, пока тебе не отворят, но, однако, рабби Ицхак, похоже, избрал другой путь.

– Если вы настаиваете, – сказал он, продолжая слегка покачивать своей шляпой, – то для начала я назову только одну причину, благодаря которой Всемогущий кажется мне более реальным, чем я сам... Эту причину можно сформулировать вот как. Понятие «Бог» означает, ко всему прочему еще и то, что человек на этом свете, к счастью, не совсем одинок.

Было видно, что он устал и с трудом подыскивает нужные

слова.

Маэстро усмехнулся. Кажется, по-прежнему зло и, уж во всяком случае, в высшей степени иронично. Потом он сказал:

– Боюсь, что это только в том случае, когда ему есть до человека хоть какое-то дело. А это очень сомнительно. К тому же, – добавил он несколько снисходительно, – отчего вы решили, что человек не будет одинок, общаясь с Аполлоном или Зевсом?

– Я говорил о другом одиночестве, – сказал рабби.

– А есть еще какое-то?

Похоже, Маэстро готов был рассмеяться собеседнику прямо в лицо.

– Да, – ответил рабби и Давид отметил, что в голосе его уже не было ни неуверенности, ни усталости, как будто он успел быстро собраться и подготовиться к дальнейшему разговору. – Конечно. Есть одиночество, которое испытывает человек наедине с самим собой и которое может преодолеть только один Всемогущий, потому что только один Всемогущий в состоянии смыть с человека его грязь и вернуть человека самому себе. Но об этом вы можете легко узнать не у меня, а в книге, которая называется Тора.

– Я так и думал, – сказал Маэстро несколько снисходительно. – Но только на этот раз евреи немного опоздали... Правда, они, конечно, быстренько подняли то, что плохо лежало, но первыми монотеистами были все-таки не они.

– И кто же? – спросил рабби.

– Первым был грек, которого звали Ксенофан из Колофона, – ответил Маэстро. – Человек, который впервые придумал единого Бога.

– Ксенофан из Колофона, – повторил рабби.

– Если, конечно, вам что-нибудь это говорит, – с гордостью сообщил Маэстро так, как будто он сам создал две с половиной тысячи лет назад этого самого Ксенофана и теперь собирался вывести его на всеобщее обозрение, ожидая заслуженных похвал и наград.

В конце концов, речь все-таки шла о Ксенофане из Колофона, сэра!

Об этом юродивом, который поставил себе задачу обсмеять все и всех, для чего он всю жизнь болтался – то по Малой Азии, то по Фракии, то по Пелопоннесу, наживая себе врагов и теряя друзей, так что к концу жизни у него не было никого, кто бы мог закрыть ему веки и прочитать над ним напутственную молитву. Никого, кроме старой облезлой собачонки, которая последние пятнадцать лет сопровождала его в странствиях, и которая, конечно, была не в счет, хоть он и звал ее «Аполлоном» к ужасу благочестивых греков, по словам самого Ксенофана ходивших в отхожее место, не иначе, как испросив на то благословение Небожителей...

Ксенофан из Колофона, сэра.

Ворчливый брюзга в вечно несвежей тунике, у которого была странная манера портить воздух, в то время как он рас-

сказывал о разных логических несуразностях известных философов или об устройстве Космоса, вечно сопровождая эти рассказы непристойными звуками и грубым смехом. Возможно, кому-то это даже нравилось, иначе – зачем бы народ стал собираться на его выступления, если не затем, чтобы посмеяться и позубоскалить, послушать насмешки над богами или злые эпиграммы, которые он сочинял прямо на ходу, к удивлению присутствующих и к сердитой ругани тех, о ком эти эпиграммы были сложены?

Сейчас уже трудно было вспомнить, чему он в действительности учил поначалу, сидя на берегу высохшего ручья в окружении бездельников, которым ведь все равно было некуда девать свое время перед лицом вечной скуки и отсутствия развлечений. Одно только было вполне достоверно, настолько насколько вообще может быть что-то достоверное по истечении стольких лет. Это «одно» заключалось, как рассказывали, в твердой уверенности Ксенофана в том, что делом человека может быть только мнение, тогда как истинное знание всегда ускользает от людей, сколько бы эти последние не гонялись за ним. Я даже думаю, что все, что случилось с Ксенофаном потом, было только следствием этой скептической уверенности в невозможности истинного познания, ибо всякий скепсис, каким бы кардинальным он ни был, всегда, рано или поздно, начинает чувствовать незримое присутствие Истины, которая как-то все же дает нам о себе знать, хотя и остается подобной кружащим в Шеоле те-

ням, – незримой, неслышной, не схваченной словом и разумением. Уже много позже Ксенофана, подтверждая это, систематизатор античного скепсиса Секст Эмпирик, заметил, что скепсис ни в коем случае не сомневается в существовании Истины, но только в том, что эта Истина может быть нам известна. К этому он добавил (развенчав предварительно все претензии догматиков на знание Истины), что среди всех известных философских школ только скепсис может похвалиться тем, что ищет подлинное знание, которое одно в состоянии удовлетворить вечную человеческую любознательность. «Ищут же скептики» – заметил он в одном из своих трактатов, и это означало, что несмотря на все неудачи и сомнения, скептик все еще не терял надежду обрести последнюю Истину.

Вот только этот Ксенофан Колофонский, сэр. Тот, которого поиски завели Бог знает куда – на самый край земли или еще дальше.

Вечный насмешник над не умеющими постоять за себя богами, в чьи, еще ни о чем не говорящие сны уже просачивалась по утрам непонятная тревога, как просачивается под ногами болотная вода, давая тебе знать о скрытой опасности, прячущейся под ярко-зеленой осокой.

Истина, сэр. В конце концов, она легко могла принимать любые обличия, не спрашивая нашего согласия.

Никто не знал толком, когда Ксенофан заговорил о Боге. С большой долей вероятности можно было, пожалуй, во-

образить, что это заговорил не он, а сам Бог, чей голос разбудил его однажды ночью, чтобы заставить его взвалить на свои плечи новую Истину, от которой пересыхало горло, а спина покрывалась испариной.

Наверное, поначалу это было как удар грома посреди ясного неба – Бог, присвоивший себе имя Истины, чудовищный в невозможности найти ему подходящее сравнение, всезнающий, всевидящий и всеслышающий Бог, вечно пребывающий в своем самодовольном бытии, от которого негде было укрыться, потому что он сам был ничем иным, как этой бесконечной Вселенной, не знающей ни уничтожения, ни возникновения, и потому не знающий даже того, что среди людей называлось *временем*

Не исключено, что сам Ксенофан, как свидетельствуют некоторые источники, даже собирался что-то возразить и с чем-то не согласиться, да только скованный ужасным видением, что мог он выдать из себя, кроме того жалкого хрипа, который вышел из его груди, словно лишний раз подчеркивая человеческую слабость и ничтожность перед лицом чудовища, у которого не было даже имени?

Но самое ужасное было совсем не это, сэр. Этот Бог принес с собой вещи похуже, чем весть о том, что все едино или о том, что в мире больше ничего не происходит. Гораздо хуже было то, что вскоре выяснилось, что этот незнающий сострадания Бог питался красками восхода и заката, запахом цветов и соленого морского ветра, солнечным светом и лун-

ным сиянием, детским смехом и шепотом влюбленных, медленно превращая этот прекрасный мир в отвлеченное понятие, в голую абстракцию, в место, где царствовали безличные законы и не знающие снисхождения цифры.

Мы не знаем, как принял Ксенофан видные пока еще только ему одному перемены. Наверное, сначала у него скребло на сердце и ночью часто снились кошмары, ведь, в конце концов, это он, а никто другой, впустил в наш мир это безымянное чудовище, которое медленно, но неотвратимо превращала мир в ничто.

Очевидцы рассказывали, что в последние годы, когда он поселился в родном Колофоне, его смех умолк и часто случайные посетители заставляли его в слезах или в мрачном безмолвии, когда он уходил на берег и сидел там часами, глядя на море и наблюдая движение облаков, за которыми давно уже не прятались небожители.

Говорили, что с годами он привык и смирился, как с ничтожностью человека, – который по-прежнему мог иметь только недостоверные мнения, но никак не твердое знание, – так и с самодовольством новоявленного Бога, которому дела не было, как до наших забот и тревог, как и до наших обетов, обрядов и жертвоприношений.

Другие рассказывали, – и в этом можно было, при желании, найти отнюдь не скрытую иронию, которую, время от времени, позволяли себе с нами Небеса, – что с годами, Ксенофан начал тайно молиться богам, – всем тем, кого он



прежде отвергал и над кем зубоскалил – прося у них в молитве прощение и призывая богов объединиться против вторгшегося в наш мир чудовища, от которого трудно было ждать что-либо хорошее.

– Похоже, однако, что его призыв остался неслышанным, – сказал рабби Ицхак.

– К сожалению, – кивнул Маэстро.

Потом уже, позже, когда они вышли из мастерской в этот теплый, сладко пахнувший, несмотря на множество машин, вечер, старый рабби вдруг остановился и сказал:

– Конечно, в его голове такая каша, что лучше вообще не обращать на нее внимания. Но что бы он там не наговорил нам сегодня, я вижу, что его сердце до краев наполнено благими пожеланиями, а это все-таки кое-что значит, хотя христианская пословица, кажется, так не считает.

– Пожалуй, – согласился Давид, вспоминая как однажды Маэстро сказал:

– Все, что делаю я, и что делают другие, размазывая краски по холсту, все это только жалкие попытки подражать тому, к чему мы не умеем даже приблизиться... Вот увидишь, придет день, и вещи сами заговорят о себе в полную силу, чтобы вернуть себе самих себя.

– Во всяком случае, – сказал рабби, – он стоит на правильном пути, а это значит, что Всемогущий не оставит его своей милостью...

И все-таки, подумал Давид, пока этот день еще не при-

шел, тень, выпущенная Ксенофаном Колофонским, похоже, все еще лежит на этом мире, делая его неудобным, неприветливым и чужим.

Тень, которую отбрасывали далекие Небеса, ничего не желающие знать ни о твоей жизни, ни о жизни твоих близких и друзей.

Небеса, населяющие мир чужими вещами, чужими людьми, чужими закатами и звездами, которые сами страдали от своей бездомности и своего безмолвия и невозможности дарить свет и тепло.

Делающие человека боязливым, неуверенным и одиноким.

Одно только, пожалуй, вселяло какую-то нелепую надежду, подсказывая, что если дело обстоит именно так, как оно обстоит, то ничто не мешает нам, позабыв обо всех правилах приличия, кричать во все легкие о посетившей нас беде, – вопить, пока хватает сил, чувствуя, как рвутся связки и от крика уходит из-под ног земля...

Кричать, из последних сил вглядываясь в горизонт в нелепой надежде увидеть приближение пыльного столпа, который пойдет перед тобой, сметая все условности и нарушая все приличия, чтобы вывести тебя, наконец, отсюда и уже навсегда.

## 14. Рыбы небесные

Иногда, правда, с ним что-то случалось во сне, и он просыпался Бог знает в какую рань, чтобы отправиться во двор и посмотреть, как встает солнце или просто подышать свежим утренним воздухом после своей, во всех отношениях уютной, но душной коморки.

Тогда он быстро одевался, споласкивал в столовой лицо и затем легко скользил по пустым коридорам клиники, мимо спящих дежурных, а за окнами только начинался новый день, и охранники внизу, как всегда, с трудом продирали глаза и цедили что-нибудь вроде «О, Мозес, ради Бога», или «Не мог бы еще пораньше», или «Сдурел ты что ли, Мозес, в такую рань?».

Но что бы они ни говорили, в конце концов, им все равно приходилось звенеть ключами, и, зевая, открывать двери, чтобы выпустить Мозеса во двор.

И вот он выходил, не слишком хорошо понимая поначалу – чем тут можно заняться в шестом часу утра, хотя ноги уже несли его сами по лестнице на вторую террасу, а потом на следующую, третью террасу, откуда – минуя разросшуюся акацию – он попадал через потайной лаз возле стены в уютный, украшенный камнями и песком, садик, о существовании которого знали немногие. В этот отгороженный от

прочего мира стеной из ракушечника и старых акаций миниатюрный садик с самодельной скамейкой, сработанной когда-то Мозесом, встав на которую можно было, цепляясь за камни, добраться, хотя и не без усилий, до самого верха и там, подтянувшись, усесться на самом верху стены, глядя, как быстро разгорается далекий горизонт, а лежащий внизу Город начинает медленно возвращаться после ночных сновидений к яви.

Город отсюда казался игрушечным. Особенно в те минуты, когда край солнца только-только показывался над горизонтом, и под его лучами вдруг вспыхивало где-то первое окно, а за ним еще одно, еще и еще, после чего оставалось совсем недолго ждать, когда Город сбросит с себя остатки ночных сновидений и запыхает навстречу поднимающемуся солнцу.

Город, в который его было не затащить и на аркане.

Потом Мозес спускался вниз, в прохладное еще с ночи пространство, которое он непонятно почему называл Садам, хотя это было всего лишь скрытое зеленью акаций маленькое убежище, где спрятавшемся от всего мира, ему неплохо думалось, и где мысли не торопили одна другую, как это чаще всего и случается с мыслями, но, напротив, давали друг другу возможность показать себя со всех сторон, так что случалось, хоть и не часто, что в голове у Мозеса сразу находилось несколько противоречащих друг другу мыслей, которые при этом прекрасно ладили друг с другом, словно хоте-

ли подчеркнуть этим, что все противоречия носят, безусловно, временный, преходящий и не существенный характер, на который не следует обращать слишком пристального внимания...

Бывало, впрочем, и так, что Мозес еще только намеревался подняться на первую террасу, когда за спиной его слышалось легкое позванивание колокольчика, мягкий перебор шагов, и кто-то большой, теплый тыкался ему в затылок и говорил что-нибудь вроде «крых-ммм-м» или «крымх-х-х», или даже просто «кр-р-р-х», а потом, кажется, собирался выпустить на Мозеса целый водопад слюней, от которых ему приходилось немедленно спасаться бегством.

Слюни, как и это «кррымх-х», принадлежали двугорбому верблюду не первой молодости, которого звали Лютер и который с некоторых пор жил на территории клиники, причем жил совершенно свободно, без обязанностей и ответственности, – этакий ни от кого не зависящий самостоятельный верблюд, разгуливающий по территории клиники, но при этом умеющий быть крайне пунктуальным, когда подходило время утренней или вечерней еды, о чем напоминало тогда его тревожное и беспокойное «крымх-х-х, крымх-х-х, крымх-х-х».

История Лютера была печальна, как и все истории про городских верблюдов, но конец ее оказался, тем не менее, вполне счастливым, как это, впрочем, иногда случается даже с верблюдами, и при этом без каких либо особенных на то

причин, – просто случается и все тут.

Его последнего хозяина звали Омар бен Ахмат, по кличке «Сумасшедший». Он и правда был сумасшедшим, и его история тоже была печальна, как, впрочем, истории всех сумасшедших начиная с основания мира. Ее легко можно было изложить в двух словах, эту историю, которая рассказывала о тяжелом детстве, о бедности, о ранней смерти родителей, несчастной любви, смерти первого ребенка, и вновь о бедности, о смерти жены, о нищете, усталости и постыдной привычке прикладываться к бутылке, и вновь о нищете, болезни, безнадёжности и глухой и бессильной ненависти к своим удачливым собратьям.

Однажды ночью Омар проснулся с твердым убеждением, что во всех его бедах и страданиях повинны американцы и лично президент Соединенных Штатов, а кроме того, все прочие неверные, на чьи головы следовало поскорее обрушить проклятья, напомнив им о том, что Рыбы небесные, смотрящие на тебя с высоты и знающие глубину твоего падения, уже готовы сжечь этот погрязший в грехах мир и только их святое милосердие останавливает до поры этот праведный гнев.

– Рыбы Небесные призовут вас к ответу, – кричал он, подъезжая к воротам клиники и развлекая своими криками охранников, которые вылезали по такому случаю из своей будки и вволю веселились над этим сумасшедшим арабом и его облезлым верблюдом, у которого, кажется, даже не было

имени.

– Рыбы небесные, – кричал он, указывая своей палкой на небо, – сожгут вас огнем неугасимым, от которого нет спасения!

Охранники весело смеялись и свистели.

Безымянный верблюд мирно щипал растущую у ворот травку и время от времени поднимал голову и смотрел на смеющихся охранников.

– Рыбы небесные, – надрывался Омар, забываясь и хлеща верблюда своей палкой. – Разверзнется земля, и только праведник устоит перед лицом Всемогущего!

В ответ на побои, верблюд отрывался от сухой травы, поднимал голову и смотрел на своего хозяина печальным и понимающим взглядом.

– Рыбы небесные, – кричал тот уже сорванным голосом, помогая себе жестами. – Рыбы с железными зубами, пускай падут они на головы неверных, пусть сожгут их на медленном огне своих глаз, пусть выпьют их кровь и съедят их плоть...

Охранники покатывались со смеху и хлопали друг друга по плечу, не в силах остановиться.

В ответ на вопрос, кто же все-таки они такие, эти Рыбы, плавающие в небесах, Омар обыкновенно презрительно ухмылялся и плевал в сторону клиники или в сторону спрашивающего, а вслед за ним плевал, явно подражая ему, и его не первой молодости облезлый верблюд, у которого это, конеч-

но, получалось гораздо лучше, чем у Омара, хотя и у Омара тоже выходило неплохо, и охрана просто сходила с ума от смеха, а особенно тогда, когда кому-то надо было пройти через ворота, и тут уж верблюд обнаруживал просто снайперское умение, так что его слюни оказывались вдруг метров за пять или больше на чьей-нибудь рубашке или костюме, что уже совсем добивало бедных охранников, так что они торопились поскорее спрятаться в свою будку, откуда еще долго доносился их веселый смех.

Впрочем, эти развлечения охранников и крики Омара продолжались совсем недолго. А продолжались они недолго по той простой причине, что у Рыб небесных, похоже, оказались какие-то странные представления о благодарности, так что однажды, когда Омар, подъехав к воротам клиники, уже собирался привычно обличить всех неверных американских псов и призывать на их головы Рыб небесных, эти самые Рыбы так запутали уздечку его верблюда, что когда Омар захотел спуститься на землю, он мгновенно запутался и повис вниз головой, извиваясь и пытаясь дотянуться до какой-нибудь точки опоры, что только усложнило его положение, причем до такой степени, что спустя несколько секунд безнадежной борьбы, он повис бездыханный и распятый на верблюде, да к тому же еще вниз головой, словно распятый святой Петр, что можно было расценить, как своего рода небесную иронию, которую время от времени позволяют себе Небеса...



Впрочем, подумал как-то Мозес, все случившееся можно было объяснить гораздо проще, например тем, что Рыбам небесным просто надоело слушать истошные вопли и они, посоветовавшись между собой, решили избавить свои уши от этих несимпатичных и вполне бессмысленных звуков.

Как бы то ни было, тело погибшего увезла санитарная машина, а верблюда, до поры до времени, привязали к воротам клиники, где он провел остаток дня и всю ночь, а потом еще полдня, в течение которого никто опять не догадался его покормить и напоить, кроме Мозеса, Иезекииля и Амоса, которым в один и тот же день пришла в голову остроумная мысль – оставить верблюда в клинике, на что, конечно, требовалось разрешение Совета директоров. И еще разрешение муниципальных властей, и еще разрешение полиции, а еще разрешение разных санитарных инстанций, которым и так хватало забот без всякого приبلудного верблюда, – все эти сотни согласований, разрешений и инструкций, которые, с другой стороны, можно было легко обойти, стоило только немного подумать, как это лучше сделать.

– Вы только посмотрите на это прелестное животное, – сказал Мозес, подходя вместе с Амосом и Иезекиилем к воротам клиники, чтобы посмотреть на верблюда, о котором им рассказал кто-то из пациентов. – Сдается мне, он мог бы стать хорошим украшением нашего зоопарка.

– У нас, что, есть зоопарк? – спросил Иезекииль.

– Во всяком случае, он мог бы стать первым экспонатом, –

сказал Амос.

Конечно, вытертая на боку и коленях шерсть и несимпатичные бородавки и складки, равно как седые волосы, вылезающие то там, то тут, наводили на мысль о том, что этот верблюд помнил минимум время османского владычества. Желтые зубы торчали в разные стороны. Большие черные глаза слезились. В шерсти копошились какие-то насекомые. Потом верблюд положил голову на плечо Мозесу и зарыдал. Крупные слезы покатались по его щекам и груди.

– Я сейчас заплачу сам, – пообещал растроганный Иезекииль. – Хотя последний раз я плакал в 1940 году, когда немцы увезли мою семью.

– Он чувствует, что мы можем ему помочь, – сказал Амос. – Сдается мне, что его никто не кормил.

Словно догадавшись, о чем идет разговор, верблюд издал громкое «крымх-х-х» и опустился на колени, чтобы продемонстрировать присутствующим единственное дело, которое он умел делать хорошо – возить и таскать.

Между тем, время шло, а за верблюдом никто не торопился, как никто не торопился и за телом Омара бен Ахмата, которого похоронили, наконец, за государственный счет в самом дальнем углу одного глухого мусульманского кладбища, а его верблюд постепенно стал частью привычного пейзажа, в котором, впрочем, не было ничего особенного, потому что верблюда в этом городе можно было встретить на каждом шагу.

Время текло и вместе с ним увеличивалось число доброжелателей верблюда, которые приходили полюбоваться этим древним домашним животным и приносили ему пожевать что-нибудь вкусненького, и среди них даже два члена Совета директоров, которые остались вполне довольными этим посещением, несмотря на то, что одному из них верблюд изволил слюной весь костюм.

Наконец, наступил день, когда администрация клиники пришла к поистине мудрому решению – немедленно отдать верблюда, если за ним придет его хозяин или если этого потребуют власть предержащие, а до того оставить его в мирно пасущемся состоянии на хозяйственном дворе, обязав кухню кормить его не менее одного раза в день, для чего рекомендовалось обзавестись специальным баком для отходов.

Конечно, «временное решение вопроса» вполне устраивало всех, кто был занят этой проблемой, а особенно, конечно, самого пощипанного жизнью верблюда, который, волей случая попав на двор клиники, с изумлением узнал, что на свете встречаются такие потрясающие вещи, как овсяная каша на воде и засохший хлеб, так что теперь он не желал даже и шагу ступить от ворот, глядя на Моисея или Амоса как на каких-то верблюжьих богов и даже пытался всякий раз покачать их на своей спине, для чего он даже приседал, подогнув коленки и сетуя своим недовольным *кррмх-х* на непонятливость этих глупых двуногих.

Назвать верблюда Лютером пришло в голову Иезекиилю,

который считал, что у Всевышнего всякая вещь пронумерована и занесена в особый реестр, чему следовало бы поучиться у Него и нам. Конечно, до того, как попасть в клинику, верблюд имел множество разных имен и кличек, например, «эй ты», или «старая падаль», или «вонючка», или «пошел вон, урод» и все в таком же духе, что, по мнению Иезекииля, никак не способствовало ни его нравственному совершенствованию, ни его боевому духу, ни вообще чему-нибудь, что выгодно отличает божьих тварей от нечистых демонов.

– Мы назовем его «Лютер», – сказал Иезекииль и пояснил: – Весь фокус в том, ребята, что при этом никто не будет знать, каким именно Лютером мы его назовем. Лютером Мартиным, реформатором, или Мартином Лютером Кингом, политиком, или Колином Лютером Пауэллом, генеральным секретарем, или Сабервальдом Лютером Младшим, изобретателем двойного клавирика... Просто Лютер и все тут.

– Но в чью же, все-таки, честь он будет назван? – спросил Амос. – Кто-то ведь про это будет знать?

– Наверняка, – ответил Иезекииль, – Но только не я.

– Понятно, – сказал Амос.

Надо сказать, что двугорбая скотина довольно быстро привыкла к своему имени и теперь на всякое упоминание Лютера она охотно отвечала «крмх-х» и смотрела в ту сторону, откуда время от времени появлялась в баке вкусная еда.

Со временем, эта история как будто стала постепенно за-

бываться. Но не совсем.

Прогуливаясь как-то с Мозесом по второй террасе и проходя мимо пасущегося Лютера, которому по случаю выходного разрешили немного порезвиться во дворе, Иезекииль сказал:

– Я все думаю об этих Рыбах небесных, Мозес... Слышал, что рассказывал сегодня Габриэль?

– А что? – сказал Мозес.

– А то, что в последнее время по ночам над клиникой видели кое-что совершенно несусветное. Странно, что ты ничего не слышал.

– Несусветное, – Мозес не скрывал своего скептицизма. – И что же это было, это несусветное?

– Это был, с твоего разрешения, тот чертов Омар бен Ахмат, который посылал на наши головы проклятья, – сказал Иезекииль. – Он летал ночью над нашей клиникой и кричал, что Рыбы небесные уже близко. Габриэль сказал, что разговаривал с одним из третьего отделения, который сам это видел прошлой ночью.

– Иезекииль, – Мозес скептически посмотрел на Иезекииля. – Ты веришь всему, что рассказывают обитатели третьего отделения?

– Прошлое имеет обыкновение возвращаться, Мозес, – сказал Иезекииль таким голосом, как будто Мозес никогда ничего подобного не слышал. – Оно возвращается и требует от тебя, чтобы ты вернул ему все до крошки. До самого по-

следнего агорота. Подумай об этом на досуге.

– Оно возвращается, когда ему есть куда вернуться, – сказал Мозес. – Туда, где пусто. Слышал когда-нибудь историю о семи бесах, которые привели с собой еще по семь, обнаружив, что в душе у человека царит пустота?

– Не будь таким самонадеянным, – сказал Иезекииль. – Самаэль – парень не промах. Запутает так, что не узнаешь потом родную мать.

– А как же Рыбы небесные?.. Неужели не помогут? – насмешливо спросил Мозес, впрочем, не очень рассчитывая получить ответ.

– Рыбы, – сказал Иезекииль. – Да мы сами тут как Рыбы небесные. Плаваем, где угодно, но только не там, где нам следовало бы плавать по всем законам.

– Может, в этом как раз и все дело? – спросил Мозес.

– Может быть, – ответил Иезекииль.

Потом Мозес сказал:

– Ладно, приму к сведению.

И помахал смотревшему в их сторону Лютеру.

– Уж сделай такую милость, – сказал Иезекииль.

– Конечно, – сказал Мозес.

И все-таки, сэр.

И все-таки Мозес.

Следовало признать, что прошлое приходит к нам, когда ему только вздумается, просачиваясь сквозь щели и тревожа нас во снах, не давая сосредоточиться и насмешливо щурясь

над нашими жалкими попытками обуздать эти ночные страхи и дневную тоску.

Однажды он наткнулся на Лютера, когда тот стоял, глядя за решетку ворот и из глаз его катились большие слезы, – так, словно несмотря ни на что, он тосковал по той самой жизни, когда его звали не «Лютер», а «Эй, ты» или «пошел вон, старая падаль», и когда высохшая трава у ворот казалась слаще всех кухонных отходов мира, а боевой клич его наездника и в самом деле будоражил Рыб небесных, готовых обрушить свой огонь на головы нечестивцев...

По той самой жизни, сэр, куда, должно быть, приходил в его снах нигде не принятый и никому, по-прежнему, не нужный Омар бен Ахмат, заставляя Лютера скалить в сонной улыбке желтые зубы и ворчать свое довольное, почти нежное «кpp-рмх-х-х-х».

## 15. Мозес

Бог его знает откуда он взялся, этот самый Мозес, который то приходил к нему во сне, то вдруг напоминал о себе какими-то смутными воспоминаниями, которые явно принадлежали не ему, а то вдруг окликал его посреди улицы, так что Давид вздрагивал и оглядывался так, словно он и в самом деле имел какое-то отношение к этому самому неуловимому Мозесу, неведомыми путями проникавшему в его сны.

Со временем, правда, он уже мог сказать об этом самом Мозесе кое-что более или менее определенное, – например, что он больше любил приходить к нему под утро, когда восток едва еще только посветлел, а сновидения делались яснее и отчетливей. Похоже, он что-то хотел сказать ему, этот Мозес, и при этом дергался, суетился и махал руками, словно боялся, что его не услышат или что никто не поймет того, что он рассказывал и что было для него, видимо, очень важно, иначе, зачем ему было так часто появляться в его снах и заставлять Давида просыпаться и вспоминать увиденное?

Конечно, все прекрасно знали, что будущее отбрасывает тень, но никому, вероятно, не приходило в голову, что это будущее будет являться во сне под именем Мозеса, да еще норовя произнести это имя на американский манер, – вот так вот, слегка вытянув губы и растягивая «о», одновремен-



но произнося «е» как «и» – так что в результате получалось самое настоящее американское имя, – не Моше и не Моисей, и не Мусса, а именно Мозес, и даже «Мозис» – для тех, разумеется, кто обладал совершенным слухом и хотел, чтобы произнесенное ими имя напоминало о Большом Американском Каньоне или «Хижине дяди Тома».

Будущее, между тем, действительно отбрасывало тень, нимало не беспокоясь о том, кому эта тень нужна, – так, будто это выходило за рамки его интересов, которые ограничивались точной передачей неизбежно-грядущего, что, в свою очередь, было, пожалуй, похоже на то, как если бы ты смотрел в будущее, а будущее смотрело на тебя, так что в результате получалось что-то вроде того, о чем однажды сказала Анна, отметив в каком-то разговоре, что мы настолько далеко ушли от Бога, что можем надеяться повстречать Его на другой стороне.

Еще, – отметил как-то Давид, – это было похожее на трость рабби Ицхака, на набалдашнике которой двуликий Янус смотрел в разные стороны, тогда как даже слепому было понятно, что его лица смотрят в глаза друг другу, не в состоянии отвести прочь свои глаза, между которыми лежал целый мир.

И все-таки эта тень плутала в его снах совсем не напрасно, но с каким-то тайным умыслом, который, похоже, заключался в том, чтобы это будущее все-таки задало тот вопрос, который он, кажется, считал самым важным, хотя ответ на него

по-прежнему ускользал с каждым сновидением, прячась в глубине его путаных снов или торопливо возвращая его из сновидений в явь.

Вопрос этот был сначала о том, чем мужчина обыкновенно удостоверяет свое существование в этом мире – и ответ на него был, конечно, прост и понятен, потому что кто же не знал, что мужчина удостоверяет свое существование мужеством, умом, остроумием и делом. Он удостоверяет себя бесстрашием, нежностью и смехом. Уверенностью и верой. Талантом и умением. И все такое, что можно было перечислять до бесконечности, пока на него ни придет другой вопрос, который спросит, чем же удостоверяет свое существование мужчина перед лицом всемогущего Господа, которого не удивишь ни умом, ни нежностью, ни мужеством?

Не удивишь ничем, Мозес.

Должно быть, он просто поперхнулся во сне от такого поворота, перед которым были бессильны все ухищрения человеческой логики.

Перед лицом Господа, дурачок!

Кажется, все, на что он оказался тогда способен, был глупый и несуразный вопрос:

– Тебя больше ничего не интересует, Мозес?

И этот Мозес, этот наглец, пробирающийся в чужие сновидения и не знающий меры, ответил:

– Ничего, – ответил Мозес, чем и положил конец этому сну, вернув Давида равнодушной яви, где не было места ни-

каким Мозесам, занятым такой вот ерундой, как выяснение того, чем может удостоверить себя мужчина перед лицом Господа, который – хоть и оставался недостижимым совершенством – мог все-таки в любую минуту посадить тебя в лужу или подстроить все так, что тебе пришлось бы отмыться от этого до конца жизни.

Как бы то ни было, сэръ, вопрос оставался без ответа.

## 16. Филипп Какавека. Фрагмент 42

«БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ. Вот, пожалуй, самое несерьезное дело на свете – быть серьезным. Ведь слишком большая серьезность, как правило, чаще всего незаметно оборачивается своей противоположностью. Оттого большинство инстинктивно придерживается золотой середины.

Следует ли нам заключить отсюда, что серьезное – несерьезно, а в несерьезном, напротив, кроется величайшая серьезность? Такой вопрос свидетельствовал бы только о чрезвычайно серьезных намерениях спрашивающего. Я же только хотел еще раз подать свой голос в защиту оборотней».

## 17. Кое-какие умственные движения вокруг Маэстро

Тот день, кажется, так и кончился – ничем.

Не считая, правда, небольшого экскурса в размышление Маэстро над вечными проблемами пространства и времени, что, впрочем, случалось довольно часто, тем более – когда в руки Феликса попадала эта общая толстая тетрадь в голубом коленкоровом переплете.

– Вот, послушайте, – сказал он, листая тетрадь в поисках нужного места. – Мне кажется, это вам понравится.

И он прочел, как всегда слегка шепелявя и торопясь, отчего иногда было трудно разобрать какое-нибудь невнятно произнесенное слово и приходилось, чтобы не обидеть Феликса, догадываться о его смысле самому.

*"Иногда мне кажется, – читал он, наставительно подняв в потолок указательный палец, – что я не люблю пространство, потому что оно порабощает меня своей фальшивой готовностью подчиняться всему, что его наполняет, не переставая в то же время властвовать и повелевать отданными ей вещами, лишая их свободы и превращая в послушные тени. Конечно, оно всегда готово принять все что угодно – это пространство, не знающее исключения – но именно*

*принять, как принимают милостыню, как принимают тебя богатые родственники или как принимают сирот в детском доме, как принимают неприятные сны или неприятные новости, от которых ведь никуда не денешься, и с которыми теперь приходится смириться...»*

– И дальше, – сказал Феликс, переворачивая страницу.

*«Пространство подстерегает меня на каждом шагу. Оно застигает мои глаза и не дает возможности увидеть вещь саму по себе, – такой, какой она впервые узнала себя в Божественном замысле – потому что пойманная пространством вещь уже навсегда определена своей рабской принадлежностью к пространству, которое, прежде всего, было и остается тюрьмой вещей. Но придет час, когда вещи заговорят о своих истоках*

Он помолчал немного, а затем спросил:

– Ну? Что скажите?.. По-моему, это кого-то здорово напоминает. Вот только не могу понять кого.

– Это напоминает Какавеку, – сказал Давид.

– Возможно, и Какавеку, – сказал Ру. – И все-таки я не понимаю, почему он так ополчился на это бедное пространство, которое, признаться, иногда бывает очень даже милым.

– Боюсь, что это только иллюзия, – заметил Давид и сразу добавил. – Если, конечно, верить Маэстро.

– Вот именно, – сказала Анна, – Если верить Маэстро, то разговор, собственно, идет о том, что пространство превращает любую вещь, которую оно обнаруживает, в нечто мерт-

вое, в нечто, занятое лишь самим собой. Это самодовольное и наглое пространство, которое превращает любую вещь в некую отвлеченную протяженность, которой, на самом деле, нет до тебя никакого дела... Я правильно поняла, надеюсь?

– Как всегда, – кивнул Давид.

– Еще бы, – поддержал его Ру. – Мне кажется, что даже я понял.

– Ну, не прибедняйся, – Анна глядела куда-то поверх голов сидящих, как будто она видела там что-то такое, чего не видели другие. – Только на самом деле все обстоит не всегда так, как он говорит. Есть пространство, которое создается из улыбки. Или из шелеста осенней травы. Или из вещего сна. Да мало ли...

– Или из звона китайского фарфора, – сказал Ру, словно напоминая опять один из фрагментов Филиппа Какавеки. – Кажется, мы с Анной мыслим параллельно.

– В таком случае, я мыслю перпендикулярно, – сказал Феликс и негромко засмеялся. Потом добавил:

– Давайте лучше подумаем вот над чем. Маэстро хочет освободить вещь или события от власти пространства, которое превращает вещь в нечто мертвое и чужое... Так?

– Да, – сказал Ру.

– Следовательно... – и Феликс посмотрел на Давида, как будто именно от него ждал продолжения.

– Следовательно, – сказал Давид, жестом приглашая Феликса ответить самому.

– Следовательно, нам надо увидеть вещь не как нечто протяженное, на чем настаивал Декарт и вслед за ним вся европейская философия. Нам надо увидеть вещь, как нечто, что демонстрирует нам свою сущность совершенно иначе, чем просто протяженность... И тогда нам остается признать, что этим самым нечто может быть только эйдос, как бы мы его сейчас ни понимали. Потому что ничего другого та же европейская философия за две с половиной тысячи лет не нашла.

– Ура, – сказал Ру. – Теперь, по крайней мере, мы знаем, кто виноват.

– Вещь – не протяженна, – повторил Феликс слегка заунывно, словно он собирался заговорить разом все вещи мира, заставив их отказаться от протяженности и поведать о себе что-то совсем другое. – Она обнаруживает себя как эйдос, то есть раскрывается перед нами, как смысл, потому что если вещь лишается онтологического основания, от нее останется только один чистый смысл...

– Что радует, – сказал Давид.

Ольга негромко засмеялась.

– Напрасно смеетесь, господа, – сказал Феликс, листая тетрадь. – Самое любопытное еще впереди... Вот, послушайте-ка... *«Если спросить, теперь, что такое вещь сама по себе, то окажется, что она не знает никакого «сама по себе», потому что ее внутренняя сущность всегда направлена за ее собственные границы, – к тому, с кем она встречается в настоящем и перед кем раскрывает свой смысл, избе-*



*гая одиночества и ожидая, что другой ответит ей тем же. Тем самым, вещь всегда сопряжена с тем, кому она дана, и в этом, собственно, и открывается ее подлинная природа*

– Но это еще не все, – продолжал Феликс, открывая тетрадь в том месте, где была закладка. – Вот что он говорит дальше. *«Живопись означает только твою попытку искусственного превращения вещи в чистый смысл, который не нуждался бы ни в каких онтологических подпорках. Живопись хочет поймать вещь в ее первозданной истинности, как эйдос, как то, чему нет названия. Но она всегда забывает, что эйдос, как раскрытие смысла, никогда не бывает вещью в себе, и всегда раскрывается кому-то и суца всегда для кого-то. Это значит, что попытка поймать вещь – означает попытку поймать самого себя. Не подозревая, ты ищешь то, что есть ты сам. Тем самым, ты всегда находишь себя вдали от самого себя*

– Неплохо, – заметил Давид, когда Феликс захлопнул тетрадь. – Не знал, что Маэстро в состоянии так связно излагать довольно неординарные мысли.

– Вообще-то эти мысли излагала я, – Ольга стряхнула пепел на пол.

Ру негромко захихикал.

– Пардон, – сказал Давид – Я как-то упустил.

– Всегда пожалуйста, – Ольга достала новую сигарету.

– Лучше послушай вот это, – сказал Феликс, переворачивая страницу. – Минутку.... *«Живопись – это только знак,*

который не дает нам впасть в отчаяние скептицизма. Когда мы увидим вещи такими, какими они есть в действительности, мы перестанем нуждаться в холстах и красках, так же как и в литературе, и в музыке. Живопись, таким образом, есть только попытка подглядеть, подсмотреть, как обстоит дело на самом деле. Тем самым, перед нами вечная, никогда не прекращающаяся игра – успеть заглянуть себе за спину быстрее, чем обернешься сам

– Кажется, понятно, – сказал Ру.

– Или вот это, – продолжал Феликс. – «Пространство, которое разворачивается из вещей – принципиально другое, чем чужое пространство Декарта и Ньютона, способное с легкостью проглотить всю Вселенную. Это пространство разворачивается самими вещами, а значит, оно наполнено родными и понятными смыслами, созидающими этот светлый мир, который они делают привычным и понятным... Значит – добавлю я, опасаясь быть неправильно понятым, – это пространство открывает себя не для созерцания, а для проживания, для действия, для жизни, для ненависти, для любви, для понимания. Следовало бы, пожалуйста, поскорее войти в него, оставив за спиной все ненужное и пустое, да только что-то по прежнему не пускает тебя, требуя, чтобы мы прошли все положенные нам судьбой расстояния и постучали во все двери, которые мы встретим во время своего пути»

– Говорю же, что это просто Какавека, – сказал Давид.

– Ну, может, самую малость, – согласилась Ру.

– Совсем не похоже, – возразила Ольга.

– И последнее, – тут Феликс постучал ладонью по тетради. – Надеюсь, вам понравится. Она совсем коротенькая.

Он протер очки и прочитал:

*– «Увидеть пространство, не испорченное созерцанием – означает, видимо, подсмотреть то, что запрещено богами и значит – нарушить их волю. Хотя соделанное и кажется невозможным, однако наказание за него неотвратимо.*

*Научиться видеть поэтому – значит всегда научиться видеть неправду. А следовательно, чтобы поймать Истину, нужно поскорее ослепнуть. Ясно, что разговор тут идет уже не о живописи*

Закрытая общая тетрадь легла на стол.

– Ну? Что скажите? – спросил Феликс.

– Пока ничего, – ответил внутри Давида чей-то знакомый голос.

– Ничего, – повторил он, удаляясь в никуда, как удаляется, слабея, одиночный удар колокола.

В конце концов, что бы там не говорилось, но ослепнуть можно было по-разному – от ослепительного ли блеска Истины, или от неудержимых слез – кому как повезет.

– Похоже, последняя запись немного спутала жанры, – сказал Ру. – Потому что дело тут идет не о вещах, а о человеке. А это не всегда одно и то же.

– Действительно, – рассеянно кивнул Давид, витая где-то

далеко, куда не было хода ни Феликсу, ни Ру, ни Маэстро.

– Ты меня не слушаешь, Дав. Потому что если бы ты меня слушал, то знал бы, что эту последнюю запись можно, пожалуй, истолковать в довольно любопытном смысле.

– Сделай одолжение, – сказал Давид. – А то мы уже заждались.

– Я серьезно, – Ру, кажется, немного обиделся. Потом он поднялся со своего места и сказал:

– Если внимательно прочитать эту запись, то получается – все дело в том, что для того чтобы прийти к Истине, нам следует пройти сначала сквозь вещи, которые отделяют нас от себя самих и заставляют видеть то, чего на самом деле нет... Мне кажется, тут есть о чем подумать.

– Только не сейчас, – сказал Давид. – А кстати, куда подевался Григори? Он, что, не вынес наших научных разговоров и удавился?

– Он спит, – сказала Ольга.

– Спит, – засмеялся Давид. – Видели?.. И это будущий монах и защитник православных ценностей... Боюсь, что Сатан уже близко.

Анна засмеялась и, кажется, погрозила ему пальцем.

– Между прочим, я такого не говорил, – сказал Феликс, демонстрируя в очередной раз свое принципиальное нежелание касаться в разговорах каких бы то ни было мистических идей.

– А ты-то здесь при чем? – Ру быстро повернулся к Фе-

ликсу, словно только и ждал, когда тот подаст голос. – Разговор, кажется, идет совсем не о тебе... Или я опять ошибся?

– А вот это уже довольно грубо, – сказал Феликс и затем добавил какую-то ерунду, вроде того, что грубость это не аргумент, на что Ру, в свою очередь сообщил, что для тех, кто мыслит перпендикулярно – другие аргументы вряд ли сумеют помочь.

– Ну, хватит вам, – сказала Ольга. – Вы еще подеритесь.

– Еще чего, – усмехнулся Ру. – Мы, слава Богу, в разных весовых категориях, если ты до сих пор еще не заметила.

– Да, что это с вами сегодня? – спросила Анна, поднимаясь и подходя к окну. – Господи, какая душегубка... Давайте хотя бы откроем окно.

– Не уверен, что если мы это сделаем, оно потом закроется, – сказал Давид.

– Господи, Давид, ну, неужели ничего нельзя сделать?

– Конечно, можно, – сказала Ольга. – Застрелиться.

## 18. Филипп Какавека. Фрагмент 41

«Иногда мне хочется, чтобы мне приснился какой-нибудь Апейрон или Перводвигатель, или что-нибудь в этом роде; какая-нибудь понятная непонятность, дивная игрушка, вмещающая и мир, и судьбу, где все элементы, образы, вещи, идеи и поступки могли бы уместиться на моем столе, где царил бы закон, подобный чуду и свобода мирно сосуществовала бы с необходимостью так же просто, как жизнь со смертью. Я бы хотел видеть себя, гуляющего по эти пространствам, садам и лабиринтам, в которых невозможно заблудиться, – себя, навсегда оставившим заботы о будущем и утратившим память о прошлом. Одно лишь тревожит меня: что как этот «апейрон» окажется правдой? Не свободным вымыслом, танцующим среди звезд свой легкий танец, а тяжелым гулом скатывающихся с горной вершины камней? – Тогда конец снам! – Не в этой ли тревоге причина нашего по-прежнему настороженного отношения к метафизике?»

## 19. Вокруг одного самоубийцы

– В конце концов, все очень просто, – сказал Ру, когда однажды мы сидели у Феликса на кухне за одним из его субботних чаепитий.

– Все очень просто, – сказал он, разливая остатки вина, – потому что все мы знаем, что человек создан для счастья, как рыба для полета... Верно, Грегори?

Как и следовало ожидать, Грегори опять ничего не ответил, а только молча махнул рукой, не отрываясь от книги, которую он читал, положив на колени.

– Вообще-то мы это уже слышали, – сказала Ольга. – И притом – не один раз. Про рыбу и все такое. Во всяком случае, я.

– И я тоже, – поддержала ее Анна.

– И, тем не менее, – сказал Ру. – Тем не менее, господа. Это правда. Спросите хотя бы у Грегори.

Услышав свое имя, Грегори издал какой-то звук, но головы не поднял.

– Оставьте, наконец, Грегори в покое, – сказал Левушка. – Что вы пристали к человеку?.. Пускай идет куда хочет. Лично я не имею ничего против. Какая, в конце-то концов, разница?

– Но не в монастырь же, – сказал Ру. – Господи!.. Да еще в

православный... Ты сам подумай – человек приехал из Ирландии, чтобы окончить свои дни в православном монастыре, а вы радуетесь этому, как будто он нашел чемодан денег... Он что, совсем рехнулся?

– А ты это у него спроси, – посоветовала Анна.

– Да пускай идет куда хочет, – повторил Левушка. – Он свободный человек. Хочет – пойдет к монахам, хочет – к скинхедам... Ты ведь свободный человек, Грегори? – спросил он, похлопав сидящего Грегори по колену, после чего сам же себе и ответил: – Да, я свободный ирландский человек, а вы все отстаньте от меня, пока я вам как следует не накостылял... Мне кажется, это хороший и заслуженный аргумент.

Однако, похоже, Ру не собирался оставлять Грегори в покое.

– Что значит, куда хочет? – сказал он, ныряя куда-то под стол и возвращаясь назад с новой бутылкой вина. – Или у вас уже тоже крыша поехала?.. Вы что, действительно думаете, что существуют такие специальные места, где Бог может нас спасти лучше, чем где-то еще?.. Ну, значит, вы сами идиоты, и тут уж, извините, ни хрена не поделаешь.

– А нельзя ли все-таки немного более аргументировано и без ругани? – спросил Феликс, который сильно недолюбливал Ру и никогда не упускал случая это подчеркнуть.

– Тем более что мы говорили не об этом, – заметил Левушка.



– А я говорю об этом, – не унимался Ру. – О том, что на свете нет таких мест, где Бог спасает человека лучше, чем в других. Он, что мастер высокой квалификации? А это значит, – продолжал он, повышая голос, чтобы перекрыть заглушивших одновременно Анну и Левушку, – это значит, что идти в монастырь – просто глупость, особенно в начале третьего тысячелетия.

Грегори поднял голову, посмотрел на Ру и затем вновь вернулся к книге.

– А можно я скажу? – подняла руку Анна, словно это был урок и она вызвалась идти к доске отвечать. – Это значит, милый мой, что если Бог захочет, то Он может спасти человека даже в отхожем месте, не говорю уж про монастырь.

Лицо Левушки расплылось в довольной улыбке.

– Именно это я и хотел сказать, – заметил он, улыбаясь Анне.

Кажется, Давид мог поклясться, что в ответ Анна наградила Левушку мягкой и отнюдь не дружеской улыбкой. Впрочем, он, конечно, мог и ошибаться.

– И все-таки я не понимаю, – Ру, кажется, начинал сердиться. – Если Богу все равно, где тебя спасать, то какое отношение к этому имеет какой-то монастырь, пусть даже он будет из золота?.. Я не понимаю.

– Боюсь, что ты не улавливаешь нюансов, – сказал Левушка, открывая бутылку. – Разумеется, Бог может спасти тебя где угодно. Например, в борделе или в монастыре. Но если

говорить честно, то почему-то первое мне кажется все-таки куда более правдоподобным, чем второе.

– Ну, а я о чем говорю? – сказал Ру, кажется, немного сбитый с толку. – Я как раз именно об этом и спрашиваю – зачем человеку идти в монастырь, если Бог найдет его, когда захочет и где захочет, и безо всякого монастыря?

– А я тебе уже ответил, – сказал Левушка, разливая вино. – Если, в самом деле, монастырь это такое место, в котором труднее спастись, чем в борделе, то это значит, что именно туда-то и следует идти, потому что христианину следует, сколько мне известно, бороться с трудностями, а не бежать от них... Что и требовалось, между прочим, доказать.

– Что и требовалось доказать, – повторил Давид. – Оказывается, что ко всему прочему, ты у нас еще и большой богослов.

– Я все-таки кончал когда-то Университет – сказал Левушка. – К тому же, гуманитарно-образованный человек должен уметь все. В том числе, быть в курсе богословских сюжетов.

– А я почему-то всегда думал, что это прерогатива Небес – открывать тебе рот и заставлять выговорить то, что ты выговаривать не хочешь, – сказал Давид. – А оказалось, что это прерогатива университетских выпускников.

– Вообще-то, мы говорили не об этом, – напомнил Левушка.

– Конечно, – кивнул Давид. – Мы говорили о спасении

и пришли к выводу, что монастырь вполне подходящее для этого место, именно потому, что в нем не спастись.

– Ну, да, – сказал Левушка. – Никто ведь не спорит о том, что при желании Бог спасает человека независимо от всех условий, когда захочет. Спорят о том, что следует делать самому этому человеку и тут, конечно, мнения расходятся.

– Конечно, – сказал Давид, – Вот только одно условие, мне кажется, все-таки существует.

– И? – спросил Левушка.

– Он спасает только тех, кто этого хочет, – сказал Давид.

– Не уверен, – сказал, помедлив, Ру.

– Я сказал "мне кажется", – ответил Давид. – К тому же, если кому интересно, то у меня есть аргументы.

– Лучше бы у тебя были деньги, – сказал Левушка. – Ей-богу. Ну, давай, покажи хоть один.

– Пожалуйста, – сказал Давид. – Вертер. Помните такого героя?.. Поднимите руки, кто не читал.

– И при чем здесь Вертер? – спросил Левушка.

– При том, – сказал Давид. – Одного этого гетевского Вертера достаточно, чтобы с чистой совестью забыть раз и навсегда про все ваши монастыри... Может, наш ирландский друг не читал Гете?.. Тогда пусть прочтет.

– Ты читал? – Левушка повернулся к Грегори.

– Что? – спросил тот, не отрываясь от книги.

– Вертера.

Грегори немного подумал и сказал:

– В последнее время я читаю только святых отцов.

– Отцов, – поправил Ру. Было видно, что ему стоило большого труда не засмеяться.

– Отцов, – смиренно повторил Грегори и потряс в воздухе своей книгой.

Книга называлась "Столп веры. Учение святых отцов о спасении".

Учение святых отцов, сэ.

Как спастись по заранее намеченному плану и при этом – с абсолютно гарантированным результатом.

С приложением точного маршрута, много раз описанного достойными доверия избранниками Божьими.

И все-таки, – подумал он, не переставая удивляться тому, что собирался сказать его язык, – и все-таки, вся эта история с самоубийством Вертера не давала никаких шансов, а значит, приходилось вносить в наши планы кое-какие существенные изменения, потому что одного только этого влюбленного по уши героя было бы достаточно, чтобы все монастыри на земле незамедлительно рухнули, подняв до небес такой столб пыли, который заставил бы долго чихать все небесное воинство... Жалкий самоубийца, готовый отдать все Небеса за сомнительное счастье находиться всю отпущенную им вечность рядом с этой смазливой мордашкой... как ее там?

Кажется, Юлия, сэ.

Именно так, Юлия, Мозес.

Он перехватил удивленный взгляд, брошенный на него Анной, и спросил:

– А ты разве не помнишь?

– Читала сто лет назад.

Сказанное показалось ему слегка пренебрежительным – всего какие-то сто лет назад, сэр. Кто помнит, что там было сто лет назад? И это про того, кому давно следовало бы поставить памятник, если бы не человеческая глупость, которая под словом героизм, как правило, всегда подразумевает махание саблей или металлический стук надетых на голое тело вериг.

– Между прочим, если мне не изменяет память, он застрелился, – осторожно сообщил Левушка.

– Вот именно, – сказал Давид. – Собственно, это я и имел в виду.

Другими словами, – подумал он, заметив, как ироническая улыбка покривила губы Феликса, который почему-то был сегодня на редкость молчалив, – другими словами, нам довелось столкнуться с человеком, который не побоялся сыграть с Небесами в свою собственную игру, оставив в стороне все разговоры о спасении – (тем более что никто толком до сих пор не удосужился понять, что это, собственно говоря, такое) – не в ту игру, в которой все ходы заранее известны, а результат никогда не вызывает сомнения, но совсем в другую, – ту, когда на кон ставишь все, что ты имеешь – например, всю твою жизнь, которую Вертер возвращал теперь

Небесам, как возвращают в магазине бракованный товар – или как возвращают обручальное кольцо, или данное слово, или удар кулака, – да мало ли что может вернуть человек за свою долгую или короткую жизнь, сэр?

Конечно, в глазах дураков это выглядело до чрезвычайности наглым, вот так вот просто взять и заявить то, что он осмелился заявить всему миру, прежде чем засадил себе в голову или в сердце тяжелую свинцовую пулю. До каких пределов нужно было дойти, чтобы сказать, прокричать, простонать, что в этой жизни его любовь, конечно, принадлежит другому, но в той, – в той, о которой он знал, конечно, не больше, чем каждый из нас, – она будет, наконец, моей!

Следовало бы добавить, – хотя это и подразумевалось само собой, – что в противном случае он будет дырывать себе сердце до тех пор, пока Небеса, наконец, не услышат его. Пожалуй, Мозес, это было похоже на воровскую фомку, которой крушился не поддающийся до того замок. На отмычки, под чей легкий звон щелкал и поддавался капризный замок, чтобы впустить тебя туда, куда ты всегда хотел, войти. На первое, попавшееся под руку оружие, способное крушить все подряд, так что Небеса должны были рухнуть вместе со своей чертовой справедливостью, больше похожей на дешевую лотерею, в которой тебе достается все что угодно, кроме того, что тебе действительно нужно.

– Бедный Вертер, – сказал кто-то.

– Да, – сказал Давид. – Бедный, бедный Вертер.

– Ты это серьезно? – спросила Анна.

– А ты как думаешь?

– Ну, – она слегка пожала плечами и посмотрела на него так, словно у него на лице было написано как раз именно то, что он пытался скрыть.

Потом она добавила:

– Мне кажется, что на самом деле об этом никто ничего толком не знает. Никто и ничего.

– Неутешительно, – сказал Давид.

– С одной стороны, конечно. Но если посмотреть с другой, то окажется, что мы уже так далеко ушли от Бога, что, может быть, можем надеяться встретить Его на другой стороне.

– Bravo, – сказал Феликс и иронически похлопал в ладоши. – Когда женщина говорит о Боге, я начинаю Ему сочувствовать.

– Мне кажется, ты не оценил, – сказал Давид, радуясь удачной фразе, которую сказала Анна.

– Давайте лучше вернемся к нашим баранам, – сказал Феликс. – Если я тебя правильно понял, из всех известных нам добродетелей упрямство самое добродетельное.

– Что-то в этом роде, – сказал Давид, не чувствуя ни малейшего желания вновь ввязываться в богословские тонкости.

– То есть, это то, о чем в известной тебе книге говорится – стучите и отворят вам?

– Совершенно верно, – согласился Давид. – А поскольку

стучать совершенно все равно где, то тащиться для этого в монастырь, совершенно необязательно.

– Только не начинайте все сначала, – сказал Левушка.

– Слышал, Грегори? – спросил Ру, похлопав сидящего Грегори по плечу. – Ну что, пойдешь теперь в монастырь?

– Конечно, – сказал Грегори, отрываясь от книги. – Это есть мой долг.

Затем он отложил в сторону книгу, взял бутылку водки, налил до половины в свой стакан и быстро его выпил, никого не дожидаясь.

Некоторое время в комнате стояла тишина.

– Однако, – сказала, наконец, Ольга. – Я молчу.

– По-моему, на наших глазах разворачивается некоторая метаморфоза, – не совсем уверенно сказал Левушка, – Мирный и в меру тихий ирландец мало-помалу превращается в яркого православного фундаменталиста... Зрелище не для слабонервных.

– Ничего себе, – Ру с уважением посмотрел на Грегори. – Оказывается, ты еще и алкоголик.

– Я есть чистокровный ирландец, – с гордостью сказал Грегори, не без изящества занюхивая водку рукавом, как научил его Ру. – Я должен идти в монастырь, чтобы молить... – Он задрал голову и показал пальцем в потолок.

– Молиться, – поправил Ру.

– Молиться, – повторил Грегори. – Я молиться за мой брат. Потому что это мой долг.



С уважением присвистнув, Давид поинтересовался судьбой брата, впрочем, уже догадываясь, каким будет ответ.

– Он умер, – сказала Анна.

– Вернее, застрелился, – добавила Ольга.

– Извини, – сказал Давид. – Мы не знали.

– Он мне рассказывал, – сказала Анна. – Несчастливая любовь. И прямо в висок.

– Ах, вот оно что, – сказал Давид. – Ирландский Вертер.

– Да, – сказал Грегори, прикладывая вытянутый указательный палец к виску. Затем он полез в нагрудный карман и достал оттуда бумажник, из которого вынул фотографию брата.

Совсем еще мальчишка, белобрысый и худой, к тому же, похоже, даже не начавший еще как следует бриться. Слово «любовь» было рядом с этой фотографией, мягко говоря, не совсем уместно.

– Поэтому... мы должны молиться, пока Бог не исполнял наши просьбы, – сказал Грегори, неожиданно почти без акцента. Глаза его после выпитого стакана водки слегка фосфоресцировали и казались вполне безумными. Давид не удивился бы, если бы он пошел вдруг в соседнюю комнату и выпустил бы там себе в лоб пулю, мотивируя необходимость этого спасением брата.

– А вот это действительно похоже на Вертера, – сказал Ру. – Знаешь, как это называется?

Он наклонился в сторону Грегори и сказал:

– Вообще-то, это называется бунт... Знаешь такое слово?

– Бунт, – отозвался Грегори, пытаясь понять. – Почему?

– Потому, – сказал Ру. – Потому что все знают, что Бога нельзя вынудить, но, при этом, все, почему-то, заняты именно этим... Ты ведь и сам идешь в монастырь для того, чтобы заставить Бога простить твоего брата, как будто Он сам не знает, кого и когда ему лучше прощать... Вот это и называется – бунт.

– Почему?

На лице Грегори появилась вдруг какое-то растерянное выражение.

– Потому что ты идешь в монастырь, чтобы принудить Бога сделать то, что ты хочешь. Вместе со всеми этими монахами, православными и католиками, которые только тем и занимались всю жизнь, что пытались вынудить Бога, чтобы Он сделал так, как они считают нужным.

– Это мой долг, – сказал Грегори, с тревогой глядя на Ру. Губы его беззвучно шевелились, словно он читал молитву или пытался вспомнить что-то забытое.

– Иногда мне кажется, что я нахожусь в сумасшедшем доме, – вполголоса сказал Феликс.

– Ты находишься в Лимбе, – утешил его Левушка.

– Я так и думал, – Феликс пожал плечами. Потом он сказал:

– Может, все-таки нальете?

– И мне, – протянула свой бокал Ольга.

– Мне кажется, тебе достаточно, – сказала Анна.

– Это с какой стороны посмотреть.

– С обоих.

– Я вижу, что с взаимопониманием у вас все в порядке, – сказал Ру.

– Еще как, – подтвердила Анна.

– Значит, – сказал, наконец, Грегори, морща лоб и продолжая смотреть на Ру. – Значит...

Было видно, что какая-то еще не отчетливая, но уже тревожная мысль пытается выразить себя с помощью тех немногих слов, которые он знал.

– Значит, – сказал он, смешно морща лоб, – надо пойти в монастырь... Так?.. Потому что надо молиться о брате... А с другой стороны, туда нельзя ходить, потому что... потому что Бог сам знает, что... Да?

– Bravo! – сказал Левушка. – Видали?

– Мне надо это подумать, – сказал Грегори, вновь возвращаясь к своей книге.

– Ну, ну, – сказал Ру.

– Между прочим, я вспомнила одну замечательную историю, которая, мне кажется, имеет отношение к нашей теме, – сказала Анна. – Хотите? В двух словах?

– Конечно, – сказал Левушка.

И опять Давид ненароком отметил эту едва заметную улыбку, которой не было никакого объяснения.

– Только не увлекайся, – попросил Феликс.

– Она коротенькая. В одном монастыре жил повар, у которого был отвратительный характер. Братия его просто ненавидела и желала ему смерти. А потом он умер, и вся братия радовалась этому, пока настоятелю монастыря во сне явился архангел Гавриил, который сказал ему: «Знай, что повар, которого вы так не любили, уже в раю, вместе с великими святыми и подвижниками». «Но как же так! – закричал отец настоятель. – Где же небесная справедливость? Разве не был он самым ужасным созданием, которого обходила стороной вся братия, разве это не он гневался каждый день без причины, кричал и оскорблял всех ужасными ругательствами, богохульствуя с раннего утра до позднего вечера? И теперь он вкушает блаженство вместе со святыми?» – «Конечно, ты прав, – сказал ему в ответ архангел Гавриил. – Но тебе следует знать, что этому несчастному было предначертано судьбой стать убийцей и насильником, но всю свою жизнь он боролся с этими недостойными желаниями и в результате заставил судьбу изменить ее решение...» Вот такая история, – Анна улыбнулась. И, кажется – в сторону Левушки, если только Давид опять не ошибся.

– Ну, и при чем здесь это? – спросил Феликс, легонько барабаня пальцами по столу.

– Притом, миленький, что эта история утверждает, что человек может меняться даже в безнадежных ситуациях... Разве нет?

– Допустим, – сказал Феликс. – И что нам с того?

– А то, что если он способен измениться, то только потому, что Бог сам дает ему такую возможность, а это, в свою очередь означает, что Бог дает человеку силу принуждать Небеса ради своего спасения, хотя, конечно, Он все знает наперед и не нуждается в наших подсказках.

– Понятно, – сказал Левушка

– А это значит, – продолжала Анна, – что мы принуждаем Бога только потому, что Он сам дает нам такую возможность. Вот почему, Он может слышать наши молитвы и принимать их во внимание, не говоря уже про наши добрые дела, которые Он, конечно, оценивает по своему усмотрению, но делать их или не делать предоставляет нашей воле.

Она замолчала, слегка усмехнувшись напоследок, словно была не совсем уверена в том, стоило ли ей вообще затевать разговор на эту тему.

– Что и требовалось доказать, – с некоторым запозданием сказал Левушка.

– Не уверен, – сказал Феликс.

– А по-моему, ты поставила все с ног на голову, – сказал Давид. – Эта история на самом деле означает только то, что человек может преодолеть все что угодно, кроме самого себя, своей внутренней, навсегда ему данной, природы... Конечно, в этом тоже можно отыскать утешение. Например, мы можем сказать, что мы, конечно, принуждаем Бога, но у нас всегда в запасе есть безотказный аргумент, который утверждает, что человек никогда не меняется и мы всегда такие,

какие мы есть, так что любой Страшный суд примет это сто-  
процентное алиби нашей невинности и оправдает нас...  
Но это уже другой разговор и другая история.

– Значит, шанс все-таки есть? – сказала Ольга и засмея-  
лась.

– О, – сказал Ру, – и еще какой.

– Постой-ка, Дав, – сказала Анна, пытаясь заглянуть его в  
лицо. – Но ведь эта история совсем не про это. Она про то,  
как дурной человек поборол себя и свой характер и никого  
не убил, хотя к этому его вынуждала сама судьба.

– Вот именно, – Давид плеснул в свой бокал немного ви-  
на. – Конечно, он никого не убил, но только при этом он был  
и остается убийцей... Потому что, – повысил он голос, не  
давая открыть рот уже готового включиться в разговор Ру, –  
потому что на самом деле важно то, что у человека в серд-  
це, а не на языке. Поэтому тут, на земле, этот твой повар  
мог скрипеть зубами и претворяться, что он просто человек  
с плохим характером, тогда как там, на небесах, он оказал-  
ся тем, чем он оказался, потому что каждый становится там  
тем, кто он есть на самом деле, – подонок подонком, убийца  
убийцей, вор вором, ведь Бог не ошибается и видит все на-  
сквозь, как оно есть... Вот почему, если он тут и преодолел  
себя, то туда он все равно приходит убийцей, ибо это есть  
его подлинная сущность, которая, повторяю, никогда не ме-  
няется...

– Ладно, – сказала Анна, – допустим. Только как же то-

гда быть с милосердием Божиим? Или оно тоже пасует перед человеческим характером?

– Насчет милосердия Божьего, это не ко мне, – Давид поднял свой бокал. – А вообще-то, если уж на то пошло, то это серьезная богословская проблема, которую не решишь за пару минут...

Тем более с университетским образованием, – заметил он про себя, чувствуя на языке терпкий вкус виноградного вина.

– Ради Бога, – сказал Феликс. – К черту все богословские проблемы. У тебя всегда, за что не ухватишься, все становится богословской проблемой... Ну, сколько можно?

В ответ Давид только слегка пожал плечам, что вполне могло сойти за ничего не значащую отговорку, вроде «*кому что нравится*» или «*о вкусах не спорят*» или что-нибудь еще в этом же роде, что давало всегда прекрасную возможность легко выскочить из любого разговора.

В конце концов, – донесся откуда-то из будущего уже знакомый голос, – в конце концов, сэр, следовало бы давно уже принять к сведению, что все эти разговоры ни в коем случае не желали знать действительного положения вещей, подменяя его нелепыми фантазиями и иссушающими желаниями, от которых не было никакого проку. Отсюда, с высоты парящих умозаключений все выглядело, как всегда, пристойным и понятным, тогда как в реальной жизни царил произвол, абсурд и отчаянье. В этом невыдуманном мире всем его обитателям было паршиво, пасмурно и тревожно, – от самых

счастливых, до последних изгоев, потерявших человеческий облик, – но хуже всех, конечно, было Богу, которого все кому не лень пытались использовать для своих целей, – и монахи, которым каждую ночь снилось, что они спасают мир, и безумные миряне, которые требовали денно и нощно награды за свои подвиги, и Вертер со своим упрямством, которое не желало считаться ни с какими доводами, и Дьявол, называющий себя Божьим другом и лучше других понимающий Божий замысел о творении, и ангелы, с презрением смотрящие на людей, потому что эти последние думали, что они свободны, и все те, кто считали, что Небесам больше нечем заняться, кроме как обучать нас этикету и бальным танцам.

Самая большая добродетель, которую мы можем достичь здесь, на земле – это молчание, любил повторять рабби Ицхак бен Иегуди.

Впрочем, на этот раз, кажется, все-таки следовало нарушить его заповедь и ответить. Так, как отвечают в драке на удар или так, как отвечают, продумав все последствия, на враждебную ноту.

– Я думаю, – сказал Давид, тщательно подбирая слова, – я думаю, что все проблемы, с которыми мы в этой жизни сталкиваемся, всегда носят исключительно богословский характер. В противном случае, они не представляют никакого интереса.

– Не думаю, – сказал Феликс.

Оно и заметно, – прошептал, исчезая далекий голос.



– Евреи очень смешные, – сообщил вдруг Грегори, отрываясь от своей книги. – Да?.. Они могут целый день сидеть, говорить и ничего не делать.

– Еще один антисемит на нашу голову, – сказал Левушка и погрозил Грегори кулаком.

## 20. Филипп Какавека. Фрагмент 22

«МАГИЧЕСКИЙ КРУГ. Не потому ли в мире существует столь неприлично большое число самых разнообразных суждений по поводу каждого предмета, что мы никогда не в состоянии повлиять на то, о чем мы судим? По-настоящему следовало бы иметь не мнения о вещах, законах и событиях, а власть над ними. Точнее, только те оценки и суждения могли бы считаться истинными, которые вытекали бы из нашей воли и деятельности. Только тогда мы могли бы быть вполне ответственными за них, и не бояться суждений, противоположных нашим собственным. В действительности же, мы вечно пребываем в страхе быть опровергнутыми, а вместе с тем, мы и не слишком крепко держимся за наши собственные суждения, ибо все, что мы знаем доподлинно об их объектах, это то, что они существуют, ничуть не заботясь о том, что мы о них думаем. Эта чужая свобода кажется нам столь же абсолютной, сколь и отвратительной. Отгородиться от нее можно только с помощью тех или иных суждений, оценок и мнений, которые сами по себе стоят столько же, сколько им противоположные. Они – только свидетельства нашего бессилия и затаенного страха. Поэтому познавать – значит не владеть и царствовать, но очерчивать магический круг, внутри которого можно мало-мальски сносно

существовать, – круг, защищающий нас от чужой свободы, или от чего-то, что, быть может, еще и хуже всякой свободы. Тому, кто в этом убедился, остается, вероятно, только одно: предаваться размышлениям о сомнительности всех наших оценок и суждений, впрочем, оберегающих нас от того «мира», который, возможно, даже и не подозревает о нашем существовании. Будет ли это значить, что нам удалось вплотную подойти к разделяющей нас границе? Похоже, что нет. Ведь и высказанное здесь, как и все прочее, занято тем, что оберегает нас – хотя и на свой лад – от вторжения чужого. – Так может быть и вовсе оставить суждения и оценки? – Пожалуй, змее будет легче вернуться в сброшенную кожу».

## 21. Первое явление Иешуа из Назарета

Возможно, он так бы и не узнал никогда о том, *что* рабби Ицхак хранил, как зеницу ока, если бы в дело ни вмешался его величество случай. Обыкновенный случай, сэр, или другими словами, некое сплетение всевозможных и несплетаемых в иных случаях обстоятельств, которые с одинаковой долей вероятности можно было принять как за руку Провидения, так и за вполне объяснимое естественное явление, занимающее свое место в чередке прочих явлений и, следовательно, не представляющее из себя ничего из ряда вон выходящего.

Всего лишь нечто такое, – говорила его мягкая, понимающая улыбка, – что настойчиво требует от тебя, чтобы ты сам принял решение, от которого, возможно, зависит твое будущее, а возможно, даже вся твоя жизнь.

– Человек, – говорил рабби, словно подталкивая тебя к самому краю бездны, в которой не было даже намека на устойчивость, – человек начинается там, где он принимает на себя пусть даже очень маленькую долю ответственности. Пока этого не происходит, он остается пустым перед лицом Божиим, и Всемогущий не видит его и не слышит его голоса, если

даже человек этот творит историю или являет чудеса святости.

Случай, как материал для испытания твоей воли, сэр.

Как практическое руководство, которое если и не могло научить тебя творить вещи из ничего, то, по крайней мере, было в состоянии научить тебя давать *ex nihilo* имена вещам и событиям, делая их тем самым прозрачными и понятными, что было почти равносильно тому, как если бы ты дал им бытие.

– Если тебя интересует мое мнение, – сказал рабби Ицхак без тени кокетства, – то сам я придерживаюсь той точки зрения, что всякий случай, который кажется нам только нелепым стечением обстоятельств, на самом деле случился еще до сотворения мира и с тех пор пребывает в сокровищницах Благого, ожидая, пока Тот не позовет его, чтобы он занял свое место в царстве мировой гармонии, давая нам возможность понять смысл целого через один единственный ничтожный случай...

– Тем самым, – продолжал рабби Ицхак, негромко постукивая своей тростью по асфальту и держа Давида за рукав, – тем самым мы избегаем односторонности, которая утверждает или нелепую бессмысленность случая, либо же абсолютную осмысленность всего сущего, тогда как бессмысленность случая остается подлинной бессмысленностью, но лишь до тех пор, пока человек не даст этому случаю смысл, делая его понятным и прозрачным, со своей стороны сам

принимая ответственность за то, что он совершил...

– Я думаю, – сказал он напоследок, – что Всемилоостивый всегда поддерживает того, кто берет на свои плечи ответственность и на свой страх и риск берется говорить о своих проблемах так, словно Небесам больше нечем заняться, кроме как выслушивать наши жалобы и пожелания.

Потом он усмехнулся и добавил:

– Впрочем, я думаю, что по сравнению со многими людьми, Небеса чаще всего ведут себя гораздо деликатней.

– Нет сомнений, – согласился Давид.

Конечно, он прекрасно помнил этот день, – недолгую прогулку до поворота, откуда уже был виден Старый город и потом назад, к скамейке, с обязательно постеленной газетой, чтобы не запачкать плащ или брюки, а в завершение – пара кругов вокруг длинной клумбы, на которой ничего не росло, чтобы потом повернуть домой, на второй этаж, в ожидании, когда госпожа Хана принесет поднос с уже разлитым чаем и слегка пожурит тебя за то, что ты совсем нас бросил и не появляешься уже какую неделю, а в ответ твои извинения со ссылкой на эту чертову работу, от которой, пожалуй, забудешь не только все свои обещания, но и то, как тебя зовут. И все это под дымящийся, горячий, ароматный чай и мерный стук старых настенных часов, которые, будь они поразговорчивее, могли бы, наверное, предупредить сидящих за столом в кабинете рабби о приближении того, что они, не слишком вдаваясь в детали, называли случайностью или слу-

чаем, жаль вот только, что это предупрежденное уже не могло считаться случайным, поскольку случайное, как известно, всегда является без предупреждения, как снег на голову или как сердечный приступ, или как этот жирный воробей, влетевший вдруг через открытую форточку в кабинет рабби, чтобы устроить тут форменный разгром, хорошо хоть ушедшая госпожа Хана не могла видеть все эти безобразия, которые учинила ополоумевшая от страха птица, – разбитый плафон, опрокинутая ваза с сушеными цветами, разлетевшиеся по кабинету бумаги, покосившиеся застекленные рисунки. В довершение ко всему мерзкая птица нагадила от страха на стол, прямо на лежавшее в хрустальной вазочке печенье, после чего попыталась сесть на одну из висящих на стене в раме фотографий, отчего та сорвалась с гвоздя и упала, ударившись напоследок о дверцы закрытого шкафа, отчего те распахнулись, вывалив на пол его содержимое в виде разлетевшихся по полу десятка упавших книжек.

Последняя из упавших книг раскрылась прямо перед ботинками Давида. Нагнувшись, он прочитал на титуле название: «Святое Евангелие». И чуть ниже, мелким шрифтом; «Израильское общество Евреи за Иисуса».

Возможно, что рабби Ицхак непроизвольно дернулся в этот самый момент, словно хотел закрыть собой эту предательскую книжку, так некстати вывалившуюся из потайного места. Как бы то ни было, это движение осталось в памяти Давида, впрочем, точно так же, как и его собственное, на-

правленное, конечно, прочь от этой предательской книжонки, словно ее листы были пропитаны ядом и могли обжечь того, кто осмелится к ней прикоснуться.

Кажется, первым пришел в себя рабби Ицхак.

Опустившись на одно колено, он опередил Давида и быстро подобрал лежащую книгу. Потом, опираясь о край стола, медленно поднялся с пола. И по прошествии многих лет Давид не мог сказать, почему он не протянул тогда рабби руку и не помог ему подняться. Наверное, сделать это ему помешало двухтысячелетняя традиция, требующая немедленно уходить прочь, как только на горизонте замаячит оскорбительная для каждого еврея тень Этого Человека. Впрочем, можно было предположить, что он просто немного растерялся.

Между тем, слегка отдышавшись рабби сказал:

– Жаль, ты не видишь сейчас своего лица, мальчик.

Потом он мягко улыбнулся, словно подавая Давиду знак, что ничего особенного, слава Всевышнему, не произошло.

Так, словно речь шла о каком-то не стоящим внимания пустяке.

– Это всего только книжка, а ты испугался, как будто я показал тебе змею... Поверь мне, мальчик, книжки не кусаются. Кусаются люди, которые думают, что знают истину лучше Того, Кто сам есть Истина.

Конечно, Давид что-то возразил тогда ему в ответ. Что-нибудь не слишком существенное, вроде того, что «*все евреи знают*» или «*если бы мой отец это увидел*», – одним сло-



вом, какую-то жалкую ерунду, которая, впрочем, могла бы навести на мысль, что его величество Случай уже постучал в его двери, тасуя по своему произволу с неизбежностью грядущие события.

В конце концов, воробей, открывающий дверцы потаенного шкафчика, был ничуть не хуже гусей, спасающих Рим и меняющих ход истории. Другое дело, что исполнив свое предназначение, он лежал теперь, никому не нужный, на краю стола и на его открытом клюве виднелась маленькая капля крови.

– Бедный герой, – сказал рабби, засовывая мертвую птицу в бумажный конверт. – А мы даже не знаем его имени...

Потом он положил конверт рядом с Евангелием и добавил:

– Мой отец... Вот кто положил этому начало... Если ты не против, я быстренько подмету...

– Я помогу, – сказал Давид, немного приходя в себя.

– Сделай такую милость. Если Хана узнает, потом не обещайся разговоров... Ты ведь знаешь – она верит во всякую ерунду, вроде той, что залетевшая в дом птица обещает чью-то смерть... Вот, возьми совок.

Подметая осколки стекла, Давид вдруг поймал себя на мысли, что эта торопливая уборка предназначалась, скорее, не столько для того, чтобы навести в кабинете порядок, а для того, чтобы поскорее скрыть те страшные следы преступления, которые лежали на столе, нагло демонстрируя свою без-

наказанность.

Случайность, в мгновение ока ставшая неизбежностью, с которой, пожалуй, не смогли бы совладать даже сами Небеса.

– Так вот, мой отец, Давид, – сказал рабби Ицхак Зак, поправляя задетые воробьем рамки на стене. – Ты знаешь, о ком я говорю, – рука его легко взлетела в сторону, указывая на фотографию, на которой были изображены все три Зака. – Однажды он позвал меня к себе, но перед этим убедился, что в доме никого нет, затем закрыл входную дверь и дверь, которая вела в его кабинет и, кажется, даже задернул шторы и включил электрическую лампу. И только после этого усадил меня вот в это самое кресло и сказал... До сих пор слышу его негромкий, с астматическим придыханием голос, который произнес: «Сегодня пришло время, Ицик, познакомиться тебя с книгой, которая составляет гордость еврейского народа и его позор... Гордость за то, что он родил последнего пророка, видящего и понимающего дальше и больше, чем все прочие. И позор за то, что он не разглядел глубины и своевременности того, о чем попытался рассказать им Этот Человек».

Он собрал разлетевшиеся по столу бумаги и добавил:

– Наверное, у меня тогда было такое же выражение лица, как сегодня у тебя.

Что было, пожалуй, совсем не удивительно, отметил Давид.

В конце концов, случившееся было катастрофой, – пусть

даже катастрофой, так сказать, местного масштаба, но, тем не менее, вполне способной поколебать твердое основание веры, поставив под сомнение то, что с детства казалось незыблемым и очевидным.

Нищий проповедник из всеми забытого Назарета, пророк, пророчествующий перед такой же нищей и грязной толпой, как и он сам, богохульник, называющий себя Сыном Божиим, к тому же окончивший свою жизнь на римском кресте, – в этом чувствовался какой-то первобытный, мистический ужас, как будто проклятия, две тысячи лет сыпавшиеся на этого галилейского бродягу, сделали отравленным все то, что могло к нему прикоснуться, неважно – были ли это книги, строения или даже мысли, превращающие в нечистое все, к чему они прикасались, так что приходилось быть крайне осмотрительным, чтобы не оказаться испачканным этой двухтысячелетней грязью.

Во всяком случае, так было до этого дня, когда злосчастный воробей поставил все с ног на голову, подобно тому, как много лет назад отец рабби Ицхака положил перед ним на стол раскрытое Евангелие.

– Потому что, что бы там не говорили, – сказал рабби, бросая в форточку испорченное воробьем печенье, – он был и остается Божиим посланником и не его вина, что никто не захотел услышать то, о чем он попытался нам рассказать.

Кажется, Давид, все еще сраженный услышанным, сказал тогда в ответ что-то по поводу того, что народ сам прекрас-

но знает, кого ему следует исторгнуть из своей среды, как, впрочем, это и случилось с этим галилейским пророком, чье имя до сих пор вызывает у многих дрожь отвращения.

Тогда рабби, кажется, впервые сказал свою знаменитую фразу, которую ему часто потом припоминали.

– Эмоции не делают нас ближе к истине, – сказал он, усаживаясь, наконец, за стол и приглашая Давида последовать его примеру. Потом он добавил:

– Иначе истиной обладали бы футбольные фанаты, политики и сумасшедшие.

Возможно, Давид хотел что-то возразить на это, но затем передумал.

В конце концов, трудно было не согласиться с тем, что выглядело так очевидно, что не нуждалось в дополнительных обоснованиях.

Эмоции, сэр.

То, что, в конце концов, приводит к местечку Едвабне или к железному забору, над воротами которого тебя встречала надпись: «Jedem das Seine».

– Отец сказал мне тогда кое-что, и я могу сегодня почти дословно передать его слова, – продолжал рабби, подвигая к себе остывший чай. – Иешуа, сказал он, пришел как пророк, который впервые после Ирмиягу сказал, что иудаизм ушел слишком далеко от тех истин, исполнение которых от него ждет Всемогущий, а это значит, что нам надо опять прислушаться к тому, что едва слышно доносит до нас божествен-

ное слово...

– Вот почему, – продолжал рабби, – мне кажется, что слова Иешуа по-прежнему так же современны сегодня, как и две тысячи лет назад. Они, конечно, ни в коем случае, не заменяют Тору, потому что ничто под солнцем, конечно, не может заменить ее, но вместе с ними приходит еще более глубокое понимание ее, и тихий голос Всемиловитого становится нам более понятен... Для тех, конечно, – добавил рабби, – кто действительно хочет его услышать.

– А разве Он еще разговаривает с нами? – спросил Давид, уверенный, что на его риторический вопрос можно получить только один ответ.

– А разве нет? – почти шепотом сказал рабби.

– Ну, не знаю, – пожал плечами Давид.

– Уверяю тебя, мой мальчик, что Он говорит с нами по-прежнему, – сказал рабби, наклоняясь к Давиду и заглядывая ему в глаза, словно именно там прятался сейчас Всомогущий, посчитавший сегодняшнее событие настолько важным, что решил принять участие в нем сам. – Прислушайся – и ты обязательно услышишь его голос. Надо только не забывать, что Он разговаривает с нами на своем языке, не давая нам поблажек и не пользуясь услугами переводчика. Хочешь разговаривать с Милосердным – не будь лентяем и учи Его язык... Разве это так трудно?

– Легко сказать, – усмехнулся Давид, делая вид, что он тоже, пожалуй, готов сыграть в эту занимательную игру, ко-

торуую предложил рабби Зак. – Но какой именно? На каком языке Он говорит?

– Да, вот на этом самом, – мягко улыбнулся рабби, вновь поднимая руки, как будто хотел призвать в свидетели весь мир. – На том, где мы сами только глаголы, существительные, прилагательные, союзы и местоимения. Где мы склоняемся и спрягаемся, и занимаем то место, которое определила для нас божественная грамматика, хотя при этом мы все время пытаемся лопотать по своему, отчего и в мире, и в сердцах остается всегда такая путаница, что мы не можем ее распутать вот уже десять тысяч лет.

Он помолчал немного, а затем сказал:

– Если же говорить об Иешуа из Назарета, то, в конце концов, он хотел донести до нас только одну простую вещь, которую и без него знает, пожалуй, каждый не потерявший человеческий облик человек...

Затем он опять немного помедлил и сказал:

– Все, что он хотел сказать, Давид, это то, что каждый из нас несет личную ответственность за свое собственное спасение. Вот, пожалуй, и все. Это значит, что никто и никогда не вытащит тебя из Ада, если этого не сделаешь ты сам... Ты сам, а не ежегодные чтения, знание Торы и пунктуальное исполнения всех мицвот, как бы важно все это ни было. И никакие оправдания не спасут тебя, если ты не примешь на себя ответственность за самого себя, твердо встав на тот путь, который один может быть угоден Всемогущему, потому что

больше всего Он ценит в человеке его решимость...

Рабби Ицхак слегка перевел дыхание и продолжил, размешивая давно остывший чай:

– К сожалению, люди не хотят этого понимать, мальчик. Они уповают на Храм, на заповеди, на Тору, на грядущего скоро Машиаха, но никому почему-то не приходит в голову, что по сравнению с Божьим присутствием все это имеет только второстепенное значение, тогда как главным после Творца остается все-таки сам человек, способный быть собеседником Святого и понять замысел о себе Того, Кто повесил на небесах Кесиль и смирил мировой Океан неприступными запорами...

– Вот почему, – продолжал рабби, – Иешуа начинает свою проповедь именно с покаяния, но не того покаяния, которое хорошо знала еврейская история, когда весь народ, как единое целое, умолял Всевышнего простить Израилю его грехи – не вдаваясь в подробности относительно судьбы отдельного человека, – но того покаяния, которое имело своей целью именно этого отдельного человека, который впервые слышал, что Бог Израиля любит его не меньше, чем весь народ, потому что одна заблудшая овца дороже Пастуху, чем все прочее стадо. Вот почему этот призыв к покаянию значил не только требование к человеку избавиться от своих грехов, – он требовал гораздо больше, а именно, чтобы человек отбросил все лишнее, все ненужное, все, что мешает ему познать свою собственную природу, такой, какой она была

когда-то в Эдеме, когда человек стоял в одиночестве перед Всемогущим, принимая на себя ответственность за себя, за свою жизнь, и за свое будущее.

– Конечно, – продолжал рабби Зак, ставя на поднос пустую чашку, – конечно, это было и остается невероятно трудным, почти невозможным, – довериться самому себе и тому неслышанному покаянию, когда с человека спадает все лишнее, все ненужное, все, мешающее ему видеть Истину, когда он обнаруживает вдруг свою собственную природу, как ничем не обоснованную пустоту, оставшуюся после того, как он отбросил все лишнее и которая повергает его теперь в непреодолимый ужас, ведь он привык к тому, что его религиозная жизнь всегда была полна множеством понятных и устойчивых вещей, которые он всосал с молоком матери, и которые всегда наполняли его сердце заслуженной гордостью, как это, собственно, и должно быть с человеком, у которого нет причин сомневаться в том, что он делает... Но зато когда приходит Иешуа... – рабби усмехнулся и глаза его из-под очков весело блеснули. – Когда он приходит, требуя, чтобы человек освободился, от всего того, что мешает ему разглядеть лицо Всемогущего и свое собственное лицо, то человек кричит от ужаса и возмущения, потому что он думает, что его хотят лишить самого ценного, что у него есть. Он чувствует тогда, как в этой, открывшейся под его ногами бездне, ему не за что ухватиться, не на что опереться, не на что встать. Он еще не знает, что эта пустота и есть та внут-



рения природа его, которая открывается в его сердце, чтобы стать жилищем Всемилостивого, которому тесно везде, кроме одинокого и жаждущего правды человеческого сердца. Требуется известное мужество, мальчик, чтобы преодолеть свой страх, и, услышать в один прекрасный день сказанное Иешуа: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное...

– Понятно, – сказал Давид, пожимая плечами и довольно прозрачно давая понять всем своим видом, что знакомство с христианскими книгами не входило в его ближайшие планы.

– Я думаю, что ты познакомишься с этой книгой с большим интересом, если я скажу тебе, что, по моему мнению, если бы мы послушали в свое время этого нищего проповедника из Назарета, все могло бы обернуться иначе. Не было бы ни испанского изгнания, ни Богдана Хмельницкого, ни черты оседлости, ни погромов, ни Холокоста, ничего.

– Возможно, – сказал Давид, который ведь должен же был что-то сказать на это более чем сомнительное заявление.

Между тем, рабби Зак поднял брови и прислушался.

– Светой престол! – сказал он вдруг, показывая пальцем на лежащий на столе конверт с мертвой птицей. – Ты слышал?

Давид посмотрел туда, куда указывал палец рабби.

– Что? – спросил он, не понимая, что могло так взволновать ребе Зака.

– Он ожил, – сказал тот и негромко засмеялся. – Неужели,

ты не слышишь?

Он протянул руку и осторожно отогнул язычок конверта. Оттуда сразу показались две дергавшиеся птичьи лапки, которые сразу заскребли по бумаге и зашуршали.

– Если бы я был христианином, я бы, наверное, сказал, что он воскрес, – сказал рабби, аккуратно вытряхивая из конверта воробья. Тот снова замер, завалившись на бок, но потом, перевернувшись, попытался встать на ноги.

– Нет, в самом деле, – продолжал он, сажая воробья к себе на ладонь и поднимаясь со стула. – Мы ведь видели, что он сначала был мертв, а теперь ожил. Следовательно...

– Следовательно, он был какое-то время оглушен, – сказал Давид почему-то не совсем уверенный в том, что сказанное рабби было шуткой. – Ударился о стенку и упал. А теперь пришел в себя.

– Если бы я был последователем Иешуа из Назарета, то полагаю, ход моей мысли был бы совершенно другой.

– Но вы ведь не верите в эту чушь с воскресением? – сказал Давид, вдруг теряя уверенность, что рабби Зак может однозначно ответить на этот риторический вопрос.

– Если говорить о вере, – сказал рабби Ицхак, поднимая ладонь с воробьем к открытой форточке, – если говорить о вере, Давид, то я верю в то, что Бог не перестает разговаривать с нами и всегда готов ответить на твои вопросы. Иногда, правда, Он говорит нам довольно странные вещи, такие, например, как связанные с воскресением Иешуа. Он явно

что-то хотел сказать нам этим. Нечто, мне кажется, довольно важное. Недаром же Он позволил распространиться новому учению по языческим странам, словно напоминая нам, что когда еврей отказывается от Божьего дара, Всеблаготой отдает его во власть язычникам. Конечно, они исказили многие мысли Иешуа, но я думаю, что все же лучше для истины быть искаженной, чем не быть вовсе.

– Они считают его Богом, – сказал Давид, пожимая плечами и презрительно кривясь. Так, словно большую глупость трудно было себе представить.

– Как было бы хорошо, если бы дело было только в том, кто кого и чем считает, – ответил рабби.

Потом он легонько потряс рукой с воробьем и сказал:

– Ну? – сказал он, торопя сидящую на его ладони маленькую птицу. – Давай, милый, давай. Лети в свой Эммаус.

– Куда? – не понял Давид.

– Я думаю, что об этом ты прочтешь в этой книге, – сказал рабби – Не уверен, что хотел этого сегодняшним утром, но как всегда, Всемогущий опережает нас, пусть даже опережает всего на полшага.

– Прикидываясь при этом случайностью, – проворчал Давид.

– Совершенно верно, – согласился рабби Зак. – Но что же Ему делать, если мы не хотим разговаривать с Ним на Его языке?

И он пододвинул Давиду маленькую книжечку в потертом

бордовом переплете и торчащей из нее закладкой в виде серебряной змеи.

Всего лишь маленькую, невзрачную книжечку в потертom переплете и с бумажной закладкой, из-за которой пролилось столько крови, что ее хватило бы, чтобы превратить Неgev в цветущий сад.

## 22. Тост за Самаэля

– И все-таки – вы дураки, – Ру крепко держался за спинку стула, чтобы не упасть. – Сейчас я скажу вам хороший тост, и вы все поймете.

– Очень вовремя, – проворчал Левушка. – В этом есть что-то исконно русское. Произносить тосты, когда все выпито.

– Плевать, – сказал Ру, довольно опасно раскачиваясь вместе со стулом. – Главное, уловить мысль... Понимаешь, что я имею в виду?

Еще бы, отметил про себя Давид.

Уловить мысль, сэр.

Это почти неуловимое, сомнительное, едва дающее о себе знать и готовое немедленно исчезнуть в ответ на твое неосторожное движение. Вопрос заключался только в том, что с ней делать потом, после того, как ты уловил ее, это маленькое чудовище без определенных занятий и, как правило, с чужим именем? Что делать с этой всегда несвоевременной мыслью, которая вчера прикинулась чьей-то неудачной шуткой, а нынче праздничным тостом, хотя на самом деле, ее следовало бы изучать в школе и обсуждать на серьезных семинарах?

Вот как сегодня, сэр.

Когда она вдруг завязывалась на пустом месте, вслед од-

ной истории, которая поначалу не казалась ни слишком интересной, ни слишком поучительной, потому что, что же такого особенного могла обещать история, случившаяся в Рош-ха-Шана, которую знали все, от мала до велика, потому что ее начинали рассказывать детям сразу же, как только они начинали что-нибудь понимать, – эта на редкость простая история, повествующая о злом ангеле, чье имя – Самаэль – наводило ужас если и не на весь Израиль, то, по крайней мере, на маленьких израильских детей, хотя все что он хотел, этот бедный Самаэль, так это только то, чтобы на земле царствовал порядок и уважение к Творцу, ибо что же еще, по здравому размышлению, должен был делать человек, как не славить Всевышнего и не исполнять все то, что Он ему повелел?

Вот почему в первый день нового года он появлялся в покоях Всемилостивого, чтобы обвинить Израиль во всех мыслимых и немыслимых грехах, совершенных на Святой земле. Конечно, он был чрезвычайно красноречив, этот мрачный Ангел, который умело так описывал грехи народа, как, наверное, не смог бы сделать и сам Творец. Он настаивал, умолял, приводил тысячи аргументов и, в конце концов, уговорил Святого безотлагательно заняться этим делом. Ну, а дальше, разумеется, все было так, как обычно и бывает в пасхальных сказках. Всемогущий, который, конечно знал, что Самаэль рассказывает ему чистую правду, тем не менее, потребовал от него двух свидетелей, которые могли бы под-

твердить правоту Обвинителя. Конечно, с точки зрения еврейской юриспруденции, это требование было совершенно справедливо. Но только не для Бога, который был, разумеется, больше любой юриспруденции и которому, уж конечно, не годилось объявлять что-то правдой или неправдой, опираясь на свидетельство двух свидетелей, пусть даже и таких выдающихся, как Солнце и Луна! И тем не менее, Он сделал это. Не без изящества прикинувшись законопослушным гражданином, который живет только по законам, и попросив Самюэля предоставить двух свидетелей, которые могли бы засвидетельствовать справедливость его обвинений.

Как известно, первым свидетелем было Солнце. Недолго думая, благо, что ему и не пришлось ничего выдумывать, оно подтвердило все рассказанное Самаэлем и поплыло дальше с чувством глубоко исполненного долга.

«Прекрасно, – сказал Всесильный, потирая руки. – Ну, и где же второй свидетель?» – Он оглядывается вокруг, делая вид, что страшно удивлен отсутствием второго свидетеля.

«Ума не приложу» – сказал взбешенный Самаэль, чувствуя, как победа, которая, казалось, была уже у него в кармане, теперь ускользает из рук. К тому же он вспомнил вдруг, что Луна, – которая, кстати сказать, и была этим вторым свидетелем, – имеет неприятную привычку прятаться в день новолуния, то есть в тот самый день, когда Самаэль пришел с жалобой на Израиль, надеясь, наконец, погубить избранный народ, для чего у него были, положила руку на серд-

це, вполне достаточные основания.

– Так позвольте мне поднять этот стакан, – сказал Ру, поднимая свой пустой бокал и с трудом удерживаясь на ногах, – позвольте мне поднять его за то, чтобы всякий раз, когда злой Самаэль задышит нам в затылок, второй свидетель прятался бы так далеко, что его было бы невозможно достать никакими человеческими силами...

– Bravo, – сказал Давид.

– А, кстати, – Ру опрокинул бокал. – Мне кажется – тут было вино.

– Это происки Самаэля, – усмехнулся Левушка.

– Я бы хотел обратить ваше внимание на другое, – сказал Давид. – Вы заметили, что Всевышний ничего не говорит о безобразном поведении Израиля и обвинениях Самаэля? Понятно, что если бы Самаэль обманывал Творца, то Тот давно бы уже его выгнал и запретил бы даже близко подходить к его Дворцу. Но Самаэль говорит правду. Ему нечего придумывать. И получается, что Всевышний не поступает справедливо, как привыкли мы ждать от Него, а делает то, что считает нужным, демонстрируя, что есть на свете вещи поважнее, Горацио, чем какая-то там справедливость.

– Чем какая-то там справедливость, – сказал Левушка. – Надеюсь, ты понимаешь, что говоришь?

– Иногда, – кивнул Давид.

Мир вокруг него слегка расплывался и был уже самую малость нетверд, как это случалось обыкновенно в самые жар-



кие дни лета, когда над Городом стояло дрожащее марево и казалось, что весь мир вот-вот начнет плавиться, а пересохшее горло потрескается от невыносимой жары.

– Как понимать? – как всегда не вовремя, спросил Грегори. – Поважнее, чем справедливость?.. Это разве можно?

К счастью, понять это было, пожалуй, действительно, невозможно, сэр. Так же невозможно, как невозможно было понять эти появившиеся у глаз морщины или с неизбежностью грядущую смерть, или еще тысячи вещей, оставляющих нас каждый день в недоумении. Возможным было, наверное, кое-что другое – самому вступить в царство этой божественной несправедливости, шагнуть, закрыв глаза, туда, где на вопрос «почему страдает праведник?» правильным ответом был бы ответ: «потому что он праведник», а божественное вмешательство в земные дела обнаруживало себя только в трогательных рассказах Танаха и Агады.

Впрочем, кажется и тут не обошлось без некоторых затруднений, главным из которых было, конечно, то, что никто из живущих, похоже, не стремился добровольно туда, где Всемогуций, кажется, с легкостью забывал не только справедливость, но и весь сотворенный Им порядок, так что в результате получалось, что это сам Он толкал тебя в этот кошмарный мир, заставляя плакать, проклинать и страдать, как будто именно из этих слез и из этих проклятий, и из этой боли созидалось что-то стоящее, – то, ради чего стоило терпеть и человеческую глупость, и несправедливость Небес, и еще

множество вещей, от которых нормальный человек привычно бежал, закрывая глаза, затыкая уши и думая, что все это только проделки старого, потрепанного ангела Самаэля.

Бедный, бедный Самаэль.

Бедный недотепа.

Куда ни посмотришь – везде все было не в его пользу, хотя он и старался, как мог, не жалея ни времени, ни сил.

Ему бы, конечно, следовало поучиться у Бога – идти напролом, не пользуясь чьим бы то ни было разрешением, – вот так, как поступил с ним сегодня сам Всемогущий, нарушая свои собственные установления и ввергая нас в пучину отчаянья, из которого, похоже, не было выхода.

Впрочем, на то Он и был Всемогущим.

– Позволю себе тоже поднять тост, – сказал Давид, поднимаясь на не слишком уже устойчивые ноги. – Выпьем за беднягу Самаэля, который так любил порядок и основательность божественного творения, что незаметно для себя забыл о самом Всемогущем и искренне продолжал считать, что выше божественной справедливости ничего быть не может.

Потом он усмехнулся и добавил:

– Выпьем за него и его поиски, потому что пока Самаэль ищет эту хваленую справедливость и советует Всемогущему, как ему лучше поступить, нам нечего бояться, твердо помня, что только Божественная несправедливость может защитить нас, когда к нам приходит беда.

– Bravo, – сказал Левушка. – Ergo bibamus.

– Ergo, – сказал Давид.

## 23. Филипп Какавека. Фрагмент 50

«Пока Паскаль предавался послеобеденным размышлениям о достоинствах мысли, эта последняя пожрала все вокруг и набросилась на саму себя.

Теперь нам остается размышлять о достоинствах смеха».

## 24. Ещё одно доказательство бытия Божьего

Похоже было, что он напился не хуже Ру, который пытался сейчас объяснить Левушке и Грегори, почему настоящему еврею следует незамедлительно отправляться в Америку.

– Потому что, когда это начнется, мы будем в безопасности, – говорил Ру, раскачиваясь возле стены, словно маятник и радуясь, что все проблемы имеют такое убедительное решение. – А главное, мы сохраним свой генофонд. Ну?

Последнюю фразу он сопровождал не совсем приличным жестом, чем немного повеселил Давида. К счастью, ни Анны, ни Ольги не было поблизости.

– Я согласен, – Давид налил себе остатки водки. – Сохранение генофонда – это как раз то, чем нам сейчас не хватает заняться. Оно и полезно, и приятно.

Потом он аккуратно влил в себя содержимое стакана и потянулся за хлебом.

– Господи, Давид, – сказала Анна, появляясь с кухни. – И ты тоже!.. Когда это ты только успел?

– Виноват, – улыбнулся он, пытаясь, чтобы сказанное звучало как можно естественнее. – Успел, что?

– Надраться, – уточнила Анна.

– Это просто, – сказал Давид и засмеялся, чувствуя, что несмотря ни на что, он пока еще вполне твердо держится на ногах. – Я пью по четвергам. Сегодня четверг. Следовательно, я в своем праве... Ergo bibamus...

– Не хотела бы тебя огорчать, – сказала Анна, ставя на поднос грязную посуду, – но сегодня все-таки вторник. Уж извини.

– Не может быть, – Давид вдруг почувствовал обиду и желание поскорее обстоятельно обсудить эту животрепещущую тему. Жаль только, что Анна, занятая посудой, не могла составить ему компанию, не говоря уже о Ру и Левушке, которые продолжали нести какую-то запредельную ахиною, от нее вяли уши и становилось стыдно за интеллектуальный уровень своих друзей.

– За моих чертовых друзей, – пробормотал он, поднимая стакан.

– А я скажу, почему я люблю евреев не всегда, – говорил, между тем, Ру, опираясь спиной о стену. – Они почему-то думают, что они лучше, чем все остальные. Во всяком случае, я сам часто ловлю себя на этом, – добавил он, ударив себя в грудь, как будто чистосердечно раскаивался в содеянном. – Но это неправда. Вот именно. Потому что мы лучше лишь на фоне чужих недостатков, а не сами по себе... Подчеркиваю для идиотов! – заорал он, показывая пальцем на появившегося на пороге кабинета Мордехая – Не сами по себе, а на фоне других!.. Взять вон хотя бы Мордехая...

– Ну, начинается, – Мордехай с печалью посмотрел на Ру. – Ну что еще там не так?

– На фоне нашего премьеры он, конечно, просто Бельмондо, – продолжал Ру, отклеившись от стены и сделав два-три неуверенных шага в сторону Мордехая. – Но вы послушайте только, что он говорит за своим столом, этот, с позволения сказать, деятель культуры!

– Я, пожалуй, пойду, – сказал осторожный Мордехай, направляясь в сторону выхода.

– Скатертью дорожка, – и Ру погрозил ему в спину кулаком.

– А ты у нас, значит, уже не еврей? – засмеялся всегда трезвый Левушка. – И давно?

– Я еврей новой формации, – сказал Ру, морща лоб. – Понятно? Новой... Эй, Давид, скажи им.

– Он еврей новой формации, – кивнул Давид. – И этим все сказано.

Кажется, это была шутка из какого-то анекдота. Возможно, он бы и вспомнил ее, если бы на пороге своего кабинета не появился Феликс. Он сердито окинул присутствующих взглядом и сказал:

– Может, хватит, наконец... Я все-таки работаю...

– А-а, – протянул Ру, разворачиваясь в сторону вошедшего так стремительно, что едва сумел удержаться на ногах. – Соизволил, наконец...

– Ру, – сказал Феликс. – Я тебя предупреждаю...

– Смотрите-ка, какой! – Ру ядовито усмехнулся. – Эта ученая крыса меня предупреждает!

– Ру, – вмешалась Анна. – Перестань.

– Еще одно слово, – сказал Феликс.

– И что? – спросил Ру. – Вызовешь полицию?

– Если будет надо – я с тобой и без полиции справлюсь.

– Ну, ребята, – укоризненно сказал Левушка. – Будет вам, ей-богу!

– Да ты только посмотри на эту откормленную рожу! – закричал Ру, почти падая вместе со стулом, за который он держался. – Где еще можно отъесть такую ряху?.. Только в Университете... Больше нигде.

– Уймись, – Левушка попытался придержать шатающегося Ру.

– Нет, ты только посмотри! – закричал Ру, цепляясь за Левушку. – Ему кажется, что он духовный светоч современной культуры, а на самом деле ему хочется только получше устроиться на земле – и больше ничего...

Он показал на Феликса пальцем и делано засмеялся. Потом плюнул и добавил:

– Ты только подумай!.. Они издают свои никому не нужные журнальчики, в которых можно прочитать, что только у евреев есть душа, хотя сами они в это не верят, а потом еще удивляются, почему на евреев начинают показывать пальцами?

– Ну, все, – сказал тихо Левушка, наклоняясь к Давиду. –



Сейчас рванет.

– Пожалуй, – согласился Давид.

– Ах, ты сволочь, – негромко сказал Феликс, наклоня голову и делаясь похожим на готового броситься на врага быка. – Ты не забыл, случайно, что пока еще находишься в моем доме, скотина?

– В твоём доме, – передразнил его Ру. – Ох, как испугал!

– Вон! – закричал Феликс, уже не сдерживаясь. – Пускай убирается вон, пока я его не убил!

Появившаяся из кухни Анна сказала:

– Вы кричите, как будто нашли кошелек... Вам еще не надоело, друзья мои?..

Похоже, что она видела такие сцены уже не в первый раз.

– Ты бы лучше послушала, что он говорит! – и Феликс решительно показал пальцем в сторону выхода. – Вон! И чтобы духу твоего тут больше не было!

– И куда ты его гонишь? – спросила Анна. – Он не дойдет даже до угла.

– И черт с ним! – бушевал Феликс. – Пусть сдохнет. Всем, по крайней мере, будет приятно.

– Все, все, все, – сказала Анна – Иди, мы разберемся.

– Тогда запирайте эту скотину в ванной!.. И пусть больше не показывается мне на глаза.

– Пойдем, Рувимчик, – Анна взяла Ру за руку. – Грегори, помоги.

– В Ирландии тоже пьют, – Грегори подхватил Ру с другой

стороны. – Но никто не пьет такую гадость.

– Жаль, что мы не в Ирландии, – сказал Феликс, уходя в свой кабинет.

– Какой же он, все-таки, у тебя идиот, – заплетающимся языком пробормотал Ру, дернув рукой за нитку бус на шею Анны. Бусины весело застучали по полу.

– Ой-ей-ей, – сказала Анна.

– Какое счастье, что у нас нет евреев, – Грегори попытался развернуть Ру в нужном направлении. – Они то разговаривают, пока не упадут, то кричат друг на друга, как сумасшедшие.

– Евреи, к счастью, есть везде, – сказал Давид.

– У нас нет, – возразил Грегори. – Я бы знал.

– Мы сейчас все соберем, – Левушка опустился на колени.

Вслед за ним опустился на пол Давид.

– Вон они где, – сказал Грегори, уводя вместе с Анной едва держащегося на ногах Ру.

– Вот еще один антисемит на нашу голову – вздохнул Левушка, собирая бусины. – Представляю, что он будет о нас рассказывать в своей Ирландии изумленным ирландцам.

– А что бы ты им сказал, интересно?

– Я? – переспросил Давид, заползая под стол и собирая одну за другой рассыпавшиеся бусы. – Хочешь знать, что сказал бы я?.. Ладно.

Похоже, возможность высказаться по этому поводу оказалась ему забавной.

– Я бы сказал: Всемилостивый!.. – начал он, не переставая собирать бусины. – Посмотри на этот народ! Он обманул фараона, он написал Тору, его избрал Бог. Даже если последнее не совсем правда, то следует оценить хотя бы то, что они все-таки приняли это иго избранничества, пусть даже выдуманного, пусть даже сочиненного, нафантазированного, но все же накладывающего страшную ответственность перед лицом Того, кому они поклонялись. Одного этого достаточно, чтобы считать евреев великим народом. А еще это значит, что избранничество – это вовсе не отвлеченная идея, за которой можно различить слепую уверенность в то, что твой народ лучше любого другого. Избранничество – это ответственность и судьба, а судьба никогда не бывает сладкой, о чем каждый еврей знает с пеленок... Ну, как? Годится?

– Да ты просто Демокрит, – сказал Левушка, садясь рядом с Давидом.

– Демосфен, – поправил его Давид.

– Несущественно. Хотя, сказать по правде, мне иногда кажется, что в результате они превратили самих себя в объект поклонения. А это неправильно.

– Сдается мне, что как раз об этом я тебе говорил в прошлом году – сказал Давид... Не помнишь?

– Какая разница, кто кому чего говорил. Важно понять, сколько отсюда должно было случиться несправедливости, грязи и глупости.

– Избранничество – выше справедливости, – сказал Да-

вид, доставая очередную бусину.

– Это – когда тебя лично не касается, – заметил Левушка.

Возможно, он успел бы ему ответить со всей обстоятельностью, которая требовалась для обсуждения этой важной темы, но в этот самый момент звук шофара, низкий и густой, ударил ему в уши.

Обернувшись, Давид увидел Ру, стоявшего на диване и держащего в руках снятый со стены шофар. Казалось, еще немного – и он немедленно рухнет под его тяжестью, с трудом балансируя на мягком диване и пытаясь при этом поднести его ко рту.

Тот самый шофар, которым так гордился Феликс, утверждая, что ему не меньше полтысячи лет.

– Явление второе, музыкальное, – сказал Левушка.

Второй изданный им звук заставил задребезжать стекла в одном из книжных шкафов.

– Ну, что еще у вас, – Феликс опять появился на пороге. Потом он увидел Ру и застонал. – Господи, да уберете вы его, наконец, отсюда! Я ведь просил!

– Пусть тебя не будет в Книге жизни, – заплетающимся языком сказал Ру, поднося шофар ко рту. – Пусть Самаэль отсудит тебя у Всевышнего!

– Я ведь просил, – плачущим голосом повторил Феликс, обращаясь к вернувшейся Анне. – Ну, неужели это так трудно?

– По просьбе наших слушателей, – сказал Левушка, наме-

реваясь закрыть уши.

Но не успел.

На этот раз извлеченный Ру звук был просто великолепен. Он начался с какого-то завораживающего высокого тона, затем перешел плавно в привычную тональность и закончился низким, как ночь, звуком, который если здесь и слышали, то очень давно.

– Вот это легкие, – заметил Левушка с уважением.

– Отдай шофар, урод, – Феликс протянул руку. – Отдай шофар, пока я тебя не убил.

– Да, дай же ты человеку поиграть, – возвращаясь на кухню, сказала Анна.

– Конечно, пускай поиграет, – вступился Давид, чувствуя вдруг некоторую солидарность с пьяным Ру.

Что-то вроде родства душ, которое вдруг давало о себе знать в самые неподходящие моменты, когда не ждешь ничего похожего.

– Или ты забыл, что сказано? – продолжал он, безуспешно пытаясь встать между Феликсом и Ру. – Трубите в этом месяце в шофар в новолуние, день нашего праздника?

– Да плевать я хотел, что там сказано – сообщил Феликс, пытаясь вырвать рог из рук Ру. – Отойди к черту, Дав, пока я не рассердился!

– Страшно напугал, – сказал Давид, тесня Феликса прочь от Ру. – Лучше отпусти и дай ему погудеть, – продолжал он, чувствуя, как тяжело двигать во рту пьяным языком. И все

же, он продолжал. – Тем более что все знают – если шофару суждено протрубить, он протрубит, даже если вокруг него будет стоять вооруженный гарнизон.

– Посмотрим, – Феликс тяжело дышал, удваивая натиск.

Конечно, самое время было вспомнить рабби Ицхака, который заметил однажды, что, пожалуй, мог бы назвать два или три случая из своей жизни, когда при звуках шофара он вдруг ясно понимал, что это играет сам Всевышний, который не думал в эти мгновения ни о нас, ни об ангелах, возносящих славословия в Его адрес, но играл ради собственного удовольствия, которое Он испытывал, выдувая звук за звуком и превращая их в цветущие сады и горящие в ночном небе золотые россыпи созвездий.

Впрочем, кроме мнения рабби Ицхака, существовали и другие мнения. Например, мнение радикалов, которые полагали, что всякий звук, изданный шофаром, издан силою Предвечного, и служит только для того, чтобы слушавшие его ни на минуту не забывали о том, что Машиах может прийти в любой момент, не обращая внимания на наши дела, гешефты и планы, и тут едва слышный голос Иешуа из Назарета звучал, кажется, в полном согласии с мнением многих великих толкователей Книги, которые, кажется, знали все, что только можно было знать, не исключая даже того, что знать было немислимо и невозможно.

С мнением великих машиаховедов, сэр.

С теми, кто в глубине души прекрасно понимали, что все

эти знания не стоят и гроша ломаного перед лицом Того, Кто приходит всегда, когда захочет и уходит, не прощаясь и не назначая день возвращения.

Между тем, борьба за шофар переросла в небольшую потасовку. Поваленный на пол Ру, пытался безуспешно вернуть утраченный статус-кво, однако, навалившийся на него всей своей массой Феликс не давал ему даже пошевеливаться.

– Чертов ублюдок, – глухо сказал Ру откуда-то из-под Феликса, на что тот в свою очередь, ответил:

– На себя посмотри, скотина.

– Ставлю на Ру, – сказал Давид, отходя – Слышишь, Ру?.. Я поставил на тебя... Есть еще желающие?

– Ставлю на Феликса, – сказал конъюнктурщик Левушка. – Анна, не хочешь на кого-нибудь поставить?

– Только после того, как вымою посуду, – сказала та, убегая.

– Тогда я поставлю за тебя, – сказал Левушка.

– Жулик, – отметил Давид.

– Жизнь научит, – отрезал Левушка.

Потом Феликс оставил Ру и поднялся на ноги.

– Эй, Грегори, – сказал он, поднимая Ру с пола. – Возьмите и заприте его в кладовке. Лев, помоги им.

– Так точно, – сказал Левушка, подхватив Ру за плечи.

– Идиот, – злобно бросил Феликс, поднимаясь на диван и вешая на стену злополучный шофар. – Видел идиота?

– Не расстраивайся, – попытался утешить его Давид. – В праздник всегда кто-нибудь напивается. Это хоть и странно, но, если подумать, вполне объяснимо.

– Спасибо за утешение, – и Феликс ушел, хлопнув дверью.

– Пожалуйста, – сказал ему вслед Давид.

Потом он нагнулся, чтобы поднять лежащую на полу бутылку, а когда выпрямился, то увидел Ольгу и удивился, что не заметил, как она появилась.

Она стояла у окна, на другом конце комнаты, опершись спиной о книжный шкаф и, как всегда, курила, окружив себя плывущим табачным облаком.

Черное длинное платье. Голые руки и плечи. Бледное – не то от усталости, не то от яркой помады – лицо.

Все вместе – один сплошной вызов, одновременно – и всем вместе, и каждому в отдельности.

Впрочем, кроме него и нее никого в комнате не было.

Не трогаясь с места, она помахала ему рукой, а он ответил ей поднятым стаканом, думая, что неплохо было бы сфотографировать ее сейчас, благо, что и света было вполне достаточно, но потом передумал, опасаясь разбить спяну камеру.

Вообще-то, это было немного странно – сидеть в разных концах пустой комнаты, не говоря ни слова, как будто все слова давно потеряли всякий смысл и были только помехой, от которой было бы неплохо избавиться.

Потом он поймал ее взгляд. Не быстрый, равнодушный, не видящий тебя, а к его удивлению, внимательный, изучаю-



щий и спокойный. Как будто она захотела вдруг понять что-то важное, и теперь это желание никак не давало ей покоя. Впрочем, что-то в выражении ее лица показалось ему странным. Так, словно она уже давно подстерегала его и теперь, наконец, отбросив все условности и приличия, рассматривала, решая одной ей известные уравнения. Кажется, в ответ он улыбнулся и еще раз поприветствовал ее поднятым над головой стаканом.

Похоже, она тоже улыбнулась тогда, Давид.

Во всяком случае, когда он выпил, она уже пересекла комнату и подходила к нему.

Возможно, он успел за это время что-нибудь подумать. Что-нибудь вроде *«представляю, какая у меня сейчас рожка»* или *«хорошо, что я не успел смешать водку с красным»*

– Ты так пьешь, как будто завтра конец света, – сказала Ольга, останавливаясь рядом.

– Не исключено, – ответил Давид, улыбаясь против собственного желания и, одновременно представляя, насколько жалко выглядела сейчас эта нелепая улыбка.

– Видел этих дураков? Не догадался их снять? Могло бы получиться.

– В следующий раз, – Давид опасался, что она слышит, как дрожит его голос.

– Следующего раза, как известно, может и не быть, – и она засмеялась.

Так, как будто имела в виду что-то совсем другое, чем то,

о чем шла речь.

Потом она сказала – негромко и спокойно, как само собой разумеющееся:

– Не хочешь проводить меня домой?

Глаза ее смотрели на него так, словно в ее предложении не было никакого подвоха.

Просто проводить и ничего больше, ну, кроме разве того, что она никогда прежде не смотрела на него так обескураживающе откровенно, и, тем более, никогда не предлагала проводить ее домой, как будто это было совершенно в порядке вещей, и он только тем всю жизнь и занимался, что проводил ее до дома.

– Ты уверена? – спросил он, пытаясь изо всех сил сосредоточиться. – В том смысле, что я, кажется, немного перебрал.

Собственный голос вдруг показался ему чужим.

– Мне нравится, – улыбнулась она. – По-моему, в самый раз.

– Это главное, – сказал он, лишь бы что-нибудь сказать, чувствуя – что-то происходит, но что именно, было пока еще неясно.

Вспоминая позже этот вечер, он обратил внимание, что совершенно не помнит, что было потом. Какие-то отдельные кадры всплывали в памяти, чтобы затем померкнуть навсегда. Чей-то смех, поиски потерявшейся куртки, какие-то объяснения на лестничной площадке. Последнее, что он помнил, был, кажется, взгляд Анны, вышедшей в прихожую

и говорящую что-то насчет такси.

Потом он открыл глаза и вдруг сообразил, что едет в такси, а рядом, прижавшись к нему плечом, сидит Ольга.

– По-моему, мы куда-то едем, – сказал он, все еще не очень хорошо понимая, что происходит.

– По-моему, тоже, – кивнула Ольга.

Затем он протрезвел. Как-то сразу, без всякого перехода. Только что был довольно прилично пьян, так что чувствовал, как у него заплетается язык и плывет под ногами земля, – и вдруг оказался вполне в норме, и это, похоже, было связано с какой-то ерундой, которая только что пришла ему в голову, – именно с этим, сэр – с какой-то странной и нелепой мыслью, от которой, похоже, он сразу пришел в себя, или, во всяком случае, стал уже приходить в себя, недоумевая, откуда берутся в голове такие вот нелепости, как эта, – уж, наверное, не оттуда, где знали и обсуждали каждый твой шаг, потому что это была мысль о новом доказательстве бытия Божьего – очевидном и несомненном, как бывает несомненен весенний дождь или смех отроковицы, как несомненен этот запах и эти мелькающие за окном электрические блики, и затылок таксиста, и еще тысячи вещей, которые складывались в одно неопровержимое доказательство, которым была, конечно, она сама, сидящая рядом и прижавшаяся к нему плечом, так что он чувствовал ее тепло и слабый запах духов, – все того же «Золотого луга», конечно, можно было даже не сомневаться, – одним словом, доказательство бытия

Божьего, как оно открылось ему в эту ночь, – это сидящее рядом с ним доказательство, о котором свидетельствовали и слабый запах ее духов, и ее волосы, которые лезли ему на лоб, и эта ночь, которая длилась и длилась, и похоже, совсем не собиралась кончаться.

Доказательство бытия Божьего, сэр.

Доказательство бытия Божьего, Давид.

– Господи, – он пытался разглядеть за окнами хоть что-нибудь. – Куда мы едем-то?

– Узнаешь, – она не подняла головы.

– Если это сюрприз, то он тебе удался, – он не очень хорошо представлял, что ему следует делать дальше.

– Еще бы, – сказала она, не двигаясь. – Какой же это сюрприз, который не удался?

Возможно, от него ждали совсем не этого, когда он закинул руку и обнял ее за плечи. Потом, положив ладонь на ее волосы, попытался повернуть к себе ее голову, одновременно ища ее губы.

– Подожди, – сказала она, отворачиваясь. – Подожди, не надо...

– Почему?

– Не надо, – повторила она, не делая, впрочем, никаких попыток вырваться.

Возможно, стоило бы попробовать еще раз. Но почему-то он не стал.

– Ладно, – сказал он, отпуская ее.

В конце концов, подумал он, сдаваясь, я только знакомый пьяный, которого везут неизвестно куда и зачем.

– Не сейчас, – сказала она вдруг, вновь опуская голову ему на плечо, так что он вновь подумал:

Доказательство бытия Божьего, сэр.

Нечто, что заставляет тебя отбросить все сомнения и отдаться во власть уверенности, которая при этом все равно остается сомнительной и непредсказуемой.

Доказательство, которое ты взваливаешь на свои плечи, твердо помня сказанное тебе в час твоего рождения, что Бог не имеет обыкновения болтать с ничего не знающей толпой, но зато имеет привычку терпеливо разговаривать с человеком один на один, укрепляя его решимость и, время от времени, приоткрывая ему его будущее, и приучая к мысли, что от этого будущего можно, при желании, ускользнуть.

– Вот здесь, пожалуйста, – она протянула таксисту деньги. – С праздником.

Не оборачиваясь, таксист помахал в ответ рукой.

– Постой, – сказал он, хлопая себя по карманам в поисках бумажника. – Сколько там?

– Сколько надо. Пошли.

– Ну, хорошо, – он вывалился из машины, не понимая, где они. – С праздником.

Мир, медленно обретающий первозданный смысл.

– Вот, – она остановилась перед парадной дверью. – Теперь узнаешь?

– Конечно, – сказал он, чувствуя вдруг, что окончательно протрезвел.

Мастерская Маэстро, сэр.

Пожалуй, можно было бы догадаться и самому.

Он посмотрел на ее профиль, едва различимый в окутавшем переулочке сумраке.

– Черт бы их побрал... Еще позавчера тут горели две лампы.

Интересно было бы знать, подумал он, сколько раз она переступала этот порог и поднималась по этой темной лестнице, чертыхаясь и рискуя наступить в приготовленное для кошки блюдо с молоком?

Сколько раз, сэр?

«Какое тебе, собственно, до этого дело, Дав?» – едва слышно сказал ему в ухо знакомый голос.

И в самом деле, сэр. Какое?

– Господи, – сказала она. – Ну и темень... Ты что-нибудь видишь?

– Да, – сказал Давид, зачем-то дергая за дверную ручку. – Что бы там ни было, я вижу, что Рош-ха-шана, кажется, удался.

– Кто бы сомневался, – она зазвенела в темноте ключами. – Кто бы сомневался... Да, что за...

– Дай-ка я, – и Давид протянул руку, чтобы забрать у нее ключи.

## 25. Филипп Какавека. Фрагмент 20

«Какой хохот гуляет по изготовившейся к прыжку Вселенной Паскаля! Конечно, он не избавит нас от уготованного. Конечно, он всего только ветер и звук, разносящиеся во все уголки ее сомнительную весть о достоинстве смеющегося. Конечно... Конечно... Но пока он гуляет по ее бесконечным коридорам и лабиринтам, – кто знает... кто знает...»

## 26. Соло на шофаре

И позже, когда они поднялись до мансарды и перешагнули порог мастерской, и потом, когда она быстро навела относительный порядок, смахнув со стола пыль и перевернув скатерть, так что комната вдруг волшебным образом преобразилась, и даже неизвестно откуда взявшийся пыльный и давно засохший букет оказался вдруг очень к месту, – эта мысль все никак не давала ему покоя, как будто в самом деле могло иметь какое-то значение, что же она чувствовала, вновь переступив порог мастерской, дотрагиваясь до вещей, которые, конечно, еще помнили прикосновения других рук и слышали другой голос, – что она чувствовала, присаживаясь на край застеленной шотландским пледом старой кровати с металлическими шишечками или открывая ящик стола, чтобы достать консервный нож, ведь с тех пор прошло совсем немного времени, совсем ничего, если, конечно, не брать в расчет то обстоятельство, что дело все-таки шло о смерти, которая, по всем признакам, мерилась далеко не теми мерками, к которым привыкли все мы.

– Вот, – сказала она, доставая из сумки бутылку водки и пакет с едой. – Ну? Кто сказал, что мы хуже других?

– Никто, – отвечал Давид, вынимая, в свою очередь, из кармана плоскую бутылку початого армянского коньяка, ко-



тору, судя по всему, ему удалось прихватить со стола у Феликса.

Похоже, надвигался праздник, равного которому он не видел уже давно. Праздник, больше похожий на девятибалльный шторм.

– С ума сойти, – и Ольга захлопала в ладоши. – Боюсь, что теперь мы точно сопьемся.

– Похоже на то, – пробормотал Давид.

– Тогда пойду, сделаю бутерброды, – сказала она, исчезая за кухонной дверью.

Теплая ночь за окном. Тепло, идущее от нагретого за день подоконника... Электрические блики с улицы, пляшущие по потолку. Потрескивание раскаленной сковородки на плите.

Ночь за маленьким окошком время от времени вздрагивала от автомобильных гудков. И только одно было в состоянии испортить ему настроение: незаконченный автопортрет Маэстро, который почему-то стоял не в общей куче холстов, а отдельно, сразу упираясь в вошедшего строгим и печальным взглядом, словно давая понять, кто здесь, несмотря ни на что, настоящий хозяин.

«Ну, что ты смотришь, милый, – негромко сказал Давид, догадываясь, о чем хочет спросить его этот внимательный, почти настороженный взгляд. – Она ведь тебе не невеста, верно?»

Потом он осторожно вытянул из груды подрамников какой-то холст и прислонил его к портрету Маэстро, одновре-

менно чувствуя, что его поступок отнюдь не будет зачтен ему на Страшном суде в качестве правильного и заслуживающего поощрения.

Отношения, в которые мы вступаем с мертвыми, полны недоговоренности, сэр.

В том смысле, что у нас уже нет возможности договориться с ними это недоговоренное, выяснив все, что имело для нас значение, так что нам остается только фантазировать, цепляясь за всякую мелочь, которую мы находим в своей памяти. Фантазировать, надеясь в глубине сердца, что мертвые простят нас, когда придет наш черед, позволят нам объяснить причины наших, должно быть нелепых со стороны, поступков.

На кухне вдруг затрещала кофемолка

– Уже скоро, – крикнула она. – Ты слышишь?..

Кажется, именно тогда он впервые увидел и висевшую на стене у окна небольшую фотографию, которую он, почему-то не замечал прежде. Красивая женщина в легком платье на берегу моря. Рядом с ней ребенок, которому было, наверное, не больше пяти. Он прятался за женщину и шурился от солнца, с любопытством глядя на фотографа, пообещавшего ему птичку, которая вот-вот должна была вылететь из объектива.

Не было сомнения, что этим маленьким мальчиком был, конечно, будущий Маэстро, а женщина – его мать, о которой он, кажется, никогда ничего не рассказывал, что было, впрочем, сейчас совершенно не важно, потому что и эта женщи-

на, и этот мальчик были мертвы, а это вряд ли можно было бы отнести к разряду хороших поступков, сэр, хотя, конечно, в этом было больше ребячества, – взять и спрятаться в смерти, чтобы взрослые волновались и искали тебя, надеясь, что все обойдется, – спрятаться, чтобы уже никому не приходило в голову выкликать твое имя среди живых, в то время как ты шурился со старой фотографии, довольный, что тебе удалось обвести вокруг пальца всех, кто тебя искал, чтобы навсегда спрятаться в смерти, чьи небеса были бездонны, словно ее глаза, а лежащие под ними цветущие поля бесконечны, словно разделяющее вас расстояние.

Оттуда, откуда он мог видеть все, что творилось в этой пыльной и уже не принадлежавшей ему мастерской?

Потом Давид осторожно снял эту фотографию со стены и, удивляясь собственной глупости, засунул ее под шкаф.

Конечно, вспоминая позже этот день, он довольно часто ловил себя на том, что почти не помнит ни этого застолья, ни того, о чем они сначала говорили, ни того, что он чувствовал, прежде чем коснуться ее кожи, так, словно время вычистило из памяти все лишнее, неважное, пустое, оставив только то, что действительно имело какое-нибудь значение, как, например, ее двусмысленные шпильки в сторону Феликса или история про Левушку и Анну, которая заставила Давида удивиться.

Кажется, они уже выпили за начало года по второму кругу, когда она вдруг спросила что-то о его «Яшике», – что-то

вроде того, расстается ли он с ней хоть когда-нибудь, на что Давид ответил какой-то ничего не значащей шуткой, которая так бы и исчезла из памяти, если бы она вдруг ни сказала что-то про искусство ню, покачав своими голыми плечами, и прежде, чем он опомнился, спросила, что бы он сказал, если бы она попросила его снимать ее без одежды, – одним словом, ню, одним словом, голой, одним словом без всего, что было на нее надето, в чем родила ее мать, и при этом глядя ему совершенно спокойно в глаза, так, словно речь шла о какой-то незначительной вещи, какой-нибудь совершеннейшей ерунде, вроде того, достаточно ли тут освещения или не поставить ли еще раз чайник.

Возможно, выражение его лица, сэр.

Выражение его лица, которое он не успел проконтролировать, и которое засвидетельствовало теперь о том, что творилось в это мгновение в его душе лучше всякого зеркала.

Нечто, что было невозможно подделать и что следовало, во всяком случае, всегда держать при себе.

– Только не говори мне, что это не целомудренно, – сказала она, продолжая смотреть ему прямо в глаза, и словно мешая ему, тем самым, их опустить.

– Это не целомудренно, – сказал Давид, справившись, наконец, со своим лицом.

Легкая усмешка, которая слегка покривила его губы, как будто уже вполне отвечала сложившейся ситуации.

– Мечта о ню, – сказал он, протягивая руку, чтобы взять

лежавший на столе фотоаппарат. – Ты это серьезно?

– А ты как думаешь? – спросила она, забираясь с ногами на диван. Голос ее, впрочем, был вполне спокоен, как будто ей приходилось раздеваться перед посторонними мужчинами каждый божий день.

– Ну, хорошо, – сказал Давид, стараясь чтобы его голос его не выдал. – Я готов.

Затем он щелкнул своей «Яшикой» и сел напротив Ольги, ловя в объективе ее лицо.

– Отвернись, – она взялась рукой за одну из лямок платья.

– И не подумай, – он улыбнулся. Впрочем, эту улыбку все еще легко можно было назвать неуверенной.

– Сволочь какая, – сказала она, сбрасывая лямки и начиная опускать платье. Потом встала на колени и вдруг одним резким движением, как ему показалось, стащила платье через голову, скомкала его, швырнула в Давида и быстро натянула на плечи простыню.

– Стыдливость – мать всех пороков, – сказал Давид, ловя в объективе ее лицо и больше всего боясь, что она сейчас передумает. – Овидий говорил, что ложась в постель, женщина должна вместе с одеждой сбрасывать и стыд, чтобы потом, одеть его снова... Я думаю, это касается и ню.

– Самое время вспомнить про древних греков, – сказала Ольга.

– Тогда покажись, – он больше всего на свете желал содрать с нее эту простыню. – Сеза-ам... откройся.

Какое-то время она еще чуть медлила.

Потом простыня упала с ее плеч, обнажив ослепительную женскую плоть, при встрече с которой должны были смолкнуть какие бы то ни было слова.

– Надеюсь, ты меня не изнасилуешь, – сказала она, складывая на груди руки.

– Как получится.

Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка. Еще один щелчок.

– Встань на колени, – сказал он.

Щелчок. Вспышка. Щелчок.

– А теперь подними ноги и прогнись... Да не так. Вперед.

Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка.

– Отлично, – сказал он, глядя в камеру. – Просто потрясающе... А теперь смотри на меня... Вот так.

Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка.

– Попробуй дотянуться до пятки.

Вновь щелчок и за ним вспышка. Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка. И еще раз... И еще... И еще.

Он вдруг почувствовал, как стыдливость оставляет ее и те позы, которые она принимала, становятся все откровенней и бесстыдней, – если, конечно, здесь вообще было уместно употребить это слово.

Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка.

– Я хочу вот так, – сказала она.

Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка. Щелчок. Вспышка.

– Тебя еще кто-нибудь снимал?

– Конечно, нет, – сказала она, останавливаясь и глядя на Давида. – С чего ты взял?

– С того, что ты позируешь довольно профессионально.

– Это в крови у всякой женщины, – сказала она, поворачиваясь к нему спиной.

– Не думаю, – сказал он, отходя от дивана и надеясь, что она целиком попадет в кадр, прежде чем поменяет позу.

Щелк. Вспышка. Щелк. Вспышка. Щелк. Щелк. Щелк.

Сколько же это длилось, Дав, пока она, наконец, не остановилась и, медленно опускаясь на диван, не сказала:

– Все, больше не могу. Надо передохнуть.

– Отдохни, – сказал он, видя краем глаза, как она снова натягивает на себя простыню.

– Я думала, что это легче.

– Не хрена не легче, – сказал он, закрывая камеру и намереваясь положить ее на стол. – Тяжелая работа. Выматывает лучше иного станка.

– Да, ладно. Но ведь не настолько же.

Теперь она опять сидела на краю кровати, прячась под простыней.

Потом спросила:

– И как я получилась?

– Вполне сносно.

– Можно посмотреть?

– Пока нет, – сказал он, отправляя «Яшику» на стол. –

Плохая примета.

– Боже мой, Дав. Ты что, тоже суеверный?

– Еще какой, – он почувствовал вдруг, что отпущенное ему время проходит. Бессмысленно, быстро и неотвратимо.

Впрочем, – подбодрил он себя – пока, кажется, все шло само собой, не требуя от него, чтобы он принимал решения или торопил происходящее, благо, что все, что ему теперь оставалось, это – лишь протянуть руку и дотронуться до ку-тавшейся в простыню Ольги.

Что, собственно говоря, следовало бы сделать уже давно.

Вот так, – подвинуться ближе, чтобы потом протянуть руку и дотронуться до ее плеча. Кажется, при этом он еще что-то сказал. Что-то вроде просительного и зовущего «Эй», произнесенного с такой нежностью, что его почти не было слышно.

Потом он сполз с дивана, опустился перед ней на пол и ткнулся лицом в ее колени.

– А я думала, ты уже никогда не догадаешься, – негромко сказала Ольга, запуская пальцы в его волосы.

И засмеялась, как будто действительно была рада, что на этот раз ошиблась.

– А я догадался, – сказал он, чувствуя тепло ее тела.

Рука его медленно потянула простыню.

Разумеется, он увидел под ней то, что ожидал. Женскую плоть, готовую к таинству и не желающую больше откладывать это хотя бы на одно мгновение.



Уже потом, когда обессилив от страсти и едва восстановив дыхание, он лежал, положив голову ей на плечо, а рука его продолжала блуждать по ее телу, – уже потом, когда она вновь стала целовать его в спину, медленно двигаясь от плеча к пояснице, – потом, когда дыхание ее стало ровным и капельки пота высохли на лбу, – уже потом он подумал, что должно быть именно так и будет длиться Вечность, до боли радуя, перехватывая дыхание и даря тебе все новые и новые подарки, которых ты не ждал. Вечность, которой не надо было никуда спешить.

Потом она сказала:

– Кажется, что-то произошло, или это мне показалось?

И так как он молчал, позвала его:

– Эй, ты меня слышишь?

– Я тебя слышу, – ответил он, возвращаясь оттуда, где блуждали его мысли.

– Надеюсь, тебе было хорошо, – сказала она.

– О, – сказал он, не желая шевелить языком.

– Не будешь потом ябедничать, что я затащила тебя в постель?

– Кто еще кого затащил, – соврал он, вдыхая ее запах.

В конце концов, это была все же история, где каждый был волен писать и рассказывать ее на свой манер.

– Интересно, почему все мужчины говорят всегда одно и то же, – сказала она, уткнувшись в его плечо. – Все хотят быть первыми и неотразимыми. А между прочим, если бы

не я, ты сидел бы сейчас и беседовал с Грегори о величии Ирландии.

– Мр-р-р-р, – сказал он, положив ей ладонь на живот.

– Добрая кися пришла, – сказала Ольга. – Вопрос только, настолько ли она добрая, чтобы дать ей молочка?

– Не настолько, – сказал Давид, удивляясь нежности ее кожи. – На самом деле это вороватая, вечно голодная и не очень умная котятра. К тому же у нее фальшивые документы.

– Тогда вычеркиваем ее из списка, – предложила Ольга.

– Лучше из Книги жизни.

– Боюсь, что на это у нас нет полномочий.

– Ладно, – согласился Давид, – Пусть тогда ходит, гадит и ворует. Я предупредил.

Потом, кажется, они лежали, молча глядя на потолок и держа друг друга за руку, лениво перебирали пальцы, открываясь этой немислимой наготе, которая, на самом деле, вовсе не отдавала тебя чужому любопытству, но надежно укрывала, оберегая от чужих глаз и делая тебя почти неуязвимым, так что, должно быть, даже ангелы на небесах не могли высмотреть что-нибудь под прикрытием этой надежной защиты, отчего они сердились и шумели крыльями, не понимая, как же такое вообще возможно.

Во всяком случае, он чувствовал тогда что-то похожее – прячущую тебя от чужих глаз наготу, в которую ты погружался, словно в древний Океан, позабыв все страхи и готовясь, наконец, услышать голос, который время от времени

напоминал о себе, тревожа тебя по ночам, а днем делая вид, что все в мире идет как надо.

Потом она сказала, поворачиваясь на живот:

– Расскажи мне что-нибудь.

А он ответил:

– Так вот, сразу?.. – И немного помедлив, сказал: – Ладно. Могу рассказать тебе об одной игре, в которую мы играли, когда были маленькие.

Об этой неизвестно почему пришедшей ему в голову дурацкой игре, которая заключалась в том, что надо было подсмотреть, какова та или иная вещь сама по себе, то есть, какова она тогда, когда никто ее не видит и на нее не смотрит.

Подкрасться, когда тебя никто не ждет, надеясь встретить то, что еще никто не встречал и увидеть то, что еще никто не видел.

– У нас тоже была такая игра, – сказала она, зажигая сигарету. – Надо было подсмотреть, что на самом деле происходит в комнате, когда там никого нет. По-моему, мы играли в нее с Анной до умопомрачения.

Вот именно, сэра.

Подсмотреть, подглядеть, повернуться так, чтобы одновременно – видеть и не видеть, быть и не быть, присутствовать и быть в другом месте, – собственно говоря, – подумал он вдруг, – мы все до сих пор играем в эту чертову игру, сворачивая себе шеи и жмуря глаза, надеясь когда-нибудь поймать то, что не удавалось поймать еще никому.

– Интересно, почему ты это вспомнил, – сказала она, стряхивая пепел прямо на пол.

И в самом деле, сэр, почему бы это?

Не потому ли, что он вдруг увидел и эту комнату с разбро-  
санными вещами, с горой подрамников у стены, и весь этот  
любовный беспорядок, брошенную одежду, смятую постель,  
и две сплетенные нагие фигуры, о которых можно было по-  
думать, что они теперь навсегда принадлежат этой комнате,  
и, значит, не так уж и безнадежно было увидеть все так, как  
оно было на самом деле, само по себе, – так, как, может быть,  
дано было видеть ангелам, но уж никак ни обыкновенным  
смертным.

– Я подумал, – сказал Давид, – что если подсмотреть за  
этой комнатой и за нами, то можно будет увидеть, как обсто-  
ят дела на самом деле... Но ничего не вышло.

– Бедный Дав.

– Мр-р-р, – ответил он, расставаясь с надеждой увидеть,  
то, что увидеть было невозможно.

Кстати, о чем они болтали тогда еще, заполняя простран-  
ство между любовными объятиями, словами и смехом? Ко-  
нечно, о какой-то ерунде, о которой в памяти не осталось  
ничего существенного.

Потом она сказал:

– Давай куда-нибудь уедем.

– Сейчас?

– Какая разница?.. Сейчас. Потом... Просто взять и уехать

хоть на два дня.

– Ладно, – сказал он не очень уверенно. – Если хочешь, мы можем куда-нибудь закатиться. У меня через неделю что-то вроде отпуска.

– Ты это серьезно?

Похоже, она смотрела на него, словно ребенок, которому никогда ничего не дарили и вдруг подарили целую гору замечательных подарков.

– Ура, – и она, размахнувшись, стукнула его по заднице. – Ура!

– Эй, поосторожнее, – воскликнул Давид, возвращая шлепок. – В конце концов, это все, что у меня есть.

– Бедный, бедный Дав, – сказала она, царапая ногтями его спину. – А хочешь, я расскажу тебе одну смешную вещь?

– Еще бы.

– Когда хоронили маэстро, ну тогда, в автобусе, помнишь?

– Ну да, – он смотрел, как блестят в темноте ее глаза. Никакая камера не смогла бы, пожалуй, поймать и донести этот волшебный блеск.

– Только не смейся, пожалуйста. Ладно?..

Она помолчала немного, а потом сказала:

– Я вдруг так захотела тебя тогда, просто ужас... Прямо там, в автобусе. Не знаю, что со мной такое случилось.

– Действительно, – сказал он, приподнявшись над ней и видя свое отражение в ее широко открытых глазах. – Что бы это могло такое быть?

– Я серьезно.

– Я догадался, – он вспомнил черное пальто и белые розы, которые так и не снял тогда. Потом он поцеловал ее, скорее, даже не поцеловал, а впился в нее губами, чувствуя, что пока длился этот поцелуй, время остановилось.

– Какие мы все-таки ужасные создания, – сказала она, когда он, наконец, отпустил ее. – Ничего, что я тебе все это рассказываю?

– Полагаю, что это был знак, – сказал Давид, впрочем, только затем, чтобы что-нибудь сказать.

Подвинувшись ближе, она положила голову ему на плечо.

– Господи, как же я тебя хотела, – она захихикала, как будто в этом на самом деле было что-то смешное. – Только представь себе, такая озабоченная дура, которая думает только об одном, прямо там, в автобусе, рядом... рядом...

У него запершило в горле. Это было похоже на то, чего никогда не ждешь, и что приходит само, когда захочет, и притом в самое неподходящее время, не спрашивая твоего согласия, – нечто, что не нуждалось в словах, ну разве только для того, чтобы еще внятнее подчеркнуть это бесстыдство происходящего, на которое с легкой усмешкой взирали Небеса и ангелы пели победную песню, как будто им действительно был открыт смысл того, что происходило внизу.

Бесстыдство, преодолевающее смерть.

Удивительно, что за все время они ни разу и полусловом не обмолвилась о Маэстро. Так, словно, его никогда не было.

– Бедный маэстро, – сказал он про себя, едва заметно шевеля губами. – Бедный, бедный, бедный, Маэстро... Бедный Макс.

Потом он спустил ноги с дивана и встал во весь рост. Чувство стыда, которое он поначалу, кажется, все-таки ощутил, вдруг исчезло без следа, как не бывало. В конце концов, кому не нравится, говорила его легкая улыбка, может не смотреть. Потом он повернулся к Ольге спиной и медленно пошел к противоположной стене, зная, что сейчас его изучает внимательный и бесстыдный взгляд, который – и он мог поклясться, что чувствует это своей кожей, – скользил по его плечам, спине, ягодицам, словно он и в самом деле обладал способностью дотрагиваться до твоего тела.

Мужская задница, сэра.

Предмет интереса множества женщин, выдающих себя этим искоса брошенным, быстро оценивающим взглядом, готовых, впрочем, немедленно сделать вид, что на самом деле они заняты совершенно другим, и уж во всяком случае, не тем, что любит припомнить им злопамятный противоположный пол.

Сняв висящий на стене небольшой шофар, он повернулся к сидящей на постели Ольге и поднес шофар ко рту. Тот отозвался сразу, словно почувствовал в нем настоящего хозяина.

Низкий, как будто только готовящийся вырваться на свободу и затопить весь мир, звук на мгновение затопил комна-

ту.

– Сейчас придут соседи, – сказала Ольга, продолжая бесстыдно рассматривать его наготу.

– Плевать, – сказал Давид. – Тем более, сегодня праздник. Затем он снова протрубил, задрав рог к потолку и тогда по-прежнему низкий, тягучий звук наполнил комнату и заставил звенеть какое-то кухонное стекло.

Набрав полные легкие воздуха и закрыв глаза, он выдохнул следующую порцию, которая заполнила все видимое пространство мастерской одним ликующим и долгим звуком, словно он собирался поведать всему миру какую-то важную тайну, от которой кружилась голова, и сердце было готово выскочить из груди.

– Эй, – сказала она – Дав. Мне кажется, ты так трубишь, как будто празднуешь надо мной победу.

Он открыл глаза и спросил:

– А разве нет?

– Я думаю, это не главное, – сказала она, как показалось Давиду, не вполне уверенно.

В ответ он протрубил что-то короткое и быстрое.

Больше похожее на сигнал, призывающий оставить все сомнения и следовать за ним, куда бы он ни звал.

Сигнал, не обещающий ничего впереди и, тем не менее, зовущий тебя бросить все и отправиться вслед за ним.

Словно подчинившись ему, она встала с постели и остановилась перед Давидом. Простыня соскользнула с ее плеч



и упала на пол. Затем она медленно опустилась перед ним на колени.

Шофар застонал, словно он на самом деле мог что-то чувствовать. Потом он всхлипнул и умолк.

## 27. Филипп Какавека. Фрагмент 13

«Да не сама ли это Истина смеется над собой, чтобы сохранить свою истинность? Что же так рассмешило бедняжку? Не эта ли маленькая заповедь, с которой она всегда начинает свои уроки: *смех неуместен*

## 28. Гостиница

Разумеется, приснившийся сон был совершенно нехстати. Во всяком случае, сегодня. Не было сомнения, что теперь он станет тревожить его в продолжение всего дня – отвлекая воспоминаниями и требуя объяснений, как это случилось уже не раз.

Сон, заставляющий оглянуться.

Шепотом выругавшись, Давид открыл глаза.

В прозрачном свете ночника номер отеля был неузнаваем. За открытым окном, в черном просвете между шторами, мерцали бледные звезды. Включив лампу у изголовья, он посмотрел на часы: без четверти три. Напоминая о хрупкости существования, на желтый абажур спикировал ночной мотылек. Самое подходящее время, чтобы придаться воспоминаниям. Сна не было ни в одном глазу.

Сунув ноги в тапочки, он взглянул на спящего Брандо. Девяносто килограмм стальных мышц. Удар левой ноги, способный загнать мяч под планку черт знает с какого расстояния. Национальное достояние сборной и вечный центральный форвард клуба «Цви». Торс разметавшегося во сне эфиопа блестел, как блестит в лунном свете глыба черного мрамора. Сбившаяся простыня напоминала зимний пейзаж. Глыба черного мрамора, занесенная снегом. Похоже, эта ме-

тафора уже однажды приходила ему в голову. Ну, разумеется. Совсем недавно, точно так же, в тишине едва занявшегося над Эйн-Кереном рассвета, мерцало тело спящей Бело-снежки в той маленькой студенческой гостинице, из окон которой открывался чудесный вид на всю долину с ее сумрачной зеленью и белевшими среди кипарисов монастырскими стенами и колокольнями. Впрочем, он мог поспорить, что ее кожа была, конечно, значительно светлее. («Гораздо светлее», – отметил Давид, внимательно наблюдая ритмичную работу грудной клетки спящего Брандо.)

Кажется, проснувшись, он долго смотрел на нее, пока она вдруг не открыла глаза. И тут же быстро натянула на себя простыню. Именно так все и было, Мозес: снег, в мгновение ока скрывший девичьи плечи и грудь и оставивший только бездонные в сумраке глаза и угольные пряди волос.

Потом она сказала:

– Я всегда просыпаюсь, если на меня смотрят.

Очень может быть, что в первый раз она сказала это именно тогда. Что же он ответил на это? Наверное, что-нибудь насчет сомнительности этого «всегда», или, скорее, то, что он говорил по этому поводу позже, а именно, что все обстоит не совсем так, как она думает, потому что она проснулась исключительно потому, что на нее смотрел именно не кто-нибудь, а именно он.

Она ответила:

– Я просыпаюсь, кто бы ни смотрел.

Возможно, он почувствовал в этих словах нечто обидное. Что-то, что задевало его мужское самолюбие. Как бы то ни было, ничто не могло помешать ему, если бы он захотел спросить, разумеется, несколько насмешливо:

– Выходит, что я не исключение?

Чтобы услышать в ответ неожиданно удивившее его своей серьезной мягкостью:

– Господи, ну, конечно, ты исключение!

Легко представить, что после этого разговор на какое-то время прервался (например, на время достаточное для того, чтобы он действительно сумел почувствовать себя исключением), но не менее вероятно, что он продолжился дальше, ведь она вполне могла добавить что-нибудь еще, например, она могла сказать:

– Ты, конечно, исключение, Дав, но я просыпаюсь, даже если на меня посмотрит кошка.

– Кошка, – сказал Давид, незаметно дергая простыню. – Ты сравнила меня с какой-то поганой кошкой, как мне кажется...

– Кошка не поганая, – она зевнула.

– А Шапиро? – спросил он, запустив, наконец, под простыню руку. – Значит, если на тебя будет пялиться какой-нибудь Шапиро, то тебе это будет приятно?..

(Было, конечно, чистой случайностью, что ему на ум пришла тогда именно эта фамилия.)

– Кто?

– Какой-нибудь похотливый Шапиро. Шапиро-Великолепный. Ведь может же такое случиться, что он будет на тебя смотреть, когда ты спишь?

– Ночью? – удивилась она.

– Ну, да, – произнес Давид, возможно, чувствуя некоторую неуверенность.

Подумав, она, наверняка, ответила бы:

– Не может.

Наверняка, она ответила бы ему тогда именно так.

А он в ответ на это, вероятно, сказал бы что-нибудь вроде: «Хотелось бы верить» или: «Поживем – увидим», и здесь разговор вновь мог бы, возможно, прерваться, тем более, что он еще решительней потянул к себе край простыни, и так, наверное, и случилось бы, если бы она вдруг не расхохоталась – и уж, наверняка, именно так, как всегда: совершенно неожиданно и, как всегда, некстати.

Смех похожий, скорее, на грохот разбитой посуды.

На разлетающиеся повсюду звенящие осколки.

– Ты что? – спросил он, не выпуская из рук простыню.

– Представила себе этого Шапиро-Великолепного... Как он приходит и смотрит.

Она рассмеялась еще раз и даже попыталась что-то изобразить, что, возможно, и удалось бы ей, не будь ее руки все еще заняты простыней.

Было ли тогда все именно так или же на исходе той далекой ночи имели место совсем другие слова – в конце концов,

это не имело никакого значения, – ни сейчас, ни тогда, в пятом часу утра, когда они оказались на общем балконе второго этажа, где деревянные перила оплетали побеги винограда, и куда выходили двери соседних номеров, – она – с голыми ногами, натянув на себя его рубашку, и он – завернувшись в простыню, чувствуя под ногами холод остывшего за ночь кафеля.

Туман окутывал окружающие Эйн-Керем горы, висел над чернеющей внизу долиной, но проступавшая на востоке бледная полоска и еще редкий птичий пересвист уже обещали скорое утро. Возможно, имело смысл поскорее вернуться в номер и залезть под еще теплое одеяло, но вместо этого они забрались на стол, – отсюда было видно гораздо лучше, правда, этого им показалось мало, и тогда они взгромоздили на стол один из стоящих на балконе стульев, и вот уже отсюда-то все было действительно, как на ладони, в чем они немедленно убедились, не без опаски взобравшись на эту сомнительную конструкцию. Не исключено, что здесь они могли возобновить прежнюю беседу по поводу Шапира, кошки и неизбежности пробуждения, вот так, прижавшись друг к другу и, одновременно, цепляясь за идущий по краю крыши водосточный желоб или за шест телевизионной антенны, а может и за сухие ветви спускающегося с крыши винограда. Не менее вероятно также, что время от времени поглядывая на лежащий внизу мощный камнем двор, чувствуя прикосновение ее колен, вдыхая запах ее волос, Давид продол-

жал настаивать на том, что в пробуждении, в первую очередь, играет роль, кто именно смотрит на тебя, когда ты спишь, поскольку все, конечно же, зависит от силы смотрящего и больше ни от чего. (Похоже, это не относилось к Брандо, который, судя по всему, продолжал бы спать, даже если бы на него вдруг уставилось все небесное воинство.) Разумеется, они могли говорить еще и о другом – например, о песнях Николаса Ковалика или о картинах Тани Корнфельд – или же не говорить вовсе, а то и просто перемежать молчание случайными репликами и поцелуями, скорее всего, так оно и было, хотя, может статься, что иногда ее вновь начинал разбирать смех, и тогда стул под ними скрипел и шатался, а Давид говорил что-нибудь вроде: «Тут невысоко», или: «Ничего страшного, больница рядом», или еще какие-нибудь глупости, которые так нравятся смешливым девушкам, всем этим милым хохотушкам, готовым смеяться с утра и до вечера, но, главное, которые нравились вцепившейся в него Ольге. А между тем туман все светлел и на глазах просачивался в долину свет уже близкого дня, – сначала позволяя различить лишь общие очертания построек и поросшие лесом склоны, а потом возвращая им краски – зеленую, белую и желтую – сразу всему, не делая исключений ни для зелени лесов, ни для белых корпусов Хадасы, ни для черепичной крыши францисканского монастыря, вновь пробудившихся от сна в прозрачную и чистую явь наступившего утра. А они все стояли, обнявшись и держась за ржавый желоб или виноградную ветку, рискуя



каждую минуту свалиться с этого шаткого сооружения или дожждаться, когда кто-нибудь выйдет на балкон, чтобы встретить восход солнца, благо, что до него уже оставалось совсем недолго, о чем нетрудно было догадаться, глядя на цепь розовых облаков, протянувшихся в уже голубом небе Эйн-Керема...

Потом он подумал: непредсказуемая и жесткая власть памяти.

Едва слышный шум вентилятора вполне мог сойти за шелест ангельских крыльев, навевающих воспоминания.

– Слушай, зачем ты на меня смотришь? – не открывая глаз, спросил вдруг Брандо.

Круживший вокруг лампы мотылек нырнул и забился вокруг абажура.

– Спи, – сказал Давид и выключил свет.

На столике в холле валялись оставленные с вечера карты Таро. Любимое времяпровождение донельзя суеверного Брандо. Впрочем, итог всех вчерашних раскладов был почему-то один, – дальняя дорога. – «Из чего можно заключить, что мы или выиграем, или проиграем, – сказал Давид. – В любом случае, мы отправимся домой. Карты не врут». – «Карты не любят, когда возле них треплются», – сказал Брандо. – «Как и некоторые люди, – согласился Давид. – И те, и другие, наверное, хотят, чтобы внимали только им». – «А кто предсказал, что мы будем играть с «Макаби»? – напомнил ему Брандо и весело засмеялся. Это было правдой,

но Давид не унимался: «А о ком было сказано: посрамлены будут гадатели и закроют уста свои, потому что не будет им ответа?» – «О ком?» – спросил Брандо. – «О тебе. Навиим, пророк Миха, глава третья». – «Да, ладно тебе, – отмахнулся Брандо. – Нет там ничего такого» – «Есть, – сказал бывший ученик рабби Ицхака бен Иегуды, листая страницы. – Пророк Ирмеягу: да не обольщают вас гадатели. Или Ваикра: не ворожите и не гадайте... Что, съел?» – «Послушай, Дав, – сказал Брандо, – хотел бы я знать – когда ты треплешься, а когда говоришь серьезно». – «Вот и я бы не отказался», – ответил Давид, и, возможно, это тоже была правда.

Протянув руку, он взял наудачу одну из лежащих кверху рубашкой карт.

На ней, присев на задние лапы и задрав к небу голову, – как две капли воды похожий на памятник защитникам Тель-Хая, – стоял лев, символизирующий силу и непокорность. Возможно, Давид не обратил бы на это сходство никакого внимания, если бы не вспомнил вдруг цветную фотографию тель-хайского мемориала, висевшую в кабинете рабби Ицхака в память его дяди (или, во всяком случае, какого-то близкого родственника), погибшего там в 1920 году во время арабского нападения. Единственная уцелевшая фотография этого дяди – крошечная и овальная, вероятно, взятая из медальона – была засунута под стекло цветной фотографии и позволяла рассмотреть лишь черные усы и большие оттопыренные уши тель-хайского героя. Среди других, ви-

севших в кабинете семейных фотографий (всех этих давно умерших и забытых тетушек, троюродных братьев, прабабушек и племянниц, частично нашедших себе приют на стене возле книжного шкафа, частично же развешенных между окном и дверью) – бросалась в глаза одна – увеличенная фотография в широкой дорогой раме с медной табличкой внизу, из которой следовало, что запечатленный на ней, сидящий в кресле средних лет мужчина в шляпе и наглухо застегнутом сюртуке с бархатными отворотами, – никто иной, как основатель иешивы и дед рабби Ицхака, а стоящий рядом с ним юноша с оливковыми глазами и едва обозначившейся на подбородке и щеках растительностью, – его будущий отец и будущий же глава иешивы, унаследовавший дело своего отца, как впоследствии ему унаследовал и сам будущий рабби Ицхак. На лице того и другого застыло строгое и торжественное выражение, вполне отвечающее важности момента, но, вместе с тем, было в их лицах и нечто другое, – какая-то загадочная отрешенность, какая-то тайная забота и безысходная печаль, которые не сразу бросались в глаза, но зато потом долго оставались в памяти, настораживая тебя тем же самым выражением, которое Давид время от времени замечал и на лице рабби Ицхака.

Позже ему пришлось узнать, что дед рабби был убит вместе с семьей в 1929 году, когда арабы громили еврейские кварталы в Хайфе и Иерусалиме, в день рождения своего внука, а его отец, смертельно раненый в живот осколком иор-

данской мины, скончался спустя два дня после освобождения Восточного Иерусалима.

Уже спустя много лет после того, как их странное знакомство переросло в некоторое подобие столь же, впрочем, странной дружбы, из намеков, недоговоренных фраз и странных замечаний, Давид вдруг догадался, что рабби Ицхак совершенно серьезно считает, что гибель его деда и его отца вовсе не была каким-то случайным совпадением. И то, и другое несомненно и ясно свидетельствовало, по его мнению, о лежащем над их домом проклятье – пусть и положенным когда-то Небесами за грехи одного человека, но, возможно, имеющим все же более глубокий смысл, чем это могло показаться с первого взгляда. Из дальнейшего можно было заключить, что это тяготеющее над семьей проклятье – по непостижимому закону ответственности переходя от одного поколения к другому – не снято и по сей день, что означало, конечно, что и ему, Ицхаку бен Иегуди, как старшему в роде, предстояло рано или поздно принять мученическую кончину во искупление давно забытого греха, в подтверждение написанного в Книге: «Я – Бог Всесильный твой, Бог ревнитель, карающий детей за вину отцов до третьего и до четвертого поколения».

Профессиональная, почти автоматическая привычка рабби подтверждать ту или иную мысль соответствующей цитатой, если и не была вполне усвоена Давидом, то, во всяком случае, послужила для него хорошей школой. Именно

это позволило ему немедленно сослаться в ответ на текст Дварим, гласивший, что «дети не должны быть наказываемы смертью за отцов», на что рабби возразил – опираясь на мнение одного из ранних амораев, – что существуют различные степени преступлений, а, следовательно, и различные степени наказаний: одни – находящиеся в ведение людского суда, другие же – в ведении Божественной справедливости, непостижимой и непредсказуемой, – с чем Давиду пришлось волей-неволей согласиться, правда, не столько в силу убедительности приведенного аргумента, сколько из примиряющего все на свете «почему бы и нет?»

О событиях, ставших много лет назад причиной этого предполагаемого или действительного проклятья, Давиду пришлось узнать, впрочем, много позже. Но когда весной 2002 года рабби Ицхак умер в Хадасе от почечной недостаточности и сухая иерусалимская земля укрыла его завернутое в саван тело, Давид не позволил себе даже самой малой доли иронии в отношении несбывшихся ожиданий своего старого учителя, как, впрочем, не позволил он себе и тени сомнения в истинности его странных подозрений. В конечном счете рабби Ицхак все равно оказался прав, – особенно ясно Давид ощутил это здесь, стоя среди белых надгробий на южном склоне Еврейского кладбища и глядя, как осыпается в могильную яму ржавая земля, – ибо всякая смерть, закрывшая глаза тому, кто умер, так и не дождавшись прихода Машиаха, выглядела именно как проклятье и наказание,

и только таящееся в глубине ее искупление, (беззвучная мелодия которого, казалось, шла от этого высокого неба и от висящей над Иерусалимом гряды золотых облаков и отцветающих среди камней маков) – только одно это искупление наделяло смыслом и эту смерть, и эту нелепую надежду, и всю эту долгую, предшествующую ей жизнь.

Уже потом, перебирая в памяти их редкие встречи и перечитывая письма, Давид все больше убеждался, что тяготившее над рабби проклятие можно было посчитать, пожалуй, тем главным событием его жизни, через призму которого он оценивал и понимал все остальное. Так, словно это была ось, вокруг которой кружила его мысль, возвращаясь к нему вновь и вновь и наводя на подозрение, что и жизнь рабби Ицхака со всеми ее крупными и мелкими деталями, обреченная разворачиваться вокруг этого устрашающего и непостижимого омфалоса, скорее всего, не имеет сама по себе никакого значения.

Похоже, об этом же свидетельствовала и та манера, в которой рабби, как правило, предпочитал говорить о себе – и которую Давид называл Манерой Ускользящей Откровенности.

Несомненная реальность проклятья (какой она выглядела, по крайней мере, в глазах самого рабби) не делала его более понятным, тем более – желанным. Наказание можно было нести со смирением, но его невозможно было любить, как невозможно было любить орудие пытки, даже если оно было

приготовлено и занесено над тобой самим Всемогущим. Да и само смирение – каким бы искренним оно ни было – выглядело, на самом деле, не вполне безупречно. Словно за ним, в самой глубине сердца, скрывалось совсем другое чувство, которое, впрочем, и не думало ни отрицать это смирение, ни сомневаться в его искренности, – оно просто существовало само по себе, не нуждаясь ни в чьем разрешении или одобрении, как не нуждается в этом осенний дождь или утренняя заря.

Всегда охотно отвечая на вопросы о себе и своей жизни, и тем самым охотно принимая ее неизбежность, сам рабби Ицхак вдруг словно исчезал из своего рассказа – будто все происходившее с ним когда-то, в действительности, не имело к нему никакого отношения. Так, словно смиряясь с неизбежностью самих фактов, он, странным образом, не только не придавал им никакого серьезного значения, но и чувствовал себя свободным от их принуждающей власти, иронически или, чаще, безучастно созерцая эти факты со стороны, и не стыдясь показать их другим – словно экскурсовод, знакомящий посетителей с содержанием музейных витрин, за стеклом которых находились, возможно, занимательные, но, увы, вполне бесполезные экспонаты. Иногда складывалось впечатление, что рассказчик вдруг оставлял слушателей один на один с неким литературным произведением носившим название «Жизнь рабби Ицхака бен Иегуды Зака», в котором главным действующим лицом был некто, носящий

это вынесенное в заголовок имя, и, однако, ничего общего не имеющий со своим реальным прототипом.

Со временем, Давид перестал сомневаться в том, что за ускользающей, подчас подчеркнуто иронической манерой рассказов рабби таилось все же нечто большее, чем простая ирония или отсутствие тщеславия. Руководствовался ли он при этом ненавистью к этим фактам? Нежеланием признать их очевидную власть? Жаждой избавления? Пожалуй, это совсем не походило на тяжбу с Божественной волей. В смешной попытке ускользнуть от своей собственной судьбы скорее проступало трогательное желание освободиться от всего того, что, так или иначе, преграждало путь к Божественному свету, – ибо именно тяготеющее над ним проклятье, оставаясь приговором высшей справедливости, с которым приходилось смиряться, было – вместе с тем – и грозным знаком отверженности, – так, словно между рабби Ицхаком и Всемогушим пролегла, подобно каменной стене, его собственная, ненавистная и непонятная жизнь.

Скрывал ли рабби Ицхак эту ненависть от самого себя или же он принимал ее с тем же смирением, что и положенное на его род проклятье, – об этом долгое время Давид мог только догадываться. Во всяком случае, ему не составляло большого труда время от времени ловить учителя на неизбежно возникающих в этой ситуации противоречиях, на которые сам рабби, вероятно, просто не обращал внимания. Впрочем, со временем эти противоречия перестали беспокоить и самого



Давида.

«Путь, по которому мы идем, это всего только путь», – любил повторять рабби Ицхак, охотно поясняя (когда его спрашивали), что жизнь – это только место испытания, которые мы проходим, чтобы достичь желаемого.

Но Давид помнил и другое. Прогулка возле стен Старого города, лежащие внизу камни султанского бассейна и голос старого рабби, присевшего отдохнуть (и, конечно, не забывшего перед этим расстелить на скамейке газетный лист).

– В детстве мне часто казалось, что воробьи или ласточки намного счастливее нас, людей, – говорил он, кивая в сторону моющихся в пыли птиц. – Я и сейчас иногда думаю, что это так. Посмотри-ка на них. Кажется, что они не знают ни кто они, ни откуда, и при этом живут так, как заповедал им Творец, без труда исполняя все, что им положено, не зная печали, не ведая страха и уныния, вовремя строя гнезда, и вовремя выводя птенцов, и вовремя умирая, не отличая один день от другого и нынешнюю весну от прошлой... Мне кажется иногда, что каждую минуту они живут перед лицом Божьим. – Он улыбнулся. – Во всяком случае, ничто не мешает им видеть Его лицо. – Потом он помолчал и добавил: – Так, должно быть, жил Авраам... Ты никогда не думал, что это главное, чему следовало бы нам научиться – просто жить, не превращая нашу жизнь в бесконечный путь без сна и отдыха, в ожидании награды, которой мы все равно никогда не сможем получить своими силами?... Какую еще награду нам

ждать?

Путь, манящий стерильной чистотой последнего вознаграждения, путь, мешающий увидеть или хотя бы только почувствовать близость Творца и святость Творения – это или что-то в этом роде, что скорее угадывалось, оставляя место для солидных комментариев, и забывая о словах, которые как всегда, были бессильны передать ускользающие образы сновиденья...

Раскладывая карты, Давид вспомнил вдруг, что фамилия рабби была аббревиатурой средневекового словосочетания «зера кдошим» («семья праведных») – так называли тех, чьи родители были убиты во время религиозных преследований, – и в этом, конечно, заключалась немалая доля иронии – вот только было непонятно, чьей же именно.

## 29. Мелочи из жизни пресс-секретаря футбольного клуба

Возможно, полученная комбинация была не совсем лишена смысла. Последняя карта вызывала доверие: закованный в сталь рыцарь с золотым кубком в руке обещал, кажется, перемены к лучшему, но предыдущая – связанная женская фигура в окружении восьми воткнутых в землю мечей – явно намекала на неприятности. Впрочем, разобраться в этом был в силах один только Брандо.

Оставив карты, Давид включил телевизор.

Бегущие по экрану полосы были похожи на футболки тунисской сборной.

Вытянувшись в кресле, он подумал о послезавтрашней игре, а затем о том, что ему не успеть в срок ответить на все вопросы, которые ему задали на прошлой пресс-конференции и уж тем более – не успеть закончить ежемесячное резюме, за чем всегда следили и тренер, и вечно недовольная всем администрация.

– И черт с ними, – проворчал он, устраиваясь поудобнее и беря в руки телевизионный пульт. Затем он почти свел на нет звук.

Возникшая на экране улыбка диктора Си-Эн-Эн демон-

стрировала образец скромности и оптимизма.

– ...в ближайшее же время, – сказал диктор, и его улыбка стала еще шире.

Он переключил канал.

Крупнейшая за последнее десятилетие авиакатастрофа. Разбившийся под Карачи Боинг-800 унес жизни более 260 пассажиров.

Дымящиеся обломки самолета. Лица родственников в аэропорту. Пожарные машины...

Президент Америки выразил соболезнование семьям погибших, – сказал диктор.

Он снова переключил программу.

Совет безопасности принял решение не отправлять дополнительные силы...

Еще один щелчок...

Дробь ударника, подгоняющая тонущие в клубах дыма фигуры музыкантов. Мигающий свет выхватил из тьмы зрительного зала колыхание поднятых кверху рук...

Он быстро переключил программу.

Реклама стирального порошка.

Следующая – ползущие титры окончившегося фильма.

Расплывшаяся в улыбке дородная леди готовилась погрузить в микроволновку стеклянную кастрюльку. Этот рецепт особенно придется по душе тем...

Щелчок.

Танцующая на льду плитка шоколада.

Щелчок.

Заявление премьер-министра России вызвало далеко не однозначную реакцию в политических кругах Европы...

Курс доллара по отношению к евро...

Щелчок.

Закатившая глаза крашеная блондинка. Стоящий над ней мужчина мямлит ее грудь и, одновременно, быстро и ритмично работает бедрами. На его плече был выколот сине-красный орел. Стоны блондинки заглушали негромкую музыку. Камера сместилась, дав крупный план: женская рука с фиолетовым маникюром, бесстыдная розовая плоть промежности, движения мужского члена. Снова общий план. Неестественно широко раздвинутые ноги в прозрачных белых чулках. Блондинка посмотрела на Давида и улыбнулась. Его всегда занимало, что чувствует женщина, которую снимают в то время, когда она занимается любовью. В конце концов, от камеры нельзя было скрыть ничего: ни дряблости кожи, ни сыпь, ни жировые складки. Особенно выдавали возраст руки: набрякшие вены, опухшие суставы, – все ухищрения косметологов были здесь бессильны. Мужчина оставил грудь партнерши и теперь пытался, не переставая работать, еще шире развести ее бедра, одновременно, разворачивая ее в сторону камеры. Жалкое и поучительное зрелище обнаженной человеческой плоти. Колыхание полного живота и опавшей груди. Стоны усилились вслед за участвовавшими движениями мужского тела. Охваченный пальцами с фиолето-

выми ногтями, извергающий семя член и ярко красные губы вспыхнули и сгорели, оставив после себя темный четырехугольник померкшего экрана.

Сна по-прежнему не было ни в одном глазу.

Натянув тренировочный костюм, Давид вышел из номера. Приглушенный свет напомнил о нарушенном режиме. Чувствуя под ногами мягкость ковролина, он бесшумно дошел до поворота. В конце коридора – у застекленного выхода из крыла, которое занимала команда – сидел, вытянув ноги, дежурный полицейский. Увидев Давида, он помахал ему рукой, убрал ноги и улыбнулся.

– Шалом, – сказал он, не переставая улыбаться. – Не спится?

Английский его был, прямо скажем, никуда.

– Ни в одном глазу, – ответил Давид. – Пойду, пройдуся.

Он не был уверен, что тот его понял.

Второй полицейский вышел из-за угла и молча встал рядом, заложив руки за спину. Он тоже улыбался – вежливо и предупредительно. Висевший на его груди автомат напоминал детскую игрушку.

– Завтра вам трудный день. Желаю успеха, – сказал первый полицейский.

– Послезавтра, – поправил Давид.

– Послезавтра, – повторил полицейский, бессмысленно улыбаясь. Затем он встал и протянул Давиду газету. – Ваша подпись. Тут.

– Автограф?

– О, да. Автограф...

Второй полицейский достал из кармана ручку и протянул ее Давиду.

На газетной фотографии была запечатлена вся команда. За исключением пресс-секретаря, разумеется.

– Боюсь, вы ошиблись, – сказал Давид, улыбаясь. – Вообще-то я просто пресс-секретарь... Понимаете?.. Я пишу и встречаюсь с журналистами... Понимаете?

Он улыбнулся и попытался сообщить то же самое с помощью вполне понятных, как ему казалось, жестов.

– Секретарь, – сказал полицейский, улыбаясь и продолжая протягивать Давиду газету.

В конце концов, подумал Давид, забирая из рук полицейского газету, – в конце концов, не объяснять же им было, в самом деле, то, что они наверняка прекрасно знали и без него, а именно, что послезавтра занюханый израильский клуб «Цви» будет играть в товарищеском матче с какой-то тоже вполне занюханной египетской командой по имени «Александрия»?

Из приоткрытой двери соседнего номера выглянул между тем израильский охранник. Поверх расстегнутой голубой рубашки – черные ремни пистолетной кобуры. Пока Давид расписывался под газетной фотографией, вслед за охранником в коридор вывалилась массивная туша Шломо Зейца – начальника службы безопасности. За глаза его звали Перче-

ный, – скорее всего, из-за целой россыпи мелких шрамов, усеявших его лицо.

– Самое время для автографов, – мрачно изрек он, оглядывая присутствующих.

Голос его – глухой и негромкий – казалось, шел прямо из живота.

– Захотелось немного пройтись, – сказал Давид, возвращая полицейскому ручку. – Бессонница.

Перченый фыркнул.

– Самое время для прогулок. Ты хоть знаешь, который час?

В своей разноцветной футболке, с выпирающими из-под нее жиром и мускулатурой, он был похож на борца сумо. Полицейские смотрели на него с уважением.

– Счастливые, во-первых, часов не наблюдают, – сказал Давид. – А во-вторых, если человеку захотелось немного пройтись, так его что же, можно сразу объявлять врагом службы безопасности?

– Ты сам все знаешь, – буркнул Шломо.

– Конечно, знаю, – Давид потряс перед лицом Шломо свернутой газетой, – Тем более что я работаю, как тебе известно, не ногами, а головой... Чувствуешь разницу?

– Полчаса.

– Слушай, а может, ты хочешь, чтобы я тебе тоже дал автограф?

– На заднице, если можно. Сейчас только штаны спу-



цу, – сказал грубый Шломо, игнорируя вежливые улыбки полицейских. – Проводи-ка его, – кивнул он улыбающемуся охраннику. Тот нырнул в номер и сразу же вернулся, на ходу натягивая пиджак.

– Я, собственно, мог бы и один, – сказал Давид. – До смотровой и обратно.

– Сейчас, – отрезал Перченый, с ненавистью глядя на Давида. – Чтобы завтра мне яйца из-за тебя оторвали? Топайте, топайте... И чтобы из отеля ни на шаг!

– Слушаюсь, сэр, – и Давид отдал честь.

Зеркальный лифт бесшумно взмыл на последний этаж.

Обогнув по боковой галерее лежащий ярусом ниже и утопавший в зелени ресторан, они поднялись по железным ступеням небольшой лестницы и очутились под стеклянным небом смотровой площадки.

Бармен за стойкой подозрительно посмотрел в их сторону и вновь уткнулся в книгу.

Возможно, они, и в самом деле, выглядели несколько странно: один – в домашних тапочках и спортивной куртке, другой – в приличном костюме, не слишком скрывающим спрятанный под пиджаком ствол.

Прежде чем сесть, охранник привычно осмотрелся. Впрочем, никаких причин для беспокойства, похоже, не было. Смотровая была почти пуста, – если не считать, конечно, двух полицейских, которые играли в нарды, да небольшую мужскую компанию, устроившуюся в центре. Они пили кофе

и негромко беседовали. Единственно, что бросалось в глаза – одинаковые серые костюмы, в которые они были одеты. («Похоже – местные» – сказал охранник. «Похоже», – сказал Давид. До его слуха донеслась приглушенная арабская речь.)

Заказав два стакана сока («Бренди был бы лучше», – сказал охранник. – «Кто бы спорил», – согласился Давид), он подошел к окружавшему площадку металлическому ограждению. Сразу за ним начиналась высокая стеклянная стена, в которой сейчас отражалось сумрачное пространство смотровой: белые пластмассовые стулья и столики, мерцание телевизора, ярко освещенная стойка бара и сам он, облокотившийся на ограждение и пытающийся разглядеть за мешающим отражением лежащий перед ним ночной город. Впрочем, если отойти туда, где на стекло падала тень, можно было увидеть погруженный в электрическое сияние центр и разбегающиеся в разные стороны, пересекающиеся и описывающие круги цепочки и нити огней – словно опутавшая город светящаяся паутина. Далеко-далеко, над залитой серо-голубым светом маленькой раковиной стадиона, угадывались трепещущие в свете прожекторов разноцветные лоскутки флагов. Подсвеченная всеми мыслимыми подсветками центральная городская мечеть парила над ночным городом и отражалась в асфальтовом изгибе реки.

Медленно двигаясь вдоль ограждения, Давид неожиданно обнаружил в стекле небольшую форточку, назначение которой было ему не совсем понятно. Возможно, она имела от-

ношение к вентиляции. Приподнявшись на цыпочки и перегнувшись через металлический парапет, можно было высунуть в это отверстие голову, – что он незамедлительно и сделал (предварительно поставив стакан с соком на пол), чтобы увидеть уносящуюся вниз стену отеля и стену соседнего здания, которые почти сходились внизу, в умопомрачительной глубине, оставляя между собой только залитую светом узкую полоску улицы.

Он почувствовал вдруг сильное желание плюнуть в эту каменную пропасть, которая разверзлась вдруг под его ногами. (Словно в детстве, когда он бегал с друзьями по стенам Старого города, а внизу шумела ничего не подозревавшая, галдящая толпа туристов.)

Говорят, что десятицентовая монетка, брошенная с тридцатого этажа, способна пробить стальную каску. Плевков для этой цели явно не годился. Пожалуй, самое большое, на что он был способен, это разбудить какого-нибудь спящего обитателя отеля, ударившись в окно его номера. Не исключено, что он мог бы даже – слегка изменив траекторию – залететь в открытую форточку и, если повезет, плюхнуться, что есть силы, в чашку с кофе или в стакан, на дне которого отдыхает утомившаяся за день вставная челюсть. (Каждый, кто хоть раз плевал с высоты знает, как капризна и непредсказуема бывает порой траектория летящего плевка). Возможно, подумал Давид, что этот номер, куда его угораздило залететь, занимал бы какой-нибудь известный человек, напри-

мер, писатель Дитрих фон Рух, который стучал бы себе на своем компьютере, ничего не подозревая, как вдруг, в этот самый момент, когда он поднимал руку, намереваясь нажать клавишу и поставить точку в конце фразы *«она прижалась к нему всем своим горячим телом, чувствуя, как его пальцы запутались в ее волосах»* – шмяк! Именно в это самое мгновение!

Ради этого, наверное, стоило бы попытаться, хотя шансов на успех было не так уж и много.

Бармен за стойкой, кажется, уже подозрительно поглядывал в его сторону.

Допив сок, он вновь сунул голову в отверстие.

Не было сомнения – обладай плевком сознанием, он, конечно, выбрал бы для полета номер Дитриха фон Руха, чьи творения читали в разных странах не меньше полмиллиарда таких же идиотов, каким был и он сам, этот самый Дитрих. Другое дело, что судьба его могла сложиться иначе. Если Спиноза не ошибся, то, пожалуй, только в отношении неизбежности этой самой судьбы и не более того. К тому же специалист по линзам говорил все-таки о камне, а не о плевке, который вряд ли чувствовал бы себя свободным, пролетая мимо номера Дитриха фон Руха, чтобы шмякнуться об асфальт или о стену отеля. Впрочем, не все было ясно и с камнем. Да и откуда амстердамскому отступнику было знать, что думал бы брошенный камень (или плюнувший плевком), обладай он сомнительной способностью мыслить? Возмож-

но, они пели бы псалмы и благодарили Всемогущего за то, что Он не создал их человеком по имени Барух Спиноза... Как бы то ни было, Давид плюнул.

(Жаль рядом не было никого, способного запечатлеть эту исключительную минуту. Тем более было бы интересно узнать, как бы он выглядел на обложке «Монд», этот уносящийся в свой последний полет плевков?)

Оглянувшись, Давид обнаружил, что находится совсем рядом со столом, который занимала мужская компания в одинаковых костюмах. Сидевший лицом к нему араб, откинувшись на спинку, смотрел на него с мягкой улыбкой. Дым от его сигареты почти вертикально поднимался над столом. Давид вспомнил вдруг, что спину его спортивной куртки украшает израильский герб. Возможно, подумал он, это не будет расценено, как вызов. Сосед, наклонившись, что-то негромко сказал смотрящему на Давида. Тот улыбнулся еще шире и кивнул головой. Мягко вспыхнуло под усами золото коронок. Похоже, что как раз в эту минуту Давид вспомнил, что писал ему однажды рабби Ицхак по поводу сплетения вырастающих в лес букв, которые он снова видел сегодня во сне:

не следует понимать все написанное буквально, писал рабби

(на этом, впрочем, настаивали Рамбам и Спиноза)

ибо рассказанное так же далеко от того, о чем оно рассказывает, как небо, описанное в астрономическом атласе, от

неба, которое видят во время ночной прогулки влюбленные.

Другими словами (воспользовавшись высоким слогом) следовало бы спросить: достанет ли у нас сил и мужества, чтобы прорваться сквозь сплетающий свою сеть Текст, который мы привычно зовем жизнью?..

Похоже, – подумал Давид, отходя от ограждения, – пришло время сесть за новое письмо к рабби Ицхаку, – хотя, говоря по правде, еще не было дописано даже предыдущее, которое, наверное, уже месяц валялось где-то среди бумаг на дне чемодана.

Эта оставшаяся и после смерти рабби потребность писать ему письма, в которых он иногда подробно и обстоятельно касался самых всевозможных вопросов, уже давно переросла в твердую и постоянную привычку, которая иногда удивляла даже самого Давида. Обычно он отсылал письма до востребования, с пометкой «г-ну Давиду Вайсблату для г-на Зака», и сам получал их на почте, чувствуя какое-то странное удовлетворение, держа в руках эти проштемпелеванные конверты, чаще всего посланные из Иерусалима в Иерусалим, так, что казалось – они действительно побывали в руках самого рабби Ицхака и теперь возвращались назад с его пометками и замечаниями, оставляя в стороне вопрос, насколько все это отвечает действительному положению вещей, потому что отчего бы, в самом деле, ему ни читать писем Давида там, куда он ушел, раз в этой жизни их переписка явно доставляла ему удовольствие – а уж в этом-то Давид был уве-

рен вполне...

Зазвонивший за стойкой бара телефон вернул его к действительности.

– Господина Вайсблада, – сказал бармен, протягивая телефонную трубку. – Здесь есть господин Вайсблад?.. Это вы, господин Вайсблад?.. Пожалуйста, вас к телефону.

– Какого черта? – пробормотал Давид, пересекая смотровую и беря телефонную трубку. – Спасибо.

Бармен слегка пожал плечами, словно хотел сказать, что если что-то пойдет не так, то он тут ни в коем случае не причем.

– Это я, – сказал голос в трубке. – Ты где?

– Господи, – сказал Давид, еще ничего не понимая. – Откуда ты взялась?

– Я позвонила на твой этаж и мне сказали, что ты пошел на смотровую. Какой-то грубиян. Много увидел?

– Все мое, – сказал Давид. – Ты хоть знаешь, который час?

– Самое время, чтобы заняться осмотром достопримечательностей, – сказала она.

Ему вдруг стало казаться, что он все еще спит и то, что происходит вокруг – всего лишь сон, который кончится сразу, стоит ему только проснуться...

– Уж полночь близится, – сказала она и засмеялась. – Я в ресторане. Знаешь, где это?

– Где? – переспросил Давид, уже догадываясь. – Ты что ли здесь?

– Ну, наконец-то, – сказала она. – Давай спускайся.

– Сейчас, – сказал Давид, пытаясь проснуться. – Как ты сюда попала?

– Просто села на автобус и приехала. У нас, слава Богу, безвизовый режим. Давай скорей.

– Сейчас иду, – сказал Давид, ища глазами охранника. – Ты где?

– Возле пальмы, – сказала Ольга. – В ресторане возле пальмы. Справа от входа... Представляешь? Они не хотели меня пускать, потому что у меня не было вечернего платья. Это в три часа ночи. Интересно, у них тут все такие идиоты?

– Я думаю, они за это поплатились, – сказал Давид

– Еще бы, – сказала Ольга. – Видел бы ты их физиономии.

– Боюсь, мне это скоро предстоит.

– Не бойся, я с тобой. Ну, пока.

– Пока, – сказал Давид, вешая трубку.

Охранник терпеливо ждал, опершись спиной о стойку.

– Мне надо в ресторан, – сказал Давид, разводя руками, словно извиняясь.

– Я догадался, – сказал охранник, ничуть не удивляясь.

– Слушай, Рома, – сказал он, чувствуя угрызение совести. – Дело в том, что я там буду не один.

– И что? – сказал охранник, пропуская Давида вперед. – Боишься, что я вам помещаю? Так ты меня даже не заметишь.

– Ладно, – сказал Давид. – Увидим.



## 30. Филипп Какавека. Фрагмент 98

«Чем больше истин обретаем мы на путях познания, тем их меньше у нас остается. Так, словно за каждое новое знание мы вынуждены платить цену, которая грозит нам неизбежным разорением. Познавать – значит терять. Конечно, мы догадались об этом только тогда, когда терять оказалось уже нечего. Поздно, поздно!.. Познание – дорога, ведущая в царство нищеты, и последняя Истина, которая встречает нас в конце пути, не богаче последней нищенки, ютящейся под мостом. Но эта наша Истина и дорога, ведущая к ней – наша дорога. О, как она серьезна, эта нищая и голодная Истина! С какой тоской взирает она на свое блестящее прошлое, кроме воспоминаний о котором у нее больше ничего не осталось. С какой охотой вспоминает пышные убранства своих дворцов! Что ж! Будем праздновать новое рождение в ее кругу, на голой земле, открытой всем ветрам. Возьмем ее богатства и будем пускать в небо фейерверки из опавших листьев и чужих символов, – пусть они освещают наши поступки и объясняют наши намерения. Окруженные толпой призраков и болотных огней, будем питаться снами и научимся узнавать друг друга по приметам, вычитанным из книг. И пусть этот праздник длится вечно. Нам некуда торопиться. Мы достигли цели. Мы дома».

## 31. Местонахождение Омфалоса

Он нашел ее возле пальмы, под которой она сидела, изучая меню. Других посетителей кроме нее не было, если не считать трех ночных официантов, которые пили на другом конце зала чай и время от времени весело смеялись. Охранник прошел мимо и куда-то исчез. Как растворился.

– Только не задавай, пожалуйста, никаких глупых вопросов. Просто захотела тебя увидеть, – сказала она, опережая Давида. – Могу я просто захотеть тебя увидеть?

– Можешь, – сказал Давид, пытаясь ее обнять.

– Ты помнешь, – сказала она, упирая ему в грудь локти. – Я делала эту стрижку почти три часа.

– Всего один поцелуй, – сказал Давид.

– Только не помни, – сказала она, подставляя губы. – Хочешь чего-нибудь?

– Разумеется, – сказал он, глядя ей в глаза.

– Дав!

– Ты спросила, я ответил, – сказал он, подвигая стул и садясь рядом.

– Я спросила, не хочешь ли ты кофе.

– Увы, – сказал он. – Похоже, что мы опять не поняли друг друга. Это прискорбно.

Он вдруг почувствовал сильное желание, от которого по-

холодела спина. Верный признак, сэр. Похолодевшая спина и нервное подергивание правого века. Кто бы мог ошибиться, имей он такие признаки?

– Даже не думай, – сказала она.

– Кажется, у тебя приступ целомудрия, – сказал он, опустив ладонь на ее колено. – Очень не вовремя.

– Нас выставят вон, и при том – с позором, – сказала она, и, полуобернувшись, посмотрела на пьющих чай официантов.

– Между прочим, – сказал Давид, сжимая ее коленку, – я соскучился. Прошла куча времени с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз... Целая куча.

– Прошло два дня, – сказала Ольга и засмеялась. Затем она положила свои руки на руку, которую он держал на ее колене и спросила:

– Ты рад, что я приехала?

– А ты как думаешь?

– Я думаю, что ты, во всяком случае, такого не ждал.

– Еще бы, – сказал Давид, медленно подвигая свою руку.

– Дав! – она сделала попытку отодвинуться.

Один из официантов, больше похожий на накачанного боксера, оторвался от чаепития и направился к ним.

– Ну, я же говорила.

– Без паники, – Давид с удивлением заметил, как ярко отражаются на гладко выбритом черепе официанта электрические блики.

– Что будем заказывать? – спросил тот, подходя и доставая из нагрудного кармана блокнотик.

– Кофе, – сказал Давид, не убирая руку. – Два черных кофе. Ты чего-нибудь хочешь?

– Ничего.

– Тогда два кофе.

– Два кофе, – сказал боксер, искоса поглядывая на лежавшую на колене руку Давида. – Есть свежие пирожные.

– Нет, спасибо. Только кофе, – сказал Давид.

– Видел, как он смотрел? – прошептала Ольга, когда боксер отошел. – Это он меня не пускал.

– Сволочь какая, – сказал Давид. – Наверное, это у него такой способ ухаживать.

– Наверняка, – ответила она. – А, между прочим, ты мне сегодня снился...

– Ты мне тоже, – сказал Давид, мрачней.

– Нет, я серьезно.

– Я тоже не шучу, – он вспомнил вдруг вчерашний сон, который приснился ему под утро, – тот старый дом, погруженный в прозрачные предвечерние сумерки, вокруг которого он кружил, пытаясь разглядеть за стеклами знакомое лицо, пока вдруг не увидел ее, стоящую у открытого окна, – белое пятно в обрамлении темных волос, – и это лежащее между ними расстояние было наполнено печалью и тревогой. Кажется, он поднял было руку, но она уже исчезла и затем вновь появилась в соседнем окне, но лишь затем, чтобы

отрицательно покачать ему головой. Затем он оказался внутри. Коридоры и аудитории были полны, и он уже знал, что здесь ждут не то выпускной бал, не то какой-то спектакль, в котором ей предстояло принять участие. Боль еще только пряталась в глубине этих коридоров и в сумраке аудиторий, но он уже догадался, что она ушла и больше не вернется. Заглядывая в двери и задавая вопросы, он шел, пока не очутился в тусклом зале маленького кинотеатра... Свет медленно гас и бархатный занавес, качнувшись, начал расходиться, когда он увидел ее в последний раз. Она выглядывала из бокового окна навесной галереи, совсем рядом, лицо ее было обращено к нему, а указательный палец прижат к губам, словно она молила его о молчании. Потом она еще раз покачала головой, и в лице ее не было ни сожаления, ни сомнения, – вот разве что руки, которые она вдруг сложила на груди, что означало просьбу отпустить ее, – так, словно он на самом деле был волен выбирать...

– Вот, значит, что тебе снится, – сказала Ольга, вцепившись в его руку, которая, похоже, уже почти добралась до желанной цели.

– И притом довольно часто, – сказал он, продолжая переступать все границы приличия.

– Ты маньяк, Дав, – сказала она, отодвигаясь от него вместе со стулом. – Если бы я знала, какой ты маньяк, то обзавелась бы железным поясом.

– Нет, ты предложила бы мне руку и сердце еще три года

назад.

– Не посмотрела бы даже в твою сторону.

– Неправда, – сказал он, двигаясь вместе со стулом. – Посмотрела бы, да еще как.

– Отстань, – она вновь отодвинулась.

– Мы можем пойти к тебе, – сказал он, не слушая. – Надеюсь, ты тут остановилась?

– Да. – Сняла двухместный номер на ночь. Но туда уже кого-то подселили.

– И так всю жизнь, – разочарованно сказал Давид.

– Кофе, – у столика неожиданно возник официант.

– Спасибо, – сказала Ольга

Чуть позже перехватив ее руку, он подумал, что, наверное, следовало бы добавить сюда и еще кое-что, о чем он, правда, не стал распространяться, но о чем хорошо знал на собственном опыте, – об этой чертовой боли, которая, наверняка, отзовется в нем и на следующий день, и будет напоминать о себе еще много дней спустя, пробуждая память и превращая настоящее в прошлое, от которого не было возможности спрятаться.

– Дав, перестань, наконец, – сказала она, начиная сердиться.

– Перестал, – он убрал руку, думая, что, пожалуй, и в самом деле для этой просочившейся в явь боли не существовало никаких разумных объяснений – и это лучше всего прочего наводило на тревожные подозрения относительно самой

этой яви, в которых в другое время он не имел никаких причин сомневаться.

– Если хочешь знать, – сказал он, размешивая сахар, – то я думаю, что этот сон мне приснился не случайно. Мне кажется, что он хочет что-то мне сказать.

– И что?

Он ответил сразу, не задумываясь:

– Что-то о том, как ты далеко.

Наверное, этого можно было и не говорить. Уж слишком жалкими показались ему эти слетевшие с его языка слова.

– Но ведь я приехала, – сказала она, словно с легкостью опровергала этим его слова.

– Да, я заметил.

Потом он помолчал немного и добавил:

– Вообще-то я имел в виду совсем другое.

– Господи, какой ты сегодня у нас загадочный, – сказала она, отодвигая кофейную чашку и вытаскивая пачку сигарет.

– Да, ничего загадочного, – он посмотрел ей в глаза. – Я просто имел в виду, что ты всегда ускользаешь, когда разговор касается чего-то серьезного. Вот как сейчас.

– И никуда я не ускользаю, – она выдержала его взгляд. – Наоборот. Представь себе, я сидела себе тихо-мирно над своим проектом и вдруг мне показалось, что если я тебя сейчас не увижу, то случится что-нибудь ужасное. И вот, как видишь, я здесь.

– Это – любовь, – сказал Давид самым ироническим то-

ном, какой только можно было найти в его репертуаре, одновременно чувствуя, что это были как раз те слова, которые он хотел сейчас услышать.

– Не иначе, – сказала она, подстраиваясь под его тон.

– Ну, и хорошо, – он ощупал нагрудный карман своей куртки. – Кстати, извини, у тебя есть деньги?

– В номере, – сказала она и засмеялась, догадываясь.

– Неправильный ответ. У меня тоже в номере.

– Принять смерть от толпы разъяренных официантов не входило в мои планы, – сказала Ольга.

– Пойду, поговорю, – встал Давид. – Если не вернусь, ищи меня в завтрашнем супе.

– Непременно. А ты меня – в холодце.

Не было сомнений, – больше всего на свете он не любил денежные разборки. К тому же было неясно – насколько хорошо чаевничающие официанты понимают человеческую речь.

– Послушайте, – сказал Давид, подходя и делая скорбное лицо. – Я забыл в номере деньги. Сейчас поднимусь к себе и принесу. Вы ведь еще не закрываетесь?

– Не надо, – сказал боксер, который принес им кофе. Пожалуй, если прислушаться, это «не надо» прозвучало как «не мешай».

– Почему? Мне только подняться, – Давид стал подозревать, что его не понимают.

– Не надо, – повторил официант, не глядя в его сторону. –



За счет заведения.

Сказано было так, словно он прощал им, по крайней мере, утрату миллионного состояния.

По чудовищному акценту, с которым он говорил, можно было подумать, что он уроженец Эфиопии.

– Тогда спасибо, – и Давид от неожиданности расплылся в глупой улыбке.

– За счет заведения, – засмеялась Ольга, выходя из-за стола. – Мы разбогатели на две чашки кофе.

– Серьезные ребята, – сказал Давид. – А теперь пошли, я тебе покажу одно хорошее место.

Одновременно он просигналил появившемуся в глубине зала охраннику, что скоро вернется. Тот сразу все понял и исчез.

Как и следовало ожидать, хорошее место оказалось туалетом для служащих.

– Господи, Дав, – сказала она – Ты не мог придумать что-нибудь поумнее?

– Тихо, – сказал он, целуя ее и чувствуя, наконец, запах ее духов. – К сожалению, я вижу, что ты, кажется, ничего не понимаешь в хороших местах. Это, ей-богу, печально.

– И не хочу ничего понимать.

– Тогда стой тихо и не мешай, – он отшпилил от куртки булавку и попытался с ее помощью открыть замок. – Между прочим, кроме интеллекта, эта работа требует еще огромной выдержки...

– Сам себя не похвалишь, – сказала она.

Откуда-то из глубины коридора раздался шум и чьи-то голоса.

– Я боюсь, – шепнула она.

– Чего? – спросил Давид, прислушиваясь. – Видишь, что тут написано?.. For staff. Для сотрудников. А все сотрудники сейчас спят.

– Я в курсе, что такое «for staff».

– Вот и прекрасно, – сказал Давид, пытаясь открыть булавкой замок. – Кто знает, что такое «for stuff», тот далеко пойдет.

– Ты всегда носишь с собой булавку? – спросила она, продолжая озираться.

– Только тогда, когда есть шанс встретить хорошенькую барышню.

Она сказала:

– Дурак ты, Дав.

Дверь щелкнула и открылась.

– Вперед, – сказал он, обнимая ее за талию и легонько подталкивая в открывшуюся дверь.

– Дав, – прошептала она.

– Уже пришли, – сказал он, закрывая за собой дверь. Потом, не откладывая дела в долгий ящик, расстегнул на ее джинсах молнию.

– Дав, – сказала она, поймав его руку. – Не надо.

– Да, – сказал он. – Да... Да... Да...

– Там, наверняка, все слышно.

– Плевать.

– Это кому как.

– Я сейчас умру, – сказал он, стаскивая с нее джинсы. –

Ты ведь не хочешь, чтобы я умер?

– Иногда хочу.

– Тогда иди сюда, – и он повернул ее к себе спиной.

– Дав!

– Тш-ш-ш, – сказал он негромко, одновременно наваливаясь на нее и покусывая ее ухо, зная, что потом все будет так, как и должно было быть, как и было всегда, так что нечего было особо удивляться этому прерывистому дыханию, или блуждающим по телу ладоням, или этим бесстыдным движениям, долгим поцелуям, и сдавленным стонам, а вдобавок еще всем этим сопутствующим словам, вроде «*да, милый*» или «*еще, мой хороший*», или «*так, так, так*», или ЭТИМ неконтролируемым уже звукам, которые не боялись, что их услышат, потому что – что же было бояться тем, кто наперекор всем географическим и прочим истинам рисковал забыть не только, как тебя зовут, но и где ты сейчас находишься, – хотя это последнее, – если, конечно, присмотреться, – было отчетливо, ясно и не вызывало никаких сомнений.

Омфалос, сэр.

Центр мира, куда сходится все, что имеет для Небес хоть какую-нибудь ценность.

Нечто, что могло укрыть тебя лучше, чем все хваленые

укривища земли.

– Омфалос, – прошептал он, держа ладонь на ее животе и, одновременно, целуя ее в шею и при этом борясь с желанием впиться в нее зубами, как впивается в теплое тело добычи охотничья собака.

– Омфалос, – глухо повторил он, запрокидывая ей голову и пытаясь дотянуться до ее губ, понимая, что пока он чувствует тепло ее тела и запах ее волос, омфалос, центр мира, спасающий и надежный, находился именно тут.

Она спросила хриплым, не принадлежащим ей голосом:

– Что ты сказал?

Кажется, он ничего не ответил, и лишь спустя какое-то время, повторил, прокричал, простонал и прохрипел тающее во рту сладкое имя этого чуда:

– Омфалос, сэр.

– Омфалос, Мозес, – повторил он, надеясь одним словом выразить все происходящее, которое длилось и длилось, оставляя тебя в подозрении, что все сейчас происходящее так и будет длиться до скончания века, не давая тебе времени заскучать и ничего не помня о реальном мире, так что иногда ему вдруг начинало мерещиться, что никакого мира на самом деле вовсе не было, а был только этот омфалос, прячущийся до поры в этом до блеска вымытом клозете для сотрудников, куда могли попасть только те, кто вовремя позаботился обзавестись от него ключами.

## 32. Филипп Какавека. Фрагмент 9

«*УМЕНИЕ ЖДАТЬ*. Есть только один и к тому же бескровный способ умертвить чужую истину: не обращать на нее внимания. Это трудно, но со временем входит в привычку. Одновременно мы учимся не придавать значения тому, что наши собственные истины оставляют других глубоко равнодушными. В конце концов, и то, и другое – это только умение ждать».

## 33. Кое-что о господине Цирихе и истине

Конечно же, это было ужасно: почувствовать тяжесть чужого тела, уже не имеющего опоры и готового вот-вот взлететь, расправив крылья, – это-то, пожалуй, было всего ужаснее, – тело, обретшее свой подлинный вес, – правда, какой ценой! Оно чуть покачивалось, когда я бросился к нему, чтобы остановить это безумное движение. Тело-гиря, тело-маятник, повисшее между двух бездн. И это в пятом часу утра!

Теперь я спрашиваю себя: не правда ли, Мозес? Не правда ли в этом было нечто героическое, нечто, способное поразить воображение даже самого бесчувственного человека, – и сразу же отвечаю себе: ничего особенного, сэр. Метафизический долг, вот что это было, если уж на то пошло. Метафизический долг и ничего больше. Тем более что господин Цирих, в конце концов, просто уцепился за карниз. – «Уцепился за карниз, Мозес?» – «Да, сэр, именно так. Уцепился за карниз. Иначе бы он просто упал с подоконника, так как запутался там в шторах и потерял равновесие». – «Запутался в шторах, Мозес? Как же это может быть, дружок? Ты когда-нибудь видел человека, который запутался бы в шторах? И потом: что он там делал на подоконнике в пятом часу утра,

да еще распахнув во всю ширь окно, что, между нами говоря, строго запрещено?» – «Что он там делал, сэр? Да мало ли, что можно делать в пятом часу ночи, запутавшись в шторах на узком подоконнике? Возможно, он хотел подышать свежим воздухом, сэр». – «Свежим воздухом, Мозес? И при этом так спешил, что запутался в шторах и чуть не вывалился из окна?» – «Да что вы ко мне пристали, сэр? В конце концов, я просто проходил мимо. Мало ли что может случиться с человеком, в особенности, когда он еще не совсем проснулся и ему, может быть, все еще мерещится неизвестно что? Помнится, мне самому привиделось как-то со сна, что я должен немедленно прочесть проповедь перед прихожанами и притом – прямо здесь и в темноте, потому что такова была воля господина настоятеля, сэр. А самое смешное, что я даже не знал, с чего мне следует начать». – «Надеюсь, ты хоть знал, чем тебе следует закончить, Мозес. Что бы ты там ни говорил, но если человек забирается в пятом часу ночи на подоконник, то тут явно не все чисто, Мозес...»

Возможно, что так оно и было.

Во всяком случае, стоило ему схватить это раскачивающееся, спеленатое тело, надеясь остановить его ужасное движение, как перед глазами его вспыхнула молния...

– Боже мой, – пробормотал Мозес, выпуская на секунду ноги господина Цириха. – Боже мой, господин профессор. Вы видели?.. Она чуть не съела меня!..

– Ради Бога, – раздался из шторы знакомый голос. – Ради

Бога, Мозес!.. Чего вы ждете?

– Сейчас, сейчас, – сказал Мозес, думая как лучше поступить. – Подождите одну минутку. – Он подвинул стоящий рядом стул и, придерживая господина Цириха, взобрался на подоконник. Шнурок от шторы, обвиваясь вокруг профессора, был перекинут через карниз. – Попробуйте поставить ногу вот сюда, – сказал Мозес, легонько подталкивая господина Цириха прочь от окна. Придерживаясь рукой за карниз, он осторожно потянул шнурок. Потом несильно дернул его. В ответ карниз прозвенел металлическим звоном, и вторая штора накрыла Мозеса с головой.

– Один момент, – Мозес замотал головой, пытаясь сбросить липнущую к лицу ткань и одновременно чувствуя, как шнур затягивается вокруг его шеи. Наконец, это ему удалось.

– Ничего, ничего, – сказал он, думая какой рукой лучше начать.

Карниз между тем угрожающе затрещал. Краем глаза Мозес видел за открытым окном черный провал. Высокое небо с россыпью созвездий. Где-то там, внизу, смутно серел пыльный асфальт двора. Потом он отпустил одной рукой карниз и взялся за штору. Наверное, это была ошибка. Штора натянулась и затрещала.

– Господи! – вскрикнул господин Цирих. – Мы падаем!

– Не думаю, – сказал Мозес, на всякий случай выставив руку и упираясь в край рамы, чтобы успеть оттолкнуться, если падающее тело господина Цириха потащит их за окно. –



Ничего, ничего...

– De profundis vосо... – сказал господин Цирих откуда-то издалека.

– Что? – спросил Мозес, успев напоследок услышать звук разрываемой ткани, чтобы через мгновенье обнаружить себя лежащим вместе с господином Цирихом на полу. Сразу же вслед за ними, с металлическим звоном упал карниз, впрочем, никого особенно не задев. Мир вновь обрел относительную устойчивость.

Четверть минуты или около того прошли в молчании.

– Помогите мне, – сказал, наконец, господин Цирих. – Кажется, я подвернул ногу.

– Сейчас, – Мозес попытался выдернуть из-под себя штору. – Пойду, позову сестру. – Он справился со шторой и теперь занялся шнурком. Господин Цирих, откинув с лица штору и не делая попыток подняться, смотрел в потолок. Странно, что еще никто не прибежал на шум.

– De profundis vосо, – повторил он, переведя взгляд на Мозеса. – Пожалуйста, никому не говорите, Мозес.

– О чем? – спросил Мозес, освобождаясь, наконец, от шнурка.

– Это был голос, – сказал Цирих. – Голос, Мозес. И он звал меня. Вы его, должно быть, слышали.

– А-а, – протянул Мозес. – Значит, это был голос? – Он помолчал, морща лоб. – А мне показалось, что это была Рыба. Она чуть не съела меня.

– Рыба? – переспросил Цирих безо всякого интереса. –

Что это еще за рыба такая?

– Огромная, – сообщил Мозес.

– Что бы это ни было, Мозес, пожалуйста...

– Хорошо, – сказал Мозес. – Я понимаю.

Он поднялся и оглядел место случившегося. Сорванный карниз. Распахнутое в безлунную ночь окно. Разорванная и мятая штора. Рассыпавшиеся по полу бумаги. Сидящий на полу доктор теологии. Из окна тянуло ночной свежестью. Никому и в голову не могло прийти, что в некотором смысле тут только что разыгрался небольшой Армагеддон. Во всяком случае, прелюдия к небольшому Армагеддону.

А значит, Мозес?

А значит, сэр, что в некотором смысле, это был всего лишь метафизический долг, так что если бы кому-нибудь вдруг пришло в голову покопаться в этом поглубже, он, возможно, сумел бы обнаружить здесь даже некоторое подобие героизма, которое показалось бы ему ничуть не большим того, каким грешит куколка в пору, когда ей приходится стать бабочкой, сэр.

– Чему это вы все время улыбаетесь, Мозес? – спросил доктор Цирих, приходя, наконец, в себя.

– В этих шторах вы были похожи на куколку, профессор... Надеюсь, вы не обиделись?

– Нет, – подумав, ответил господин Цирих.

– Я так и думал, – сказал Мозес.

...И все же вопрос, хоть и праздный, хоть и до смешного риторический все равно оставался и требовал ответа, как требует ответа голос проверяющего билеты контролера. Надо ли искать героическое в исполнении своего долга, Мозес, – тем более, отмеченного печатью Судьбы? Даже мой вечный оппонент не спешит вступить со мной в перепалку, – а это, что ни говори, хороший знак, сэр. Разумеется, я мог бы сделать вид, что ничего не заметил и спокойно отправиться к себе, благо, что ко всему прочему, дежурной сестры, как всегда, не было на месте, потому что она играла в карты с дежурной из соседнего отделения. Кто бы посмел тогда обвинить тебя, Мозес? Но не значило бы это не заметить самого существенного, сэр? Ведь Истина – если, конечно, мы говорим об Истине, пожалуй, всегда подобна припадку; она является нам только тогда, когда сочтет нужным, не утруждая себя ни предварительным звонком, ни открыткой, ни знаком, чей смысл не оставался бы для нас закрытым. Именно тогда, когда это взбредет ей в голову, сэр, а не тогда, когда этого пожелаем мы сами, как это, собственно, и случилось в этот утренний час в палате доктора теологии Мартина Цириха. Другими словами, Мозес, вежливость не относится к числу добродетелей, которыми может похвалиться Истина, – во всяком случае, именно так выразился однажды господин Цирих в беседе с доктором Аппелем, в то время как я случайно проходил мимо. – «Так ли уж и случайно, Мозес? Разве не подслушивал ты изо всех сил, делая вид, что

занимаешься собственными ногтями?» – Собственно, какая разница, сэр, каким образом мы черпаем материал для нашего познания? Что там ни говори, но если господин Цирих действительно не ошибся, это значит, что нам следовало бы всегда и при любых обстоятельствах оставаться начеку, сэр. Быть – значит быть начеку, – вот что отсюда следует, сэр, если я не ошибаюсь. Надо сказать, что довольно часто я и сам ловлю себя на этой мысли. А ведь отсюда следует, что мы, некоторым образом, обречены на вечное бодрствование, Мозес? Или, может быть, на что-нибудь в этом роде? И не окажется ли это «начеку», в конце концов, тоже каким-нибудь метафизическим долгом, – бессрочной службой, за которую не полагается никакой награды, кроме пинков и затрещин? Ведь никому в точности не ведомо, когда взбредет Истине в голову явиться перед тобой во всей красе, – быть может, она как раз предпочитает выбирать для этого самое неподходящее время, подобно призраку или, как я уже говорил, припадку, которому совершенно все равно, где и в каком виде он тебя настигнет. Как бы то ни было, для меня несомненно одно: не загляни я вовремя в палату господина Цириха, Истина ускользнула бы от меня точно так же, как она ускользнула от всех тех, кто предавался в этот час безмятежным или тревожным сновидениям. Конечно, это ни в коем случае не доказывает, что Истина специально явилась, чтобы покрасоваться передо мною. Нет, Мозес! Возможно, я всего лишь подвернулся ей, как случайно подворачивается

удачное сравнение или покладистая барышня на дискотеке. Кто, в самом деле, может поручиться, замечает ли она вообще, когда кто-нибудь попадает на ее пути? Возможно, в ее планы вовсе не входит встречаться с кем бы то ни было в то время, когда она занимается своими делами. И кто знает, может быть, это не она, а мы наталкиваемся на нее, как наталкиваются в темноте на мебель, или как, зазевавшись, наступают на спящую кошку. О, Мозес! Не напоминает ли тебе Истина одинокого волка, живущего вдали от людей и убегающего в глубину леса, стоит ему только слышать их голоса? Что ж, может быть и так, Мозес. Однако когда мои мысли текут в этом направлении, я часто думаю, что Истина все же больше похожа на нагую женщину, не желающую, чтобы ее видели чьи-то глаза. На нагую женщину, убегающую прочь. Отчего же она не желает этого, Мозес? Разве не в силу своего вопиющего целомудрия, сэр?.. О, да, – говорю я себе: разве же Истина и целомудрие это ни одно и то же? Конечно, одно, Мозес, кто же станет в этом сомневаться? Но как тогда избежать нам этих назойливых вопросов, – они, словно летние мухи, облепившие ложку с медом, которую ты спешишь поскорее поднести ко рту? Не станем ли мы, например, подзревать тогда, что в своей сокровенной глубине Истина есть, некоторым образом, голая Истина, я имею в виду непристойно голая, сэр, вот, что я хочу сказать? Не начнем ли мы тогда украдкой хихикать и, переглядываясь, укоризненно качать головами, – потому что непристойность, как известно, озна-

чает вроде как отступление от должного, гарантом которого, вообще-то говоря, выступает опять-таки, сама Истина?

– Не слишком ли ты путанно излагаешь, Мозес?

– Да, уж как умею, сэр.

Тем более что уже пришло, похоже, время сказать самому себе: поосторожнее, Мозес. Поосторожнее, ротозей, для которого все еще новость, что встречаются под солнцем мысли, которые бывают хуже любых поступков и такие надежды, которые заводят туда, откуда нет возврата. Остерегись, говорю я себе, чувствуя, как тревожно забилося в груди сердце и прошлое задышало в затылок, не желая отпускать тебя. И все же я спрашиваю, уповая на милосердие Небес: не окажется ли эта непристойность, о которой мы вели разговор, эта сокровенная нагота чем-то большим, чем сама Истина? Не перевесит ли она ее истинности – вот, что я спрашиваю, замирая одновременно от страха и восторга. Ведь подобное случается и с нами, сэр. Например, с теми обнаженными барышнями, которые смотрят на нас с глянцевого страниц журналов, – разве же не исчезают они в своей собственной наготе, словно бульонные кубики в кипящей воде? Не есть ли они сами – только условие, тогда как нагота – их сокровенная природа? И что же это значит, Мозес? Как разрешить эту, поистине, странную загадку? Сказать, что Истина целомудренна, не значит ли это утверждать, что ей есть, что скрывать и чего стыдиться? Но что же ей скрывать и чего ей стыдиться, Мозес? Может быть, она стыдится своих недостатков, по-

добно тому, как это присуще многим из нас? Истина, тщательно прячущая свои несовершенства! – пожалуй, в этом есть нечто, что я еще в состоянии понять. Толстые лодыжки или складки на боках, – кому, в самом деле, захочется выставлять все это на всеобщее обозрение! Но, возможно, дело обстоит гораздо хуже и ее вопиющее целомудрие указывает на то, что она стесняется не столько своих недостатков, сколько своей собственной наготы? Или – если говорить, не затемняя смысла сказанного словами – своей собственной истинности, сэр?

– И куда это тебя опять понесло, Мозес?

– Никуда, сэр. Вернее, я только хотел спросить, не чувствует ли Истина себя в глубине своей голой? Не жаждет ли, в самом деле, облачиться в одежды, и ни в этом ли стремлении обнаруживает она свое собственное целомудрие?

– И в самом деле, сэр. Будь она уверена, что ее нагота составляет сокровенное существо ее, да, разве пришло бы ей тогда в голову искать одежду, чтобы спрятать под ней эту драгоценность? И не будет ли поэтому чрезмерным, если мы спросим: не занята ли Истина на самом деле поисками своей собственной истинности и не этим ли занятием наполнен до краев ее день? Не пребывает ли она в вечной разлуке с собой, борясь со своей непристойной наготой, – той, что оказывается выше нее, как ее собственная природа? Не мечтает ли она когда-нибудь преодолеть ее, подобно тому, как ночь преодолевает день, а сон явь, и разве не опалает ее стыд, ко-

гда ей почему-либо приходится показываться перед нами обнаженной? Не от того ли и убегает она, заслышав наши шаги?.. Ах, Мозес, Мозес!.. Попробуй-ка теперь ответить мне: существуют ли на свете такие слова, которые в состоянии подарить нам покой? Волшебные слова, вселяющие уверенность и делающие нас бесстрашными? – Боюсь, что я таких слов не знаю, сэр. – Вот видишь, Мозес! А теперь скажи мне: разве не в состоянии ты привести аргументы, ничего общего не имеющие с теми, которые только что пришли тебе на ум? Будут ли они менее убедительны и более уязвимы для нашей логики? Как бы ни так, Мозес, как бы ни так, глупый ты чурбан! Ничуть не менее, и ничуть ни более будут они.

– И ведь верно, дружок, – разве Истина, бегущая от нескромных взоров, стыдливая Истина, жаждущая преодолеть свою наготу, более убеждает нас, чем Истина, презиращая всякие одежды, не знающая даже, как правильно пишется слово «непристойность»? Истина, презиращая стыд? Танцующая нагой в людных местах, хохочущая и не скрывающая ничего, что стоило бы сокрыть?.. Эге-гей, Мозес! Не она ли подстерегала тебя в самые неподходящие часы, чтобы сбросить надоевшие одежды свои и увести тебя по тенистым тропинкам в свои сады, где она могла бы ласкать тебя, позабыв всякий стыд, наполнив воздух ароматом роз и можжевельника, пугая тебя неистовством своих желаний? Не ты ли стонал от наслаждения, касаясь ее лона и вдыхая ее дыхание?.. Ах, Мозес, Мозес, похоже, ты краснеешь от своих



воспоминаний, бессильный вразумительно поведать, что довелось испытать тебе в эти короткие часы! Разве не хотел ты, чтобы это повторялось вновь и вновь, снова и снова?.. Так в чем же дело, спрашиваю я себя, – разве не горят до сих пор ее ласки, словно ожоги, на твоих плечах и груди? В чем же дело, Мозес? Можно ли сомневаться в очевидном, дружок, и разумно ли бежать от несомненного, – того, которое не знает исключений?

– Ну, разумеется, – отвечал он, нисколько не будучи уверенным в своих словах. – Это было бы и не разумно, и опрометчиво, сэр. И все же, все же...

– И все же, Мозес!.. Я ведь всегда предупреждал тебя, что когда-нибудь ты вляпаешься со своей путаницей в какую-нибудь очень неприятную историю.

– Благодарю вас за заботу, сэр. Приятно сознавать, что не обойден вашим отеческим вниманием. И все же я позволю себе утверждать, что только что нарисованная вами картина вовсе не думает отрицать другую очевидность, – ту, что носит имя Истины Стыдящейся Своей Собственной Сущности, сэр. Истины, спасающейся бегством и жаждущей облечься в одеяния, под которыми без следа сгинет и истлеет ее непристойная нагота!.. – Разве одно больше, чем другое, Мозес? И не должны ли мы поэтому равно принять и то, и другое, или же отбросить и это, и то в пользу какого-то неведомого третьего, Мозес?

– О, если бы это были только слова, сэр! Если бы только

слова, милый. Но как сопротивляться тому, чья очевидность безысходна, так что, приближаясь к этим границам, я часто перестаю понимать даже самого себя, так что, время от времени, мне чудится, что я сам начинаю двоиться, – а впрочем, отчего бы и нет, Мозес? Разве это не ты бывший пациент доктора Аппеля, пожелавший навсегда остаться в стенах этой клиники? И разве это не про тебя было сказано однажды, что ты родился со своей историей болезни под мышкой? Вот почему, время от времени, я спрашиваю себя: Мозес, – спрашиваю я, – не слишком ли много противоречий даже для бывшего пациента этой клиники? Да, есть ли вообще что-нибудь под солнцем, что не двоилось бы, отбрасывая тень, или что само не обращалось бы в тень, стоило нам только повнимательнее приглядеться к нему или протянуть в его сторону руки? Не наводит ли это на кое-какие давно забытые мысли об оборотнях и привидениях, царствующих и по ту, и по эту сторону, Мозес?.. И не об этом ли, собственно, пытался однажды сказать рабби Ицхак, заметивший однажды в разговоре с Давидом, что Истина, не знающая противоречий, годится разве что только для того, чтобы не дать умереть с голоду теологам и профессорам философии?

При этом он постучал по серебряному набалдашнику своей трости, на котором был изображен двуликий Янус и мягко улыбнулся, давая Давиду время подумать над сказанным.

## 34. Филипп Какавека. Фрагмент 167

«ПУГЛИВЫЕ МЫСЛИ. Высоко в горах сверкает снег и в разряженном воздухе тускнеет и гаснет память о прошлом. Отсюда хорошо видно, как мал наш мир и как огромны небеса, подступающие к самой кромке далекого горизонта. Здесь следует благоговейно молчать и размышлять о вечности. Но я предпочитаю спуститься из этого царства покоя, почти граничащего с вечной Истиной, вниз, туда, где суживаются горизонты и свет постепенно уступает место тени. Я предпочитаю долины, поросшие хвойным лесом, в котором можно спрятаться от солнечных лучей. Я уйду еще дальше, в темные ущелья и глухие расщелины, где камни расцветают разноцветным лишайником и древние стены поднимаются вверх, оберегая меня от необходимости петь хвалу Истине и ее порядку. Тут можно часами сидеть, глядя на бегущий по каменному ложу ручей, над которым склонились привыкшие к сырости и полумраку бледные цветы. Не такие ли бледные, незаметные мысли приходят здесь, вдали от солнца, — мысли, убегающие света и опасующиеся слишком открытого пространства? Пугливые мысли, для которых ярок даже этот полумрак. Немудрено, что их никогда не встретишь на

вершинах. Стоит ли удивляться, что так трудно бывает понять их шепот? Чтобы разобрать его, надо, вероятно, спуститься еще ниже – туда, в гулкие подземелья и холодные пещеры, где бесшумно скользят в черной воде слепые рыбы. Не подобны ли этим рыбам пугливые, подземные мысли? И не предстоит ли нам самим ослепнуть среди этого мрака? – Наверное, следует быть готовым и к этому. Но кажется, разгорающиеся все ярче по мере того, как гаснет дневной свет, мысли, стоят того, чтобы заплатить за них и такую цену».

## 35. Продолжение темы

«Ты, кажется, сказал: и по ту и по эту сторону, Мозес?» – «Так точно, сэр. Именно так я и сказал. По ту и по эту, сэр». – «Вероятно, ты имел в виду нечто возвышенное? Нечто, способное сделать нас лучше?» – «Да, уж прям, сэр. Неужели, мне больше нечем заняться, кроме как делать кого-то лучше, сэр? К тому же, я от чистого сердца порекомендовал бы вам быть немного поаккуратнее. Не знаю, как там у вас, а у меня же давно вошло в привычку: прежде чем задать вопрос, внимательно прислушаться: не гремит ли уже в облаках золотая колесница, несущая вестницу богов, посланную наказать меня за чрезмерное любопытство! Этакая не знающая снисхождения Истина, никогда не обманывающая тебя относительно причины твоего наказания... А вот, кстати, и она, сэр. Летит, не зная усталости, с таким выражением на лице, что будь ты хоть трижды ни в чем не виновен, все равно тебе придется отвечать по всей строгости небесного закона, и при этом – быстро и незамедлительно». – «Что-то я никак не возьму в толк, Мозес..» – «Да что же тут и брать, сэр? Разве ты не слышишь, как звенит ее серебряная упряжь, подобная Млечному пути в ясную осеннюю ночь? Разве не слышишь раскатов грома и постукивания стальных пластин на панцире, чей ослепительный блеск заставляет те-

бя закрыть глаза?» – «Что касается меня, Мозес, то я вижу только жалкую, одетую в лохмотья старуху, приплясывающую и размахивающую руками. Это ее-то ты называешь «вестницей», Мозес?» – «Это Мнемозина, сэр». – «Нельзя ли чуть погромче, Мозес?» – «Мнемозина, сэр». – «Вот эта старая карга?» – «Я бы все-таки посоветовал вам подбирать выражения, сэр. Подбирать выражения, Мозес». – «Да, ты просто не выспался, дурачок, вот от чего тебе мерещится невесть что. Если не ошибаюсь, еще нет и семи». – «О, как же, на самом деле, я выспался, сэр! Не хуже этой самой Спящей Красавицы или, пожалуй, даже много лучше, – так, как только и может выспаться рожденный женщиной и жаждущий теперь последнего пробуждения!» – «Господи, Мозес, да ты просто никак не можешь прийти в себя после этой ночной эпопеи с господином Цирихом. Гляди-ка, тебя прямо трясет до сих пор, как будто ты подхватил лихорадку или ангину! Иначе вряд ли ты бы стал нести эту чушь про последнее пробуждение». – «Именно последнее, сэр, разрази меня гром! Разве же не в этом все дело: какого именно пробуждения мы жаждем? Или, может быть, для вас новость, что далеко не всякое пробуждение пробуждает? И разве это не нам грозит всякий раз опасность проснуться, позабыв и свой дом, и свое настоящее имя, принимая свои грезы за действительно существующее, каковым оно, конечно, не является? Есть ли где доказательства, способные успокоить наши подозрения? Не начинаем ли мы неожиданно для самих себя

всматриваться в окружающие нас вещи – застигнутые врасплох смутным подозрением – пытаюсь проникнуть взглядом за видимый покров и не доверяя принуждающей силе очевидности, – подобно родившейся и живущей в городе охотничьей собаке, которая, время от времени ни с того, ни с сего, вдруг начинает принюхиваться и рваться с поводка, не в силах толком понять вдруг охватившее ее волнение? И разве эта сияющая вестница не подтверждает мои подозрения лучше тысячи и тысяч умных книг?» – «Похоже, ты опять имеешь в виду эту старую ведьму, Мозес?» – «Это Мнемозина, сэр».— «Да хоть кто, Мозес. Какая, нам, собственно говоря, разница, если подумать?». – «Если подумать, сэр. Вот и подумайте, пока еще не поздно, сделайте милость. Разве это не она стоит на пути нашего пробуждения, оплетая нас воспоминаниями, от которых нам никуда не деться? И разве не ее ярость предназначена для того, чтобы покарать нас за наши смутные переживания и ни на чем не основанные сомнения? Запихнуть наши вопросы обратно в глотку? Вырвать язык? Выколоть глаза? Погрузить нас в адское пламя, сжигающее наши внутренности?..» – «Сдается мне, что ты, все-таки, слишком драматизируешь, Мозес. То, что ты изволил назвать «адским пламенем», дружок, это, в конце концов, всего лишь несварение желудка, тошнота или мигрень, случающиеся от неправильного образа жизни, нарушения режима и несоблюдения диеты. Ничего из ряда вон выходящего» – «Смею заметить, сэр, что обыденное зачастую

скрывает под своим покровом совсем не то, что видят наши глаза, сэр. Разве посетившая вас мигрень является вам в образе какой-то медицинской абстракции? Конечно, нет, сэр, она является именно вам и терзает именно вашу голову, а не голову, чей разрез помещен в анатомическом атласе для Средних Медицинских училищ. Тем более – не голову вашего соседа или соседки. Вам следовало бы быть с ней немного повежливее, а обращаясь к ней, называть ее «госпожа Мигрень» или даже «ваша светлость», ибо кто в действительности может знать, сэр, откуда ведет свое происхождение вся эта опасная публика, – господин Понос, или госпожа Изжога, милорд Гонконгский Грипп, или, допустим, их высокопревосходительство, господин Остеохондроз? Почему бы им, в самом деле, не состоять в близком родстве с Адским Пламенем, или даже быть одной из многочисленных ипостасей этого Пламени, чье существование засвидетельствовано такими выдающимися путеводителями по адским безднам, как Тертуллиан, Лактанций или Блаженный Августин, не говоря уже о Шпренгере и Инститориусе, господине Сведенборге или, на худой конец, моей соседкой, Анной-Марией-Розой Типпельскирх, заявившей сразу после того, как ее муж ушел к бехаистам, что Адский Огонь объемлет все, что ни есть в этом мире, не делая исключения ни для чего, и только наша слепота не позволяет нам замечать этот, в общем-то, вполне очевидный, хотя и печальный факт?..» – «Послушай-ка, Мозес...» – «Нет, уж это вы меня послушайте теперь, сэр! Ска-



жите, разве в состоянии мы видеть своими слабыми очами этот самый Адский Пламень? Наверное, не яснее, чем Свет Божественной Премудрости, я полагаю. Вот отчего мы различаем его в образах, так сказать, иносказательных, приличных нашему ограниченному восприятию, которое, увы, не позволяет нам видеть подлинные причины происходящего, сокрытые от нас в неразличимой глубине. Осмелитесь ли вы, сэр, к примеру, утверждать, что вам, и в самом деле, открыты причины и смысл мучающего вас время от времени поноса? Я хотел, конечно, сказать: «господина Поноса», сэр...» – «Хочу предупредить тебя, Мозес, что я не только отказываюсь называть понос господином, но и категорически настаиваю на том, что он ведет свое происхождение от немых рук и скисшего молока, а вовсе не от Адского Пламени, каковой является не более чем банальной метафорой, не делающей чести тому, кто ее употребляет. К тому же я хочу спать, Мозес».

О, хранительница весов и порядка! Разве не есть этот мир только порождение противоречий, замешанных в одном котле, где находят друг друга и ты, и пославшие тебя боги, и я, петляющий между всполохами молний, которые они посылают, чтобы остановить мой бег?.. Что же я спрашиваю: Истина ли поразила меня сегодня или это я сам случайно наткнулся на нее, как это бывает в темноте, когда нога вместо тапочка попадает в ночной горшок? Какая, в сущности, разница, Мозес, бежит ли Истина прочь, услышав мои шаги,

или сама преследует меня, словно пьяная вакханка, жаждущая любви? И кто остановит меня, если я вдруг осмелюсь спросить – не сам ли я поразил себя, словно припадок, не я ли наткнулся на самого себя во мраке, чтобы услышать свое собственное дыхание? Не я ли бежал от себя, спасаясь от своего собственного взгляда, оберегая свое целомудрие, я – сжигающий самого себя в сладострастных объятиях, позабывших, что такое стыд?.. О, Мозес, Мозес... То или это, одно или другое, – не в этом ли и состоит наша последняя задача: научиться проходить сквозь противоречия, как проходят через дождь или утреннюю радугу, или свою собственную жизнь?..

«Нельзя ли, наконец, покороче, Мозес?» – «Не знал, что вы куда-то торопитесь, сэр. В таком случае, считайте, что я уже закончил». – «И слава Богу, Мозес». – «Надеюсь, вы понимаете, сэр, что промолчать сегодня, значило бы выказать неуважение к самому себе, а это недопустимо. Уверен, что и вас моя речь не оставила равнодушной». – «Она была чудовищна, Мозес. Претенциозна и совершенно неуместна, особенно в это время суток, когда все законопослушные граждане, мягко говоря, почивают по своим постелям. Мне кажется, ты в состоянии говорить только о самом себе!». – «Естественно, сэр. Как порядочный человек, я всегда говорю только о том, что я хорошо знаю». – «Мне кажется, что у тебя было достаточно времени, чтобы изучить что-нибудь кроме этого, Мозес». – «Что-нибудь, кроме этого, сэр?.. Надеюсь,

что ты это не серьезно, дурачок?»»

## 36. Филипп Какавека. Фрагмент 169

«В силу ли дурного воспитания или по другой причине, Истина предпочитает грубо сработанные мысли, мысли-жернова, размалывающие все, что попадаетея им на пути. Они – подкованные сапоги, которыми Истина стучит в ваши двери, – попробуйте не впустить ее! К тому же, людям это нравится, – именно этот грохот они, как правило, принимают за настоящее мышление. Другое дело мысли-бабочки, мысли-эльфы, пляшущие и перелетающие с цветка на цветок. Свободные и неопределенные – они то вспыхивают, то гаснут, не заботясь друг о друге, но стоит им слышать солдатские сапоги Истины, как они сразу разлетаются в разные стороны, – как не бывало! Да и как не бежать им от законченных форм и несмешанных красок, которые обрушивает на них Истина? В их мире все не так, здесь можно встретить лишь полутона, оттенки, намеки, меняющиеся перспективы. Похоже, они даже не называют себя мыслями. Чего хотят они от нас? Вот ведь – что хотят! Хочет Истина, а маленькие пугливые эльфы даже не догадываются, что то, от чего они бегут, носит это имя и пишется с прописной буквы. Еще меньше они подозревают, что топот и шум – обязательные усло-

ВИА ПОЗНАНИЯ».

## 37. Видение Рая

Но даже сквозь сон Моисея чувствовал наступление нового дня, удивляясь, что Рай так похож на газету, – типичная газета, забитая в конце объявлениями о купле-продаже, – и, вместе с тем, не переставая удивляться самому этому удивлению, – в конце-то концов, это все-таки был сон, где все должно было быть взаправду, тем более что речь все-таки шла о Рае, – правда, сам он ничуть не сомневался, что Рай этот только мерещился ему в последние мгновения уходящего сна, – но ведь это-то и было удивительно, поскольку уж больно отчетливо видел он и газетные столбцы, и мелкий шрифт под фотографиями, и тем более – черный массивный заголовок, набранный готическими литерами, которые парили тут же, в некотором отдалении, словно зеркальное отражение газетного текста, превращая Рай в некое подобие расправившей крылья бабочки, или, все же, скорее, расправившей крылья газеты, так что даже последний невежда мог догадаться, что Рай печатают в типографии наподобие книг или рекламных проспектов, – но всего удивительнее, конечно, было то, что он твердо знал: все это – истинная правда, и, в то же время, хорошо помнил, что это – только сонные грезы, не имеющие никакого особенного значения, так что если бы кому-нибудь вдруг вздумалось разбудить его и

спросить: «ведь это был только сон, Мозес?», то он, ни на минуту не задумываясь, ответил бы: «а что же еще?», – хотя, честно говоря, ему не полагалось знать об этом заранее, потому что только проснувшись можно было позволить себе подобные рассуждения, а до того следовало бы вести себя сообразно обстоятельствам, – например, изучить судебную хронику или углубиться в чтение набранных петитом объявлений, ведь именно там обыкновенно попадалось что-нибудь легкое и поучительное, – например: «Только Мозеса люблю» или же: «Мозесу верною буду женой», – отчего под ложечкой начинало сладко посасывать и хотелось немедленно позвонить по указанному номеру телефона, по этому, вызывающему восхищение многозначному номеру, чтобы услышать в трубке незнакомый голос, отрезавший: «Мозесы здесь не проживают» – и уж совсем удивительно было то, что это не показалось ни странным, ни обидным, ну, может быть, немного смешным, поскольку смешно было, в самом деле, думать, что кто-то не знает, где проживают Мозесы, – впрочем, думать об этом уже не было времени, потому что, судя по доносившимся шорохам, шлепанью и голосам, стремительно и неудержимо приближалось другое время – Время Завтрака. И остановить его были бессильны все прелести Рая.

## 38. Имя Розы

Иногда кто-то окликал его по имени. Не по тому, которое он носил с плохо скрываемой гордостью, как носят воинские нашивки, рассказывающие другим о твоей доблести и героизме, а по тому, другому, почти уже забытому, почти ставшему вполне чужим именем, которое вдруг касалось твоего слуха, когда ты ждал его меньше всего. Словно попавшая в дерево молния или шальная пуля, просвистевшая почти рядом – одним словом, имя-снайпер, подстрелившее тебя в ночных сумерках или, напротив, в солнечном сиянии весеннего дня, – оглушительное и непостижимое, каким бывает весь мир, когда ты случайно вдруг посмотришь на него совсем с другой стороны, чем обыкновенно.

Имя, сэра.

То, что почти неслышно окликало тебя, словно играя с тобой в прятки и исчезая, стоило тебе обернуться, чтобы посмотреть, кто же это все-таки зовет тебя – то быстро, словно торопясь поскорее скрыться, – Давид, – то медленно, едва шепча себя и выговаривая по слогам, – Да-ви-и-д – так что оно шуршало, словно змея в опавшей листве.

Это чертово имя, сэра.

То, что привязывало тебя к земле лучше, чем железные цепи или подписка о невыезде.



Чаще всего, оно напоминало о себе в предрассветных сумерках, когда сон становился тонок и прозрачен, делаясь способным видеть давно умерших, которые не стеснялись звать тебя твоим старым именем, хотя и были, конечно, в курсе относительно твоего нового имени, которое, возможно, их пугало и мешало подойти поближе, чтобы вступить с тобой в обстоятельную и своевременную беседу.

Мертвые, которых с каждым годом становилось все больше, сэр, так что, просыпаясь иногда и еще не вполне придя в себя, он иногда начинал беспокоиться в полусне насчет того, где же, в конце-то концов, придется разместить всю эту толпу мертвых, все еще взирающих на него в надежде, что он решит их проблемы и сделает все правильно, как и предполагается.

Потом сон уходил совсем, оставив его удивляться тому, как такая ерунда могла попасть к нему в голову.

И вместе с тем, сэр. Вместе с тем, Мозес. Было в этом редком окликании какая-то тайна, какая-то невнятная загадка, как будто кто-то не отпускал тебя, требуя, чтобы ты немедленно решил все, что тебе предлагалось, подобно тому, как это было в школьные годы, когда тебя не отпускали на улицу до тех пор, пока ты ни решишь это трижды проклятое уравнение.

Имя, сэр.

Нечто, что так сплелось с тобой, что ты уже, пожалуй, и не отличал, где кончается одно и начинается другое, где конча-

ешься ты сам и где начинается твое имя.

Твое имя, Мозес.

В конце концов, как утверждали некоторые знатоки, – это все, что от нас остается, когда наше тело забрасывают землей или песком. Нечто подобное идеальному пристанищу, в котором вещь обретает приют, делясь со Всевышним своими заботами, делами и надеждами, и цепляясь своим именем за другие имена, созидая, тем самым, целый мир, – этот без умолку галдящий, не знающий тишины мир, который не перестает говорить со времен Адама и Евы, – этакая Большая говорильня, которая болтает вот уже десять тысяч лет, полагая, что именно этим можно угодить Всевышнему, хотя на самом деле все обстоит совсем не так, как хотелось бы думать тем, кто умеет только говорить. Потому что если внимательно приглядеться, будет совсем нетрудно увидеть, что имя – каково бы оно ни было – всегда отгораживает нас от того, о чем оно говорит, как, например, имя розы отгораживает нас от того, что мы называем этим именем, и что в действительности не поддается никаким именам, открывая перед нами совершенно иной, незнакомый, неизвестный и притягательный мир.

Имя розы, Мозес.

Как, впрочем, и любое другое, которое вертится у нас на языке.

Любое другое, которое, так же как и все прочие, не пускает нас даже подойти немного ближе туда, где Небеса, на-

конец, освобождают тебя от власти имен, делая свободным и счастливым.

Те самые Небеса, иногда дающие нам возможность исправить ошибку, которую допустил когда-то Адам, отрезав нас от действительного мира никому не нужными именами, – отгородив нас от него словами и дав нам в сомнительное утешение способность складывать их в предложения, абзацы и страницы, сплетать их в книги, забивающие полки, помещения, головы, сердца и библиотеки, и все это только ради того, чтобы коснуться легких одеяний всегда убегающей от нас Истины, которая по-прежнему смеется над нашими спорами и именами, поджуживая нас еще плотнее сплотить свои ряды вокруг весьма незамысловатых истин, – например, таких – «все люди смертны» или «на два атома водорода приходится один атом кислорода», или даже «Бог есть» – тогда как все, что нам следовало бы сделать – побыстрее перестать громоздить друг на друга этот Монблан никому не нужных истин, содрать с вещей и событий их имена, не оставляя ни на одно мгновение память о том, что все эти облаченные в имена истины только мешают нам добраться до самой сути, отрезая нам путь не только к Богу и Его творению, но и к самим себе, ищущим и не находящим, плачущим и безутешным, надеющимся и полными сомнениями.

Поэтому, когда вдруг случается, Мозес, что кто-нибудь вдруг произносит у тебя за спиной твое имя, – когда вдруг кто-то скажет в предрассветных сумерках – эй, Давид, –

помни, что это означает только то, что тебя вновь хотят опутать цепями слов и смирительными рубашками имен, которые скроют от тебя Небеса и, пеленая с ног до головы, привяжут тебя к самому себе, так что тебе было бы совсем нелишним, дружок, вспомнить тогда о розе, которая приходит к тебе в своей истинности только тогда, когда с нее осыпается ее имя, оставляя нам чудо молчания, не разбавленного никакими словами, мнениями и именами.

## 39. Филипп Какавека. Фрагмент 33

«ТИХАЯ МЕЛОДИЯ. Сорок лет Бог водил евреев по пустыне, прежде чем открыть им путь в обетованную землю. Впрочем, этот удел, кажется, вовсе не такая уж и редкость на земле. Похоже, рано или поздно, если и не все, то очень многие из нас попадают по чьей-то воле в безлюдные и безводные пески, где приходится плутать в поисках пропитания, спасаться от диких зверей, прятаться от палящего солнца. Другое дело, что в отличие от маленького народа, нам это вовсе не представляется чем-то значительным или ужасным. Большинство привыкает к пустыне и остается здесь до самой смерти. – Что проку в сказках? – спрашивают они, пожимая плечами. – Не лучше ли пойти поискать воду? – И верно. Ведь в отличие от древних, нам обетованной земли никто не обещал. И значит, правы те, кто никуда не торопится и не смотрит с тоской на север, ожидая какого-то сомнительного освобождения, какого-то чудесного вмешательства, разрывающего горизонты и обращающего время вспять. Время продолжает течь здесь по-прежнему и горизонты так же незыблемы, как и тысячу лет назад. Разве пустыня имеет границы? – Жаль только некого спросить: откуда время от времени доносится эта тихая мелодия, навевающая нелепую уверенность, что лучше умереть в пути – не знаящим огляд-

ки и прямым, как стрела – чем оставаться здесь, плутая среди камней и натываясь на собственные следы?»»

## 40. Меморандум Осии

То, что Осия носился с этой мыслью уже почти полгода, знали, конечно, многие. Она пришла к нему в голову после того, как выяснилось, что в конце Сивана клиника доктора Ворвика будет отмечать свое двадцатипятилетие. Когда Осия услышал об этом, глаза его странно вспыхнули и он поинтересовался, где сейчас можно найти Мозеса.

– Да кто его знает, – сказал Габриэль, открывая свою известную всей клинике коробку со сладостями. – Где-то бегает, как всегда... Хочешь арабский леденец, Осик?

– Побереги лучше зубы, – отмахнулся Осия, убегая по коридору своей легкой походкой, широко размахивая руками, словно опасаясь опоздать к назначенному часу. Потом его сухонькая, почти детская фигурка мелькнула в конце коридора и он исчез.

– Всевышний не забывает нас, – сказал он, обнаружив Мозеса в его комнатке, где тот отдыхал после уборки. – Слышишь, Мозес?.. Только не делай, ради Бога, вид, что ты спишь. Все равно не поверю.

– Да я как будто и не делаю, – сказал Мозес, по-прежнему не открывая глаза и ожидая продолжения. Кроме него в комнатке находились еще Изекииль и Амос, которые играли в ногах у Мозеса в шахматы.

– Я собирался сказать, что Всевышний нас не забывает, – продолжал Осия, присаживаясь в ногах Мозеса и слегка подвигая играющих. – Может, Он не всегда откликается сразу на наши молитвы, но ведь, в конце концов, дело ведь, как ты понимаешь, совсем не в этом, верно?

– Это кому как, – сказал Мозес, по-прежнему не открывая глаз. – Некоторых Он не забывает довольно долго.

– И без остановки, – Амос подтолкнул в нужном направлении пешку.

– Послушайте, – и Осия нетерпеливо постучал костяшками пальцев по спинке кровати. – Если я так говорю, то для этого у меня есть, наверное, серьезные основания, ты понимаешь?.. Серьезные основания считать, что Он нас не забывает и дает нам это понять... Ты следишь, наконец?

– Вообще-то я отдыхаю, – сказал Мозес, намекая на то, что не совсем готов к серьезному богословскому разговору. – Знаешь, Ослик, многие люди, хорошо потрудившись, нуждаются в отдыхе. А другие, которые ничего не делают, им мешают... А откуда ты знаешь, что это действительно серьезные основания?

– Можешь не волноваться, – Осия снисходительно усмехнулся. – Уж, наверное, знаю.

– Понятно, – Мозес открыл, наконец, глаза и вопросительно показал пальцем на потолок.

– В том-то и дело, – сказал Осия. – Поэтому мне кажется, будет лучше, если я поставлю вас в известность.



– Ну, не знаю, – Мозес зевнул. – Спроси вон у Иезекииля, если хочешь.

– Или у Амоса, – захихикал Амос.

– Объясни, наконец, толком, что случилось, – не выдержал Иезекииль.

– Между прочим, такое случается раз в сто лет, – сказал Осия, ожидая, что по крайней мере это произведет на присутствующих должное впечатление. Однако этого не произошло.

– Осия, – сказал Иезекииль, – Если ты хочешь удивить нас тем, что мы живем на помойке, из которой тоже иногда можно увидеть солнце, то мы в курсе. Нельзя ли поэтому поближе к делу, милый?

– Конечно, можно, – несколько высокомерно сказал Осия, доставая из кармана свернутую в трубочку синюю тетрадь. – И хоть такое важное дело, как это, не очень терпит спешки, но, если уж вы так торопитесь...

– Нечего, что мы сидим? – спросил Амос.

– Ничего, – и Осия раскрыл тетрадь.

– Спасибо, – сказал Амос. – А то мы могли бы пойти помыть сначала руки.

– И пол, – добавил Мозес, вспоминая, что его пол давно уже никем не мыт.

– Слушайте меня внимательно, – сказал Осия, не обращая внимания на хихиканье Амоса. – Можете мне не верить, но только это все мне открыли сами Небеса, хоть я ни о чем

таком никогда их не просил.

– Это на них похоже, – заметил Мозес.

– Меморандум, – торжественно сказал Осия так, как будто одно это слово могло легко объяснить все происходящее. – Если только вам, конечно, это что-нибудь говорит.

Он посмотрел по очереди на всех присутствующих и, не дождавшись ни одной реплики, сказал:

– Пока не начались торжества по случаю годовщины нашей клиники, мы должны выпустить Меморандум.

Присутствующие одарили Осию сочувствующими взглядами.

Затем Иезекииль спросил:

– Зачем?

– Затем, что это меморандум, – объяснил Осия, стуча ладонью по раскрытой тетради. – Вы хоть знаете, что это такое?

– В общих чертах, – неуверенно протянул Иезекииль. – Конечно. Ты ведь в курсе, Амос?

– Еще бы, – Амос расплылся в улыбке. – Ты что, Ослик?.. Все знают, что такое меморандум.

– Меморандум, – сказал Осия, глядя в сторону, словно стыдясь, что ему пришлось воочию убедиться в таком вопиющем невежестве. – Это такой документ, в котором в сжатой форме излагаются основные принципы нашей жизни и пути их достижения.

Амос уважительно присвистнул.

– В сжатой форме, – усмехнулся Иезекииль, нарисовав пе-

ред собой в воздухе женскую фигуру. – Вы слышали? Надеюсь, это не такая форма, какая ходит по нашему коридору и называет себя Эвридикой?

Напоминание об Эвридике заставило Амоса быстро сделать не совсем приличный жест.

– Не такая, – сказал Осия и выразительно посмотрел на Амоса.

– Тогда почему бы тебе просто не остановиться на десяти заповедях? – подал голос Мозес, который сразу отнесся к затее Осии с большой долей скептицизма. – Нет, в самом деле, Ослик. Мне кажется что-то, а божественный Меморандум в десять заповедей еще никто не отменял.

– Кроме Осии, – сказал Амос и негромко заухал.

– Не говори глупости, – сказал Осия. – Вы что, не понимаете, что это совсем разные вещи?

– Конечно, – кивнул Амос. – Потому что для тебя это, наверное, слишком расплывчато. Написано – не убий, но ничего не сказано о том, чем, за что и кого... Кому, в самом деле, может понравиться такая подозрительная расплывчатость?..

– Меморандум, – продолжил Осия, повышая голос, – есть свободное изъяснение требований и принципов. Мы должны выразить свое отношение и, тем самым, заставить мир тебя выслушать и притом – для его же пользы.

– Зачем? – спросили одновременно Иезекииль, Мозес и Амос.

– Я же сказал – для его пользы, – повторил Осия.

– А нам-то какое дело? – Иезекииль задумчиво переставил фигуру. – Тебе скоро мат, – сказал он Амосу.

В карих глазах Осии зажглись золотые искры, как это бывало всякий раз, когда его посещало вдохновение. Все знали, что в такие минуты лучше всего было держаться от Осии подальше.

– Этот ужасный мир, который мы видим каждый день, – глухо сообщил Осия, кивая головой в сторону окна, за которым, впрочем, вполне миролюбиво пока еще сияло солнце. – Этот мир, который давно уже потерял верное направление и который не желает слышать наши голоса... Неужели вы серьезно думаете, что он никогда не проснется?

– Еще чего, – сказал Амос, морща лоб и упершись взглядом в шахматную доску. – Мертвые, слава Богу, не просыпаются.

Его поддержал Иезекииль.

– Вот именно, – он поднял над доской шахматную фигурку. – Они пахнут, это случается. Пахнут и говорят глупости. Но чтобы проснуться?.. Спроси у Моисея, если не веришь.

– А может быть, они такие именно потому, что мы не делаем никаких усилий, чтобы их разбудить? – сказал Осия. – Мир не слышит нашего голоса, вот в чем наше несчастье.

– А мы, слава Всевышнему, не слышим его, – сказал Иезекииль.

– И слава Всевышнему, что не слышим – подтвердил Амос. Потом он выругался и добавил:

– Я проиграл из-за твоего Меморандума, Осик.

– Не думаю, – Осия бросил взгляд на шахматную доску.

– Если говорить про меня, – сказал Иезекииль, скидывая шахматные фигурки в коробку, – то лично мне нечего сказать этим болванам, которые почему-то считают, что их тоже создал Всемогущий, в чем лично я сильно сомневаюсь.

Осия вновь строго посмотрел на него. Золотые искры метались в его глазах, словно стрекозы над вечерней водой.

– Ты будешь говорить совсем не болванам, – сказал он, не мигая глядя на Иезекииля. – Ты будешь говорить людям, Иезекииль. Раз у тебя появилась такая возможность, неужели ты вот так просто возьмешь и скажешь, что тебя это не касается? А что если это Всевышний дает тебе последний шанс? Или ты забыл про Иону? Ты что же, тоже побежишь от Него, потому что у тебя найдется куча соображений насчет того, как лучше исправить слова Всемогущего?.. Или ты думаешь, что если вокруг гниет целый мир, то тебе удастся отсидеться чистеньким в своей палате?

Он замолчал, продолжая в упор смотреть на Иезекииля.

– Ну, хорошо, – сказал тот, делая вид, что его совершенно не беспокоит неподвижный взгляд Осии. – Допустим, ты прав, и Всевышний ожидает от нас, что мы изложим все, что требуется, в этом самом Меморандуме. Допустим. Но только зачем нам, скажи на милость, потом выставлять все это на всеобщее обозрение, вот чего я не могу понять? Зачем?

– Затем, что Бог тоже обнародовал Свой Меморандум за

шесть дней. Ты, наверное, забыл, что Он не стал скрывать его или запирать в ящик и говорить – зачем мне его показывать, если Я могу просто держать его в ящике стола, оберегая от всех этих любопытных дураков, которые только загадят его и захватают своими грязными руками!

– Что, как мы видим, и случилось, – сказал, наконец, Мозес, на что Осия ответил:

– И все равно, несмотря ни на что Тора учить нас надеяться на лучшее.

Огненные искры в его глазах, казалось, сейчас обернуться вспышками молний.

Первым, наконец, сдался Иезекииль.

– Может быть, в этом что-то есть, – сказал он, глядя на Мозеса. – Во всяком случае, это лучше, чем те два идиота из пятого отделения, которые умудрились повесить на крыше плакат с голой Лопес.

– Определенно лучше, – согласился Амос и тоже посмотрел на Мозеса. – А ты что думаешь, Мозес?

– Как всегда, – сказал Мозес. – Чего тут думать? Если это действительно от Небес, то, может что-нибудь и получится.

– Ты это про Лопес? – спросил Амос.

– Нет. Я про Меморандум.

– Конечно, получится, – обрадовался Осия. – У нас есть еще почти три месяца. Я точно не знаю, но, кажется, праздник будет двадцать пятого.

– Это будет кошмар, – сказал Мозес, садясь на кровати. –

Сто гостей. Они будут сорить, пачкать и топтать нашу траву.

– И рвать цветы, – добавил Амос.

– Об этом и говорить нечего. В прошлый юбилей они сорвали все сицилийские маки, а я, между прочим, выписал их из Италии и притом на собственные деньги.

– Не знал, что ты такой злопамятный, – сказал Иезекииль.

– Если мы успеем познакомить их с нашим Меморандумом, – продолжал Осия, – никто из них не сорвет и травинки. Можете мне поверить.

– Что-то сомневаюсь, – покачал головой Мозес.

– Если вы не против, то мы назовем его «Меморандум Осии», – сказал Осия, пропустив мимо ушей реплику Мозеса и немного смущаясь и одновременно радуясь, как ребенок, получивший давно обещанную игрушку. – Надеюсь, никто не будет против?

– Никто, – вздохнул Мозес.

– Тогда имейте в виду, что любой, у кого есть что-нибудь стоящее вот тут, – Осия постучал себя по лбу, потом подумал и постучал еще раз. И так как это ему, по-видимому, понравилось, постучал еще и в третий, после чего сказал:

– Любой, у кого тут что-нибудь есть, может беспрепятственно внести в него свои замечания и дополнения. И он может быть уверен, что они ни в коем случае не пропадут.

– Понятно, – сказал Амос.

Трудно было спорить – «Меморандум Осии», это звучало. Скорее всего, это было похоже на название большого воен-

ного корабля или на ритуальную пляску меднокожих, вступающих под грохот барабанов на тропу войны. Сначала Осия немного стеснялся называть Меморандум своим именем, но потом привык и сам стал называть Меморандум не иначе, как «Меморандум Осии», подобно тому, как в истории оставались навечно поименованные известными именами ноты, декларации или петиции, например декларация Бальфура, или нота Ллойд-Джорджа, или множество других документов, среди которых «Меморандум Осии» выглядел, ей-богу, ничуть не хуже.

«Когда мы обнародуем Меморандум Осии», – говорил он, похлопывая ладонью по голубой тетрадке, куда записывались все, что имело отношение к задуманному, – или – «Когда Меморандум Осии станет известен широкой общественности» – или даже – «Когда Меморандум Осии положит начало новым отношениям», – и все это, ей-богу, звучало ничуть не хуже, чем предвыборная речь президента или сообщение медсестры об отмене процедур.

Но в тот первый день Осия еще немного стеснялся и поэтому называл Меморандум Осии просто Меморандумом, что, в общем, тоже было совсем неплохо. И, пожалуй, даже производило известное впечатление своей простотой и демократичностью, которые тоже на дороге просто так не валяются. Просто Меморандум, Мозес. Этаким скромный и немного запачканный листочек бумаги, который мог бы, при удачном стечении обстоятельств, оказать огромное влияние на



жизнь и судьбы миллионов благодарных собратьев.

– Ну, и кто из вас первый? – Осия обвел всех взглядом, доставая из нагрудного кармана ручку. – Что скажешь, Иезекииль?

– Можно написать, что у нас на обед почти никогда не бывает рыбы, – сказал Иезекииль и взглянул сначала на Моисея, а потом на Амоса, как будто намекая, что было бы совсем неплохо, если бы они поддержали его инициативу.

Однако Осия посмотрел на него с явным сожалением.

– У нас все-таки не жалобная книга, мне кажется, – сказал он, для чего-то показывая на свою голубую тетрадь. – Писать надо кратко и по существу.

– Какой же смысл заводить Меморандум, если мы не можем даже пожаловаться? – искренне удивился Иезекииль.

Осия посмотрел на него со снисходительной мягкостью.

– Некоторые люди, – сказал он, демонстрируя, что иногда ему нравилось подпустить тумана в самые простые вещи. – Некоторые люди, к сожалению, не отличают высокого от обыденного, а это, уж поверьте мне, может иметь для всех нас весьма печальные последствия.

Скорбная интонация, с которой это было сказано, не оставляла сомнения, что упомянутые *некоторые люди*, возможно, вполне могли находиться даже здесь, среди присутствующих в комнатке Моисея.

– Что значит – некоторые? – спросил Иезекииль, он уже был готов обидеться. – Я только спросил, почему бы нам не

совместить приятное с полезным?

Осия ответил, не задумываясь, словно он давно был готов к этому вопросу:

– Когда Бог создавал этот мир, у Него и в мыслях не было совмещать приятное с полезным, потому что Он создавал то, что был должен создать. В отличие от Самаэля, который хотел, чтобы Бог сотворил нечто приятное, забывая, что только исполненный долг приносит нам подлинную сладость и удовлетворение, делая нас ближе Всемогущему, о чем, я думаю, и так всем хорошо известно.

– Еще бы, – сказал Моисей, впрочем, не слишком громко и без вызова, давая тем самым понять, что не желает вновь вступать в какой бы то ни было богословский диспут.

– Между прочим, в рыбе много фосфора, – Иезекииль не желал сдаваться.

– Мы говорим о принципах, а не о фосфоре, – не желал уступать Осия. – Вот если бы мы писали поваренную книгу, тогда, конечно, другое дело.

– Тогда мы можем написать, что свободный человек ни о чем так мало не думает, как о своем обеде, – съязвил Иезекииль. – По-моему, это похоже на принцип.

– Это уже было, – сказал Амос, у которого, ко всем прочим достоинствам, была отличная память. – Я читал это в какой-то газете. Там говорилось, что настоящий гражданин ни о чем так мало не думает, как о своей выгоде. В принципе это ведь одно и то же. Мы ведь не можем повторять то, что

уже было?

– Ты тоже так думаешь? – спросил Осия, глядя на Мозеса

– В принципе, – сказал Мозес, чувствуя в голове необыкновенную пустоту. – Отчего же... Во всяком случае, иногда...

– Я думаю, что нет никаких причин избегать вещей, которые уже были когда-то и кем-то сказаны, если они не противоречат общей идее, – не дослушав, отчеканил Осия.

– Именно это я и хотел сказать, – сообщил Мозес.

– Тогда я предлагаю вот что, – сказал Осия. – Тише, вы... Мозес!.. Я предлагаю первым пунктом Меморандума сделать тот, по которому каждый человек имеет право обнаруживать свое мнение на страницах Меморандума или в любой другой удобной для него форме, не оскорбляющей нравственное чувство окружающих. Это будет как бы вступление. Любой человек имеет право высказать свое мнение в любой удобной для него форме, в любое время и в любом месте ...

– Например, на нашем заборе, – усмехнулся Амос.

– Где угодно, – Осия сделал вид, что не заметил насмешки.

– Или на стене, – продолжал Иезекииль. – Особенно, если большими буквами.

– Все согласны? – спросил Осия, проявляя чудеса терпения.

– Нет, – сказал Амос. – Мне кажется, что это было бы не

совсем справедливо. Почему мы должны давать голос только тем, кто считает, что каждый имеет право высказать свое мнение? Между прочим, есть люди, которые так не считают. Значит, мы нарушим их право высказывать свое мнение, а это уже дискриминация в чистом виде. Поэтому, – продолжал он, поднимая руку, – следует включить пункт, который разрешал бы каждому не высказывать своего мнения. Ну, что-нибудь вроде того, что каждый человек имеет право на молчание.

– Прекрасно, – сказал Осия. – Так и запишем. Каждый человек имеет право на молчание.

– И на крик, – сказал Мозес, следуя за странными поворотами своей мысли.

– И на крик, – согласился Осия, записывая предыдущее предложение. – Ты имеешь в виду что-нибудь определенное, Мозес?

– Я имею в виду, что у нас у всех время от времени случается необходимость покричать, – сказал Мозес. – Но многие этого стесняются, как будто в этом есть что-то плохое. Мне кажется, они думают, что когда тебе плохо, то надо сжать зубы и изображать из себя Муция Сцеволу, тогда как на самом деле надо просто набрать побольше воздуха в легкие и заорать... Иногда, – продолжал он, слегка помедлив, – мне кажется, что Небеса вообще отвечает только на крики.

– Бог вообще-то не глухой, – возразил Амос.

– Когда мы не кричим, – Мозес попытался выговорить ка-

кую-то забрезжившую вдруг перед ним мысль. – Когда мы не кричим, тогда мы вроде как сами становимся Его глухотой, которая ничего не слышит до тех пор, пока мы не откроем рот и не начнем орать...

Кто как умеет, сэр. Громко, истошно, оглушительно, невыносимо, неприлично, вызывающе, негармонично, некрасиво, безнадежно, злобно, презрительно или жалобно – кто как умеет, Мозес, в зависимости от охватившего тебя отчаянья или сердечной скорби, распугивая всех тех, кто еще не научился пугаться.

– Понятно, – произнес Амос, после чего на несколько мгновений в комнате повисла тишина.

– Давайте все-таки вернемся к Меморандуму, – мягко сказал, наконец, Осия, давая понять, что теологические прыжки, конечно, достойны всяческого уважения, однако не следовало бы забывать и о текущих делах, тем более таких важных, как будущий Меморандум Осии.

В тот первый день, если не изменяла память, Иезекииль внес пункт, согласно которому евреем может считаться всякий хороший человек, будь он хоть негром, турком или японцем. Сам Иезекииль обосновал это тем, что еврей – это, в первую очередь, не национальность, а состояние души, своего рода парение, которое может отыскать в глубине своего сердца всякий человек, чем вызвал недовольство Амоса, который, в противовес точке зрения Иезекииля, внес, в свою очередь, пункт, согласно которому евреем может считаться

только тот, кому Всемогуший оказал особое расположение, тогда как всем остальным еще только предстояло доказать свое еврейство, ожидая, когда Всемогуший соизволит, наконец, постучать в их двери.

– Ну, и как же мы узнаем, кому Всемогуший оказал особое расположение, а кому нет? – поинтересовался Мозес.

– А никак, – невозмутимо ответил Амос, еще больше запутав вопрос. – В конце концов, – добавил он, – это касается только того, кому Всемогуший оказал Свое расположение – и больше никого другого.

На вопрос же – зачем в таком случае надо заносить это в Меморандум, Амос деликатно промолчал и лишь слегка пожал плечами, что вероятно означало – такие затруднения лучше оставить на усмотрение самого Всемилоостивого, который, уж конечно, легко разберется с ними сам.

Возможно, так оно и вышло, потому что спустя месяц или около того Меморандум уже выглядел как солидная и довольно сильно потрепанная тетрадь с загнутыми углами, из которой торчали во все стороны всевозможные листочки с записями, претендовавшими на то, чтобы войти в основной текст.

Разумеется, число сентенций, которые начинались со слов «Каждый человек имеет право...» – как и следовало ожидать, было подавляющим. Тут можно было найти самые разнообразные мнения, которые порой не только не согласовывались друг с другом, но и запросто друг другу противоре-

чили, не оставляя, на первый взгляд, никакой надежды привести их когда-нибудь к какому-нибудь общему знаменателю. Например, предложение тихого и безымянного старичка со второго этажа, «Каждый человек имеет право изображать лошадь», мирно соседствовало с мнением Попондопулоса из третьего отделения, согласно которому изображать лошадь возможно только заручившись ее согласием, а восторженному возгласу старого социал-демократа, который никогда не выходил из своей палаты «Каждый человек обязан знать, что все люди – братья», язвительно противостояло мнение арабоненавистника Лоло, который утверждал, что хоть все люди и братья, но многие из них, к счастью, все-таки остаются двоюродными, то есть такими, на которых ни в коем случае не распространяется вся полнота родственной любви.

Особое место в Меморандуме, естественно, занимала женская тема. Здесь тоже была поначалу приличная неразбериха, но хоть противоречия и встречались здесь на каждом шагу, в целом, общие впечатления об этой стороне жизни было все-таки в чем-то схожи и сводились к мнению Амоса, который высказался по этому поводу в трех разных афоризмах. Афоризмы эти были такие: «Все бабы дуры» и «Все бабы суки». При этом он попытался в очередной раз кратенько рассказать историю своих взаимоотношений с противоположным полом, на что стыдливый Осия заметил, что, насколько ему известно, Истину это вряд ли сможет заинтересовать в силу ее бесполой природы.

– Тогда, – сказал Амос, – она тоже дура.

Между тем, скоро выяснилось, что затеянное Осией дело, вполне оказалось ему по плечу. Страсть к систематизации, к которой он всегда был склонен, дала при его хорошей памяти прямо-таки сногшибательные результаты. Так, например, скоро стало ясно, что, пользуясь какой-то своей методикой, Осия не только помнил все, что было расписано в Меморандуме по тем или иным темам, но и то, кому принадлежали те или иные сентенции, безошибочно помня имена авторов всех этих «не собирайся толпой» или «каждый человек имеет право не уступить христианину дорогу» – и все такое прочее, что он аккуратно записывал в маленькую синюю тетрадку, под определенным номером, рядом с которым – чтобы не было никаких недоразумений – писалось в скобочках имя того, кому принадлежало предложение, например «Мозес» или «Иезекииль» и еще число, так что предложенное тем или иным автором ни в коем случае не могло ни затеряться, ни быть перепутано с чем-нибудь другим. Что же касается противоречий во мнениях, без которых, естественно, было не обойтись, то оказалось, что они каким-то странным образом действительно не только совсем не мешали друг другу в пространстве Меморандума Осии, но наоборот, поддерживали и дополняли друг друга, словно намекая на то, что в глазах Всемогущего любые противоречия легко обращаются в свою противоположность и не являются препятствием для серьезного разговора. В качестве примера



можно было привести номер сто одиннадцатый, под которым шло предложение Мозеса, настаивающего на том, что не может являться преступлением любить свою истину сильнее, чем истину соседа, тогда как номер девятнадцать, принадлежащий Амосу, твердо и решительно объявлял всякий плюрализм – дерьмом, годным лишь для того, чтобы вводить нас в заблуждение, тогда как загадочный Фабрициус Гойя из пятой палаты утверждал, напротив, что по воле Божьей в мире обретается столько же истин, сколько блох, – и все это ни в коем случае не казалось ни лишним, ни уличенным в постыдной непоследовательности, словно оказавшись вдруг в едином пространстве Меморандума, все эти разнообразные точки зрения вдруг потеряли свою непримиримость и начали жить какой-то совсем другой жизнью, чем они жили до того, как прибились к голубой тетрадки, сплетая все вместе какой-то новый, неслыханный и невиданный мир, в котором каждое суждение с благодарностью отражало все прочие, отнюдь не покушаясь при этом на их истинность и свободу.

Как заметил однажды сам Осия, столкнувшись с каким-то вопиющим на первый взгляд противоречием:

– В конце концов, Небеса сотворили мир совсем не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство.

Как-то в конце дня, когда солнце уже цеплялось за верхушки старого кипариса, за две недели до торжественного дня, Осия объявил, что Меморандум Осии готов и что если кто-то еще желает внести в него какие-либо дополнения или

изменения, то он может сделать это сегодня до первой звезды.

Голубая тетрабочка, с которой он в последнее время никогда не расставался, лежала перед ним на столе, загадочная и все еще безмолвная, но уже готовая открыть всему миру спрятанные в ней сокровища, наподобие того, может быть, уже не столь далекого часа, когда камни Иерусалима услышат в ранних утренних сумерках шаги еще никем не узнанного Машиаха...

## 41. Рай или что-то вроде этого

...А между тем, что такое Рай, Мозес? (Посмотрим-ка, как ты сумеешь ответить на этот вопрос, дурачок.) Не назвать ли мне его Совершенным Обладанием? Или Утоленной Жаждой? Погрешу ли я тогда против истины, Мозес? Конечно, о чем бы мы ни судили, мы судим по аналогии, даже если речь идет о Божественном. Мы привязаны к земле, Мозес, и плаваем в этой жизни, как рыбы в океане, – откуда нам знать, что происходит там, на берегу? И все же: если рыба взыскует о берегу и ищет его, не покладая рук, не значит ли это, что она ищет свое, а не чужое? Не так ли обстоит дело и с нами, дружок, когда мы думаем о Рае, называя его Совершенным Обладанием или Утоленной Жаждой? Не своего ли мы ищем тогда, как умея, облакая его до времени в слова и представления? Что нам до чужого, Мозес! И существует ли оно вообще, это чужое, не вымысел ли оно, способный лишь отвлекать наше внимание? Разве не все принадлежит нам, пусть даже многое из этого принадлежащего подобно дурному сновидению? Из чего же еще состоит наша жизнь, как ни из жажды и обладания, власти и желаний? Знаем ли мы что-нибудь другое, кроме этого?

– Что-нибудь другое, Мозес?

– Что-нибудь другое, сэр. Разве не поэтому называю я Рай

Совершенным Обладанием и Утолением Жажды?.. Ведь все, что мы находим здесь, мягко говоря – несовершенно и подобно сну, – но не походит ли и сам этот сон на отблеск реальности? Мы убегаем от несовершенного, но не значит ли это, по крайней мере, что мы знаем, что хотим владеть совершенным и всегда желанным? Ошибусь ли я, если скажу, что то, что мы называем несовершенством, служит лишь тому, чтобы расширить границы нашей жажды, – совершенное же растет и множится по мере обладания, ибо само оно есть не что иное, как это обладание?

– Так, кажется, учат и Святые Отцы, Мозес, заверяя нас, что зло есть только недостаток добра.

– Что же, если это так, то я готов называть Рай добром, а нашу жажду – злом, правда, в том смысле, что ее несовершенство служит только для того, чтобы направлять нас к обладанию лучшим. Да, разве сам этот мир не сотворен только затем, чтобы его Творец мог наслаждаться, обладая им? Снедала ли Его жажда или же Он сам измыслил эту жажду, чтобы обрести желаемое – откуда мне это знать, Мозес? Все что я знаю, дружок, это то, что Божественное – это то же самое, что и желанное. А то, что желанно, может ли оно быть лишено желаний, когда его желают? Скажи-ка, Мозес, не есть ли обладание – осуществленное желание и завершение пути, и не будет ли правильным назвать совершенное обладание Раем? Разве дело обстоит не так, Мозес? Разве сам я – не одно сплошное желание, всегда равное самому себе, не важно,

желаю ли я укрыться в тени или алчу познания последнего? Не ищущ ли я всякую минуту обратить мои желания в то, что они желают?

– Лучше приведи-ка нам подобающий этому пример, Мозес.

– Охотно, сэр... Когда я иду сейчас по этому коридору, глядя за окно на зеленеющие внизу газоны больничного двора, не обладаю ли я своим собственным взглядом и этим идущим телом, не жажду ли я обладать ими всегда – и завтра, и спустя вечность?.. О, Мозес! Не желаю ли я владеть сегодня на завтрак гречневой кашей с молоком и кофе с гречками? Не ради ли этого спешу я сегодня, предвкушая? Разве не стану я властвовать тогда над тем и над другим, я – Повелитель молока и Властелин гренок? Как бы кратко не было мое владычество, не несет ли оно на себе печать вечности, не благоухает ли ароматом райских садов, милый?.. Ах, Мозес! Совершенного жажду я – кто обвинит меня в том, что моя жажда чрезмерна? Кто скажет: ты рехнулся, Мозес. Или: не много ли ты берешь на себя, дурачок? Или даже: неужели ты позабыл, что только больной душе свойственно стремиться к невозможному, как учили нас все те же святые отцы и учителя?..

– Хочу обратить твое внимание, Мозес на то, что только больной душе, между нами говоря, свойственно стремиться к невозможному.

– А разве к невозможному стремлюсь я, сэр? Разве есть

что-то по ту и по эту сторону, что можно было бы назвать невозможным? Не само ли Совершенство призывает меня к обладанию им, и неужели есть что-нибудь невозможное там, где властвует Совершенство? Разве не оно жаждет обладать мною ничуть не меньше, чем жажду его я сам?

– Надеюсь, что ты еще не утомился от своих вопросов, Мозес.

– Я перестану задавать их, сэра, не прежде, чем они сами перестанут задавать меня, утомившись своей властью надо мною. Вот почему я спрашиваю сегодня, оставив в стороне всякую стыдливость, не рождается ли этот мир из Жажды, и не правильно ли будет назвать его тенью Совершенного Обладания?.. И ведь верно, Мозес: разве его очертания не колеблются, словно воздух над горячей пустыней? Скажу ли я тогда, что они только грезятся мне? Да хоть бы это было и так, сэра. Разве не для того эта жажда рождает грезы, чтобы они воплотились в реальность? Не в этом ли ее, мягко говоря, Замысел, сэра? Разве миражи возникают по своей собственной воле? А путь сна – не есть ли вместе с тем и путь к яви? Кому же дано тогда уберечься от этой жажды, ведущей нас в сторону райского совершенства? Разве не ощущаем мы в своей глубине это вечное беспокойство и томительную жажду без конца и края? Не обладание ли обещает мне утоление желаемого, и не оно ли видится мне исходом моей тревоги?

– Ты красноречив, словно ярморочная пифия, Мозес.

– Но только потому, что того требует обсуждаемый предмет, сэр. А он как раз требует знать, не на всех ли путях наталкиваюсь я на этот путь? И отказываясь от всего, разве не отказываюсь я ради другой, большей награды, чтобы обладать ею, этой желанной? А если я отказываюсь ради самого отказа, то не этим ли отказом надеюсь я владеть, как величайшим богатством, сэр? И не жажду ли я, спасаясь от жажды, быть хозяином этого спасения?.. О, как бесконечно трудно стать нищим, Мозес! И разве не нищетой назовем мы порок, превосходящий все прочие пороки? Разве мир сотворен для нищеты, Мозес? Спрашивать об этом – все равно, что спрашивать, не сотворен ли я для смерти. Что ж, разве не к совершенству призван мир? И не жаждой ли изнурен он, словно больной в лихорадке? Поэтому, не прав ли я был, говоря, что в мире нет ничего, кроме жажды обладать и самого обладания? Посмотри вокруг внимательно и без предубеждения: разве это не вещи, изнывая, жаждут меня ради меня самого? Не ищут ли они меня с рассвета и до заката, не спешат ли мне навстречу, радуясь, заслышав мои шаги? Не тоскуют ли, когда я оставляю их? Не видят ли меня в своих снах? Не страдают ли моим немощам и печалям? И разве не то же испытываю к ним и сам я, жаждущий и ждущий?.. Как часто доводилось мне слышать от госпожи С.: «Мозес, кажется, вы опять намерены погубить мое ситечко». Или: «Не вздумайте выбросить это блюдо, Мозес, мы склеим его и оно будет, как новенькое». Какое не подда-

ющеся описанию множество убогих вещей хранилось в ее кладовке, – все эти прохудившиеся кастрюльки и чайники, крышки и пробки, поломанные и тупые ножи и спицы, треснувшие стаканы и чашки с отбитыми ручками, потерявшие форму сумки и облысевшие зубные щетки, – Боже правый! Не была ли она права, собрав под своей крышей весь этот паноптикум, всю эту армию калек, этот никем не воспетый адский круг? Была ли она права, Мозес? Разве не чувствуем мы странного беспокойства, выбрасывая сломанные или отслужившие свой век вещи? И сострадав вещам, не сострадаем ли мы, тем самым, самим себе? Не придут ли они просить за госпожу С. в день Страшного Суда, все эти облысевшие щеточки и треснувшие мыльницы? И не будут ли они свидетельствовать против тех, кто погубил их, – этот океан разбитых, порванных, износившихся и проржавевших?

– Страшную картину нарисовал ты, Мозес, – дырявые носки, свидетельствующие против своего владельца!

– Что же, спрошу я, разве не в праве они свидетельствовать? Не ждали ли они другого? Не стремились ли навстречу тому, кто обладал ими? И ни в этом ли обладании заключалась их последняя надежда?

– Ты полагаешь, что в этом есть хотя бы капля смысла, Мозес?

– А разве нет, сэр. Разве вещи не жаждут спасения точно так же, как жаждем его мы сами? И не в нас ли они находят его отблески? Что же получают они взамен? И что получаем



мы, Мозес? Не отворачиваюсь ли я от самого себя, когда отворачиваюсь от них, и не себя ли самого выбрасываю в мусорное ведро, выбрасывая их?

– Не чересчур ли ты глубоко копаешь, Мозес?

– Рассудим здраво и непредвзято, сэр. Не стремятся ли вещи обладать мною так же сильно, как и к тому, чтобы я обладал ими? Не в этом ли чую я начало завершения пути? Разве не обращал ты внимания, Мозес? Или книга, которую ты читаешь, не делает того же с тобою, перелистывая тебя страница за страницей и отмечая галочками понравившиеся места? А гречневая каша, не жаждет ли она тебя, чтобы насытиться тобою до отвала? Что же говорить о Совершенном Обладании, которое не знает изъяна? Не само ли оно понуждает меня желать его, желая его больше, чем самого себя?.. Порой мне кажется, что это-то и есть настоящее чудо: владеть чем-то, превращая его в свою собственность и самому превращаться в собственность того, чем владеешь. Впрочем, разве Рай – не место чудесного, сэр?

– Мне кажется, ты отвлекаешься, Мозес.

– Нисколько, сэр. Тем более что мне кажется – наконец пришло время ответить на вопрос: что же ищущу я в этом обладании – только ли то, чем обладаю или гораздо большее, чем оно? Не самого ли себя ищущу я в нем, совершенного, как само совершенство? И разве обладать чем-то – не значит ли обладать самим собой? Отчего бы иначе мы стали так стремиться к другому, сэр, – неужели только затем, чтобы обре-

сти это сомнительное другое? Не вернее было бы признать, что жажда другого есть жажда самого себя и, говоря об обладании, не подразумеваем ли мы и нечто другое? Не есть ли это обладание только другое обозначение бодрствования, которое своим бодрствованием обретает весь мир? Разве не есть оно то же, что и рождение? Разве бродя среди теней, не теряю я самого себя, обращаясь в тень, тогда как не другое ли встречаю я на путях обладания – не самого ли себя встречаю я здесь? И не в этом ли его непрекращающаяся радость и чудо? Ведь если верно то, что говорится в отношении Творца (если не обманывают Мейстер и Ангелиус), то не будет ли это справедливо и по отношению ко мне? Не творю ли я себя через обладание другим, и не эта ли жажда прокладывает мне путь и служит инструментом, подобно тому, как кисть служит художнику, а резец – скульптору? Не окажется ли поэтому совершенное утоление жажды совершенным обладанием самого себя как Совершенного? Так не это ли нахожу я уже здесь, странствуя среди вещей и слов?

– Так вот оно в чем дело, Мозес.

– Именно в этом, сэр. Разве не чувствую я в каждой из этих вещей смутный отблеск будущего утоления и обещанной встречи? Не меня ли, Совершенного, ожидают они, чтобы вручить мне свое совершенство, полученное из моих рук? И не я ли надеюсь окунуться в их совершенное совершенство, чтобы найти там самого себя? Что ж, – говорю я сам себе, – разве не полны мы напряженного ожидания – я, так же,

как и они, и они – так же, как и я? Мы всматриваемся друг в друга, подобно тому, как полная Луна смотрится в безмолвные воды ночного озера и узнает в нем себя. Тогда кажется, что уже близко время вечности, и я вспоминаю, как в детстве, когда родители приводили меня в Музей, мне часто доводилось испытывать нечто подобное, остановившись перед каким-нибудь лиможским кубком, или японской шкатулкой, вырезанной из кости, или миниатюрой, изображавшей рыцарский поединок, – так, словно я уже не мог ощутить различия между собой и этими совершенными линиями и красками, которые совсем не были чем-то застывшим и лишенным движения, хотя мне и чудилось в эти мгновенья, что время остановилось... О, Мозес! Разве в состоянии ты передать это волшебное движение вечности, когда вещь не пребывает в безмолвном оцепенении, но словно раскрывается тебе навстречу, преодолевая свой косный материал, исчерпывая себя в этом раскрытии до последней глубины и не оставляя никакой почвы для холодных, отвлеченных суждений! Сказать ли, что вещь есть свое собственное дыхание, или свой собственный смех? Или, быть может, свое собственное желание? Не жаждут ли они, в самом деле, сами себя, подобно тому, как жажду себя я сам? И не мое ли это дыхание смешивается с их дыханием, не свой ли собственный смех различаю я тогда в их смехе? Скользя взглядом по этрусской вазе, где парящий над морской бездной герой пронзает копьем чудовищного осьминога, – не чувствовал ли я тогда се-

бя вместе с этой вазой – и парящим героем, и морским чудовищем, и даже сетью тонких трещин, покрывающих ее лаковую поверхность? Не чувствовал ли я себя также и чем-то большим, чем все это? Большим даже, чем я сам, стоящий возле этой вазы и скользящий взглядом по ее поверхности?

– Ты вновь ходишь по краю, Мозес. Не страшно ли тебе прикасаться к тому, чему нет названья?

– Еще как страшно, сэр. И тем не менее, я позволю себе спросить: не больше ли ваза того, что изображено на ее стенках? И не больше ли мир любой вазы, как бы прекрасна она ни была?.. Что же, спрошу я дальше: не больше ли он, чем Музей? Не войду ли я в него, как в самого себя, не стану ли я для себя тем же, что и ваза для рисунка, или мир для вазы? Не того ли и ищу я, скрывая это от самого себя?..

– Сдается мне, что ты уже совсем рехнулся, Мозес! Уж не хочешь ли ты сказать, паршивец, что ты и есть Рай для самого себя? Не кощунствуешь ли ты вновь, забыв всякие границы, словно это не тебе довелось увидеть сегодня раскрывшуюся Бездну и Небесную Рыбу, объявшаую горизонт и с той, и с этой стороны?

– Как это ни прискорбно, сэр.

– Раскинувшуюся и под ногами, и над головой?

– Истинная правда, сэр.

– Так что же ты видел, черт тебя подери, Мозес?

– Чудовище, сэр. Чудовище, готовое перемолоть запутавшуюся в шторах плоть. Вот что довелось мне сегодня видеть,

да еще, так сказать, видеть воочию...

– Воочию, Мозес?.. А разве не хотел бы ты поскорее отгородиться от этой Бездны? Забиться от нее в какую-нибудь щель? Бежать, сломя голову, не разбирая дороги? Спрятаться? Исчезнуть? Раствориться – в надежде отдалить неизбежное? Вот только далеко ли ты убежишь, когда она вспомнит о тебе, Мозес? Или, может быть, тебе напомнить ее имя? Ведь «Бездна», – как ты ее называешь – это всего лишь жалкий эвфемизм и образ твоих смутных чувств, тогда как ее подлинное имя есть Истина, Мозес!

– Похоже на то, сэр, не спорю.

Еще как похоже, Мозес... А ведь это значит, что ты смотришь своими трусливыми глазами, которым мерещится Бездна, тогда как неиспорченному зрению открывается лишь божественная простота Истины! Поэтому, когда я спрошу тебя, Мозес – не есть ли Рай и Истина одно и то же, когда я спрошу тебя об этом, не придется ли тебе заткнуться вместе со всеми своими фантазиями, дурачок? Или ты, в самом деле, думаешь, что между тобой и Истиной нет никакой разницы?.. А ведь это значит только, что ты просто ненавидишь Истину, и это будет истинная правда, потому что Истина требует строгости и послушания, ты же больше похож на осла, не слушающего наставления хозяйки и собирающего колючки у самого края пропасти. Не выдал ли ты себя сегодня с головой, заговорив о вещах, – ты, похотливый осел, алчный до чужого и сам бывший ничуть не лучше любой вещи!

– Пожалуй, мне приходится с вами согласиться, сэр.

– Еще бы тебе не согласится, скотина! Разве не грешишь ты на каждом шагу, удаляясь от предначертанного? Не ты ли, овладев мадам Е., шептал ей, говоря: я бы хотел делать это с тобою всю вечность?

– Сколько мне помнится, сэр, она ничего не имела против этого самого времяпровождения, сэр.

– А не ты ли заявил, что не мыслишь Царства Небесного без своего серебряного подстаканника?

– Да, что бы я стал там без него делать, сэр?

– Ты чудовище, Мозес! Чем бы стало Царство Небесное, если каждому удалось бы протащить в него свое барахло?

– Признаться, я не ожидал, что там так мало места, сэр!

– Властвовать и повелевать хочешь ты, Мозес! Властвовать и повелевать, а не подчиняться и благоговеть, – вот отчего ты боишься Истины, называя ее Бездной, ибо она преграждает твой путь и смеется над твоими нелепыми желани-ями! Ах, как же она смеется, Мозес! Так, словно ее щеко-чут пятьдесят тысяч бездельников, которым нечем больше заняться, – так, словно все небесное воинство, не переста-вая, дудит в жестяные дудочки и бьет в детские барабаны, веселя друг друга!.. Да принюхайся же, наконец, принюхайся дешевый Повелитель Каши и Гренок! Скажи-ка, не тянет ли по коридору запахом творожной запеканки? Не возвращает ли он тебя. О, Боже, Мозес! Меня тоже начинает разбирать смех, как только я представляю себе твою кислую физионо-

мию!

– Что и говорить, сэр. Запашок, действительно, не внушает...

– Еще бы он внушал, дружок! Посмотрим-ка теперь, как ты устремись навстречу этой творожной запеканке, и как она обрадуется, услышав твои шаги! Не тебя ли видела она сегодня во сне, Мозес? И не придется ли ей обличать тебя в день Страшного Суда, когда она станет свидетельствовать против тебя, говоря: я хотела его, а он отверг меня в час нашей встречи! Что же ты станешь тогда делать, Мозес, какие слова найдешь для того, чтобы оправдаться? Разве не будет справедливым заставить тебя вкушать эту запеканку в течение всей вечности или, по крайней мере, до тех пор, пока она ни пробудит в твоём сердце ответную симпатию, дружек?.. Не сам ли ты пожелал себе этого, Мозес?..

...Ах, этот тошнотворный запах подгоревшего творога! Есть ли в нём хоть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее Райское Блаженство?..

– Боюсь, не поздно ли ты спохватился, Мозес?

Да, не пойти ли вам, наконец, в жопу, сэр? Разумеется, вместе с вашей Истиной, которая не в состоянии понять разницу между творожной запеканкой и гречневой кашей... Разве я сказал, что мы будем обладать чем ни попадя?..

## 42. Филипп Какавека. Фрагмент 355

«ДВА РОДА ПРИНУЖДЕНИЯ. Талант, а тем более, гений, всегда действуют насилием, принуждая соглашаться с собой, невзирая на то, хотим мы этого или нет. Скажут, что талант и гений принуждают только в силу своей причастности к Истине. Похоже на правду, но неправда. Истина – Истиной, а гений, – сколько бы ни был он глубоко поработчен Истиной, – все же всегда представляет собой нечто большее, чем простой рупор ее. Пожалуй, можно даже сказать, что он и вовсе не имеет к Истине никакого отношения. Сколько бы он ни клялся ее именем и как бы ни спешил уверить нас, что занят только тем, что творит ее волю, все это остается только пустыми клятвами и словами. Правда, есть все же нечто, что и в самом деле наводит на мысль об Истине, когда мы слышим его голос. Это – само принуждение, с помощью которого гений заставляет нас соглашаться с собой. К нему вполне уместно отнести сказанное Декартом: *«Принудительная сила доказательства заключается в том, что делает необходимым убеждения»*. Принудительная сила – исходит от гения; убеждения, от которых уже невозможно освободиться в силу их необходимости – удел тех, кто решил прислушаться-



ся к его голосу. Сам гений, разумеется, никогда в этом не признается. Он будет оправдывать свою власть, ссылаясь на Истину, добро, справедливость и красоту, перед которыми должны склониться не только он, но и все без исключения от мала до велика. Похоже, что он и сам верит в это. Однако сколько бы он ни насилывал нас во имя Истины и в какие бы мышеловки ни манил, рано или поздно мы начинаем догадываться, что в действительности он принуждает нас совсем ни к тому, чтобы мы признали власть Истины. Он принуждает нас совсем к другому: признать его собственную свободу и его собственное право владеть этой свободой, как ему заблагорассудится, да ведь, пожалуй, и ничего больше! Отчего гений говорит не от своего собственного имени, а всегда отсылает нас к Истине, – ответ на этот вопрос сомнений не вызывает. Гений так же слаб, как и все мы, и он так же нуждается в защите, как и каждый из нас. Но что, в конце концов, значит эта формальная уступка перед той реальной властью и реальной свободой, которые ему достаются? Очевидно, что для многих это принуждение окажется в тысячу раз более невыносимым, чем если бы гений действительно принуждал нас к тому, чего требует Истина. Согласиться с Истиной – еще куда ни шло; в этом случае не так стыдно признать, что наши убеждения нисколько не принадлежат нам самим, ибо мы избрали их не свободно, но в силу принуждения того, что мы зовем Истиной. Но согласиться с чужой свободой? Вряд ли у кого достанет на это сил. И тем не менее, при-

ходится, вероятно, соглашаться: всякий гений есть, прежде всего, гений навязывания самого себя всему остальному миру – и вопреки этому миру и, скорее всего, вопреки самой Истине. – И все же не будем унывать. Попробуем утешиться тем, что тот, кто навязывает нам свою свободу, невольно заставляет нас обратить внимание на свободу, которой, *быть может*, владеет каждый из нас. Если это так, то, пожалуй, следует быть благодарным за это принуждение; несмотря на смертельную проблематичность этого «быть может», оно все же обещает нам кой-какие возможности, пусть они и кажутся нам крайне сомнительными и маловероятными. По мне уж лучше эта неправдоподобность, чем не вызывающие никаких сомнений требования Истины. К тому же, нелишним будет напомнить, что принуждения, к которым прибегает Истина – совсем иного рода. Она вбивает нас по плечи в землю и ломает нам шейные позвонки. – Разумеется, я не забыл: при этом она стремится сохранить среди нас неукоснительное равенство».

## 43. Доктор Аппель

– Никому и в голову не могло прийти, – сказала старшая сестра, помогая доктору влезть в халат. – Накануне вечером он вел себя как обычно. Если бы не наш Мозес...

– Продолжайте, – сказал доктор Аппель, повернувшись к ней спиной. Стараясь попасть в рукава халата, он опустил голову и на мгновение стал похож на большую птицу, некоторые детали которой, впрочем, могли навести на мысль, что птица эта более всего имела сходство с уткой.

– Как нам удалось выяснить, герр доктор, около четырех часов господин Мозес отправился в туалет. Проходя мимо палаты господина Цириха, он обратил внимание на то, что у того горит свет, хотя время для этого было самое неподходящее. («Естественно», – заметил доктор, одергивая халат.) Заглянув через стекло, господин Мозес увидел, что господин Цирих, взобравшись на подоконник, запутался в шторах и не может освободиться.

– Неужели? – спросил доктор, поворачиваясь и с интересом разглядывая сестру. – А что же ему там понадобилось, на подоконнике, да еще в такой ранний час? Может быть, он хотел открыть окно?

– К тому времени оно уже было открыто, доктор.

– Интересно, – сказал доктор. – Очень, очень интересно.

Что же, продолжайте.

– Я говорила о господине Мозесе, доктор, – продолжала сестра. – Когда он увидел господина Цириха в таком беспомощном положении, то попытался помочь ему, в результате чего они оба упали с подоконника.

– Прекрасно, – сказал доктор Аппель. – Просто великолепно. Упали с подоконника в четыре часа ночи.

– Ничего страшного, к счастью, – поспешно добавила старшая сестра. – Несколько незначительных ушибов и у господина Цириха небольшой вывих левой ступни. Господин Мозес повел себя прямо-таки героически. Видя, что господин Цирих не может самостоятельно ходить, он немедленно, сколько мне известно, побежал, чтобы позвать на помощь...

– Дежурную сестру, насколько я понимаю, – сказал доктор Аппель, пытаясь застегнуть на животе пуговицу и, одновременно, внимательно глядя в глаза старшей сестре. – И где же он нашел ее?

– Этого я не могу вам сказать, господин доктор.

– Зато это могу сказать вам я, – сообщил доктор, который к тому времени удачно справился с пуговицей и уселся за стол, поставив перед собою вместительный черный портфель. Щелкнув замком, он извлек из него: коробку с письменными принадлежностями, две или три книги и прозрачный пакет с чистым полотенцем. – Я более чем уверен, – продолжал он, доставая из портфеля зубную щетку и мыло, – что дежурная сестра играла в карты с охраной и санитарями.

Возможно, не только с ними.

– Об этом мне ничего не известно, – сказала старшая сестра, глядя за окно, туда, где утреннее солнце уже всюю сверкало в стеклах соседнего корпуса клиники.

– Достаточно, что об этом известно мне, – сухо заметил доктор. Полотенце было извлечено из пакета и передано старшей сестре. Та аккуратно повесила его над умывальником. – Если бы больной не знал, что в коридоре никого нет, он вряд ли осмелился проделать подобное сальте-мортале при включенном свете. Не так ли, сестра?

Термос был извлечен из портфеля вслед за каким-то странным костюмом черного бархата, черным же беретом с искусственным страусиным пером, а также рыжим кудрявым париком, напоминающим мочалку. Все это, за исключением термоса, исчезло в ящике письменного стола.

– Если бы господин Цирих не включил свет, – начала старшая сестра, волнуясь и сжимая и разжимая пальцы, – если бы он не включил его, то, может быть, он находился бы сейчас не в травматологическом отделении, а совсем в другом месте, – закончила она почти трагическим шепотом, внимательно рассматривая рисунок на термосе.

Доктор Аппель повернулся к ней всем телом и внимательно посмотрел на ее худые щеки и белоснежный воротничок.

– Я учту это, – пообещал он, возвращая свое тело в прежнее положение и демонстрируя, что когда это нужно, он прекрасно умеет обращаться с низшим медицинским персона-

лом. – Не знаю только, захочет ли учесть это совет директоров... Что же было дальше?

– О, дальше, как раз все могло бы сложиться вполне благополучно, если бы не этот грубый санитар из соседнего отделения, который сказал что-то, что обидело господина Цириха, так что тот повел себя не совсем адекватно, хотя его, конечно, тоже можно понять.

– Что значит, не совсем адекватно? – спросил доктор

– Это значит, – торопливо продолжала сестра – что господин Цирих нанес этому санитару небольшое увечье. Так. В общем, пустяки.

– Небольшое увечье. И какое же?

– Он сломал ему палец.

– Чудесно, – сказал доктор. – Упал с подоконника и сломал санитару палец. Что было дальше?

– О, дальше все складывалось самым благоприятным образом. Вовремя подоспевшие санитары и дежурная сестра, немедленно обследовали господина Цириха, дали ему успокоительное и вслед за тем препроводили его в спецотделение.

– А вот это уже лишнее, – сказал Аппель. – Он что же, был очень беспокоен?

– К сожалению, я не могу этого знать, потому что заступила только в восемь.

– Во всяком случае, – добавила сестра, положив мыло в мыльницу, – насколько мне известно, никто из пациентов

даже не проснулся, тем более что дежурный доктор Фрум осмотрел пострадавшего и вправил ему вывих, о чем в журнале дежурств имеется соответствующая запись. Словом, герр доктор, все прошло довольно гладко, если, конечно, не считать пальца санитаря.

– За что мы, по всей видимости, должны благодарить мочевой пузырь господина Мозеса, – сказал Аппель.

Старшая сестра чуть заметно улыбнулась.

– И его любопытство, – добавила она. – Он ведь мог просто не подойти к двери.

– Ну... это может быть, – сказал Аппель, щелкая замком портфеля и убирая его со стола. – И как он чувствует себя, наш господин Мозес?

– Я, во всяком случае, не заметила в его поведении никаких перемен.

– И очень хорошо, – сказал доктор, поднимаясь из-за стола. – Будем надеяться на лучшее. А теперь, пожалуйста, проводите меня к господину Цириху. И, пожалуйста, разыщите дежурную сестру и попросите ее зайти ко мне.

– Боюсь, что она уже ушла.

Доктор еще раз одернул халат и произнес безо всякого выражения:

– В таком случае, мы побеседуем с ней завтра.

Прежде чем выйти их кабинета, доктор Аппель вымыл руки и с удовольствием вытер их свежим полотенцем. После чего – мельком бросив на себя взгляд в висящее над ракови-

ной зеркало – поправил загнувшийся было угол воротничка, чтобы затем быстрым шагом (насколько это позволяли его короткие ноги) углубиться по стерильному коридору, мимо стеклянных дверей и тонких алюминиевых переплетов больших окон, смотрящих во внутренний дворик клиники, где прогуливались среди зелени и цветов ожидающие завтрака пациенты.

Солнце уже всю заливало этажи клиники, подчеркивая эту полярную стерильность, и старшая сестра старалась не отставать, для чего ей приходилось прикладывать некоторые усилия (впрочем, это повторялось почти каждое утро и уже вошло у нее в привычку) – вот так, мимо застекленных кабинетов и дальше, по висящему стеклянному коридору, соединяющему лечебный корпус и хозяйственную пристройку, к вымытой только-только лестнице (влажные ступени ее еще блестели, подчеркивая мраморный рисунок), чтобы, спустившись на полпролета, остановиться, наконец, у двери служебного лифта, который, словно он только их и дожидался, немедленно открыл навстречу свои двери.

– Ну, что же вы? – поторопил доктор Аппель старшую медсестру. Та виновато улыбнулась, но не тронулась с места.

– Послушайте, Мария, – сказал доктор, наполовину выходя из лифта, не забывая придерживать дверцу ногой. – Кажется, я вам уже не раз и не два говорил, что клаустрофобия – это не столько болезнь, сколько свойство характера... Вы меня понимаете?



С этими словами он быстро взял старшую сестру за руку и сделал попытку втащить ее в лифт.

– Доктор Фрум сказал, что следует попробовать усиленную физиотерапию, – быстро сообщила та, заметно бледнея и цепляясь свободной рукой за край двери.

– Ровным счетом ничего не следует, – отвечал Аппель, не оставляя своих попыток. – Есть только один способ...

Он перехватил ее руку выше локтя.

– ...единственный способ – научиться самой преодолевать себя...

– Господин доктор!

В голосе старшей сестры можно было различить неподдельный ужас.

– ...в противном случае, никакая физиотерапия...

Рывок. Еще один рывок. Белый передник старшей сестры съехал набок.

– ...вам не поможет. Единственный способ...

– Господин Фрум...

Вместе с доктором старшая сестра исчезла в кабине лифта, дверцы которого плавно сомкнулись, приглушив и изумленное «о-о», и сердитое пыхтение доктора.

Лифт тронулся.

– Теперь-то, наконец, убедились, что с вами ничего не произошло? – спросил доктор, выталкивая сестру из лифта и выходя вслед за ней.

Из-за опущенных жалюзи в небольшом помещении спец-

отделения стоял полумрак. Две медсестры, склонившись над разложенным под ярким светом настольной лампы журналом, изучали выкройку.

– Здесь бы надо поднять петли, – сказала одна из них, водя пальцем по глянцевой странице.

– А по-моему, опустить, – ответила другая.

Потом они одновременно подняли головы и увидели доктора Аппеля. Он сухо ответил на их приветствия и вопросительно посмотрел на свою спутницу.

– Туда, пожалуйста, – чуть слышно прошептала та, вытирая платком лицо.

– Успокойтесь, наконец – сказал доктор, направляясь туда, куда показала сестра. – В конце концов, Мария, мы созданы затем, чтобы управлять собою, а не для того, чтобы идти на поводу у собственных слабостей, – сообщил он, проходя мимо стола с горячей лампой.

Старшая сестра, тяжело дыша, семенила вслед за ним.

Красные пятна на ее лице и шее были в полумраке отделения еще заметней.

Сестры проводили их любопытными взглядами и переглянулись.

– Успокойтесь, цыпочка – сказала одна из них басом, когда доктор и старшая сестра скрылись за углом. – Мы, слава Богу, созданы затем, чтобы лапать в лифте тощих климактеричек, а не для того, чтобы ухаживать за приличными женщинами из спецотделения.

– Ты уверена? – спросила другая. – Но почему в лифте-то?  
– Это ты у него спроси, – ответила первая.

Между тем, повернув за угол, старшая сестра остановилась у забранной решеткой двери. Прежде чем доктор успел распорядиться, дежуривший в коридоре санитар молча достал из кармана связку ключей и отпер дверь.

– Какая нелепость, – пробормотал доктор Аппель, должно быть, имея в виду эту железную решетку. – Прямо-таки какая-то Бастилия.

Господин Цирих лежал, отвернувшись к стене, натянув на голову клетчатое одеяло. В палате было прохладно и тоже стоял полумрак, жалюзи на окне были опущены и голубой ночник над дверью давал света ровно столько, сколько было нужно для того, чтобы ясно видеть всю обстановку палаты.

– А вот и мы, – негромко, но бодро сказал доктор Аппель, останавливаясь у постели. – Господин Цирих, – мягко позвал он. – Сделайте одолжение. – Он слегка дотронулся до плеча лежащего. Тот повернул голову, одеяло медленно сползло с его лица. В свете ночника оно было мертвенно-бледно. Под глазами лежали черные тени.

– Доброе утро, господин Цирих. Как мы себя чувствуем?  
Старшая сестра и санитар слушали, остановившись в дверях.

– Боюсь, что вполне сносно, – почти не разжимая губ, отвечал лежащий. По его голосу можно было догадаться, что он не спал.

– Вот и великолепно, – кивнул доктор Аппель, делая знак санитару, чтобы тот принес стул. Потом он спросил:

– Вы не будете возражать, если мы зажжем свет?

В ответ господин Цирих пробормотал что-то невразумительное, что при желании можно было истолковать так, что он не против.

## 44. Филипп Какавека. Фрагмент 77

«Слова – всего лишь бумажное одеяние Истины, не имеющее, кажется уже никакой цены. Не сорвать ли мне его? Ведь Истина – моя добыча. – Не забудем только, что тому, кто действительно отважится на это, уже никогда не придется ни властвовать, ни повелевать. Правда, он будет ласкать свою возлюбленную, вдыхая запах ее волос и слушая во мраке ее шепот. Но пусть он будет также готов к тому, что никто из его друзей и знакомых ни откажет себе в удовольствии сказать ему при встрече: – И это-то Истина?»

## 45. О том, что все трудности носят безусловно временный характер

Свет был зажжен и, расположившись на стуле, принесенном санитаром, – лицом к лицу с лежащим, – доктор еще раз произнес бодрое «прекрасно» и сделал знак рукой, после чего санитар и сестра покинули палату. Дверь за ними закрылась.

– Прекрасно, – повторил доктор Аппель, закидывая ногу на ногу и поправляя задравшуюся полу халата. Он смотрел на лежащего, чуть склонив голову, и голос его был точь в точь, как если бы он обращался к нашалившему ребенку. Впрочем, кажется, что это не произвело на господина Цириха никакого впечатления. Откинувшись на подушку и натянув одеяло почти до самого носа, он смотрел прямо в глаза доктора, но, казалось, смотрел совершенно мимо и, пожалуй, даже сквозь. Похоже было, что взгляд его блуждал где-то далеко и чтобы привлечь его внимание, требовались известные усилия. Длинные седые волосы его, разбросанные по подушке, напоминали серебряный нимб, который можно было видеть на одной из картин Грюневальда.

– Я надеюсь, Мартин, что случившееся ночью было всего только глупым недоразумением, – сказал доктор, сразу при-

ступая к делу и не давая тишине затопить палату. – Просто небольшим недоразумением и больше ничем. Не правда ли?

Разумеется, всего только небольшое недоразумение, сэр. Так сказать, некоторое временное помрачение, затмение воли, впрочем, весьма и весьма простительное, особенно если принять во внимание дурное самочувствие, возраст и, похоже, врожденную склонность к ипохондрии, усиленную хронической бессонницей, на которую часто жаловался в последнее время пациент.

– Вы не поверите, до какой степени я был огорчен, – продолжал доктор, борясь с вновь подступившей тишиной. – Что же это на вас нашло, дорогой мой?.. Открывать посреди ночи окна, падать с подоконника, да еще ломать санитару пальцы, ну, что это, ей-богу, за детские шалости?..

– Если я о чем и жалею, – сказал лежащий, – то только о том, что не сломал этому мерзавцу все руку.

Тихий голос его был вполне бесцветен и невыразителен.

Затем он подтянул повыше одеяло и смолк.

– Руку, – повторил доктор и засмеялся, как будто предложение сломать чью-то руку показалось ему чрезвычайно забавным – Ну, что, в самом деле, за кровожадные мысли, герр доктор? И это сегодня, в день нашего долгожданного праздника! Надеюсь, вы хоть не забыли, какой сегодня день?

Он замолчал, давая лежащему возможность вспомнить о сегодняшнем празднике, но тот опять не проявил к этому никакого интереса.

– Ну, разумеется, не забыли, – и доктор легонько похлопал ладонью по одеялу, под которым укрылся доктор Цирих. – Юбилей нашей клиники, разве это можно забыть?..

Если лежащий что-нибудь и помнил, то тщательно скрывал это, не показывая виду.

– А наш спектакль? Наш спектакль, господин профессор?.. Ну, подумайте сами, разве сможет несчастный принц обойтись без вас? – Он вдруг вытянул перед собой руки и продекламировал неожиданно низким голосом. – Я дух, я твой отец, приговоренный по ночам скитаться, а днем томиться посреди огня... Не уверен, что Франтишек Мойва будет выглядеть на сцене лучше вас.

В молчании, которое было ему ответом, пожалуй, можно было, при желании, расслышать нечто вызывающее, если бы само это молчание не было бы так молчаливо и не наводило на подозрение, что все сказанное доктором просто-напросто проходит мимо ушей лежащего, нисколько не задевая его внимания.

– Ну, хорошо, – сказал доктор, не дождавшись ответа и давая понять, что время обмена любезностями закончилось и пришло время заняться чем-нибудь более существенным. – Скажите мне, Мартин, вас ничего особенно ни беспокоило в последнее время?.. Может быть сны?.. Депрессия?.. Отсутствие аппетита?.. Необоснованные страхи?

Голос его был по-прежнему мягок, но за этой мягкостью уже явно угадывалась непреклонная твердость и решимость



несмотря ни на что выяснить все, что, так или иначе, касалось сегодняшних событий.

В ответ лежащий перевел взгляд со спинки кровати на потолок, тяжело вздохнул и вдруг ответил – неожиданно и внятно:

– Ваш голос, доктор... Боюсь, что он звучит для меня сегодня чересчур мажорно.

– Ах, вот оно, в чем дело!

Улыбнувшись, доктор Аппель слегка потрепал ладонью по одеялу. Какие это, в самом деле, пустяки, казалось, говорил этот крайне уместный жест. Пожалуй, даже это «чересчур» ничуть не настораживало и выглядело вполне безобидно и миролюбиво. Улыбнувшись еще раз, доктор Аппель выразил надежду, что и голос самого господина Цириха в самом скором времени будет звучать не менее мажорно, а может стать, даже намного мажорнее, чем звучит сегодня голос самого доктора. В конце концов, отчего бы и нет, господин Мартин?

– В конце концов, все трудности, как вам известно, носят безусловно временный характер, – шутливо добавил он, отметив, впрочем, что по лицу господина Цириха скользнула при этом легкая тень. Казалось, что он еще глубже ушел головой в подушку. Торчащий над одеялом нос его вытянулся и заострился. Немедленно сгустившееся в палате молчание красноречиво свидетельствовало, что доктору Аппелю, возможно, пришло время избрать несколько иную тактику, на-

пример, мягко, но не без строгости указать на то, что всем нам, увы, приходится нести ответственность за свои поступки, и тут уже ничего не поделаешь, хотим мы того или нет, к чему, пожалуй, можно было бы добавить также, что никто из нас, конечно же, не застрахован от ошибок, которые, с другой стороны, мы не вправе повторять, ведь, в конце-то концов, мы с вами давно уже не дети, господин профессор, а это значит, что требуется со всей тщательностью выяснить причины, благодаря которым мы совершили эти самые ошибки, чтобы в дальнейшем облегчить жизнь и себе, и другим, с чем, конечно, было трудно не согласиться, ввиду располагающей к себе несомненной очевидности всего вышесказанного.

Возможно, именно вследствие этого господин Цирих, наконец, соизволил открыть глаза и внимательно посмотреть на доктора Аппеля, но опять-таки: посмотреть совершенно мимо и сквозь, как будто он оказался тут совершенно случайно и так же случайно сейчас исчезнет, не оставив по себе даже воспоминания. Лицо его, во всяком случае, не выражало в это мгновенье решительно ничего. Затем он окончательно освободил от одеяла нижнюю часть лица, открыл рот и сказал:

– Не знаю, как вы, господин доктор, но что касается меня, то я уже давно, слава Богу, обхожусь безо всяких объяснений.

Именно так это и прозвучало. «Давно» и «безо всяких

объяснений». Несколько напыщенно и уж во всяком случае – немного самодовольно. Словно это было сказано не всемирно известным доктором теологии, а каким-нибудь мальчишкой, который слышал краем уха разговор взрослых и теперь решил похвастаться услышанным перед своей подружкой.

Конечно, не стоило придавать сказанному слишком большого значения. Ведь, в конце концов, оно явно было продиктовано некоторой душевной помраченностью, вполне, впрочем, простительной, если принять во внимание обстоятельства сегодняшней ночи. Как бы то ни было, к сказанному следовало бы отнестись с пониманием и сочувствием, а именно – просто пропустить его мимо ушей.

Именно так доктор Аппель и поступил.

Склонившись над лежащим, он протянул руку и понимающе потрепал господина Цириха по плечу. Ничего, ничего, – говорил этот успокаивающий жест. – Немного терпения и времени – и все встанет на свои места.

Однако господин Цирих придерживался сегодня, похоже, совсем другого мнения. Из блестящих глаз его, казалось, вот-вот посыплются искры.

– Вы, кажется, думаете, что я шучу, герр доктор, – негромко сказал он, вынимая из-под одеяла руки. – Тогда я скажу вам еще раз со всей откровенностью, что я уже давно привык обходиться безо всяких объяснений, господин доктор. Потому что, чтобы вы там ни говорили, на свете существует множество мыслей и поступков, объяснять которые было бы

крайне для них оскорбительно... В конце концов, – добавил он, уже не скрывая раздражения, – я просто упал с подоконника и растянул себе лодыжку. Или вы полагаете, что это заслуживает каких-то специальных объяснений, герр доктор?

– А разве нет? – как можно мягче ответил ему доктор Апель, которому такой поворот крайне не понравился. – К тому же, разве эта история с пальцем не требует объяснений?

– Нисколько, – сказал лежащий.

– Ну, это еще как посмотреть, – ответил доктор, давая понять, что он, все же придерживается на сей счет немного другой точки зрения. – Вы не думали, например, что он может подать на вас в суд?

– В суд, – сказал доктор Цирих, кажется, ничуть не пугаясь нарисованной доктором возможности предстать перед судом. – Если мне не изменяет память, то на Господа нашего, кажется, тоже в свое время, подали в суд. А чем все кончилось?

– Есть все-таки небольшая разница, герр профессор, – сказал доктор, улыбаясь. – Что бы там ни говорили, но Христос все-таки пальцы фарисеям не ломал.

– И напрасно, – отозвался господин Цирих. – Совершенно напрасно, герр доктор. Сломай он пару пальцев, возможно история пошла бы немного по-другому.

Что ни говори, а в устах профессора теологии и автора широко известной «Истории теологии», это замечание прозвучало, мягко выражаясь, не совсем уместно. Возможно, –

попытался оправдать этот поступок доктор Аппель, – возможно, что на самом деле профессор имел в виду нечто более возвышенное, более одухотворенное, чем просто сло- манные пальцы. Например, духовную пользу, которую при- нносят человеку физические страдания, или воспитательное значение его собственных несовершенств, или что-нибудь в том же роде, что не вызвало бы нареканий ни со стороны Небес, ни со стороны представителей любых конфессий.

– Хорошо, Мартин, – сказал доктор, все еще чувствуя себя несколько задетым не столько даже неожиданной кровожад- ностью профессора теологии, сколько его странным замеча- нием о существовании поступков, которые не требовали для себя никаких объяснений. Таких поступков, разумеется, ни- когда и нигде не существовало, да и не могло существовать. Тем не менее, желая сохранить мир, доктор Аппель нашел нужным переменить тему и выразил на своем лице живей- шее сочувствие и понимание.

– Позвольте-ка, я осмотрю вас, доктор, – сказал он, при- глашая лежащего подняться.

Красная пижама, неохотно вынырнувшая из-под одеяла, разбавила блеклые тона, которые царили в палате. Упавшие на плечи седые волосы и длинный нос, вкупе с бесцветны- ми глазами и плюшевой пижамой, делали господина Цириха до смешного похожим на старого Санту, который не вылезает в Рождество с телевизионных экранов. Не хватало толь- ко красного колпака с бубенчиками. Протянув руку, он на-

ощупь нашел на тумбочке очки и нацепил их на нос, после чего сходство с Сантой стало просто вопиющим.

Господин Аппель хотел было придвинуться вместе со стулом ближе, но передумал и пересел со стула на край кровати. Затем он взял руку господина Цириха и принялся слушать пульс.

Спустя какое-то время, после того, как доктор заглянул господину Цириху в рот, глаза и уши, послушал его легкие и посмотрел на слегка опухшую лодыжку, – причем, даже попросив его немного пройтись по палате, – господин Цирих вновь лежал на кровати, но уже поверх одеяла, слегка прикрыв ноги и с безучастным видом, уставившись в потолок, похоже, вновь потеряв всякий интерес к происходящему.

– Прекрасно, – сказал доктор, вновь усаживаясь на стул и готовясь к разговору. – Пульс, как у двадцатилетнего юноши... Кстати, я хотел вас предупредить, Мартин, что наш следующий открытый семинар будет посвящен теме взаимоотношения теологии и науки. Он так и называется – «Теология и Наука»... Надеюсь, вы найдете для него немного времени.

– Ради Бога! – воскликнул доктор Цирих, страдальчески морщась. – Мы с вами обсуждали это уже двадцать тысяч раз!

– Совершенно справедливо. Но всякий раз мне кажется – мы с вами выносили оттуда что-то новое.

– Я этого не заметил, – не согласился доктор Цирих. –

Но если вам угодно знать мое мнение, то лучше я навсегда останусь невеждой, чем буду плясать под дудку вашей чертовой науки, неважно, называется ли она теологией, геологией или дьявол ее знает как!... Под эту чертову дудку, которая всех гребет под одну гребенку, не различая нюансов. А ведь в них-то все дело...

Похоже, отметил про себя доктор Аппель, характер господина Цириха успел основательно испортиться за последнее время, а он просто проморгал это, что было, конечно, весьма и весьма непростительно.

Некоторое время он молча смотрел на лежащего, словно пытаясь понять действительный смысл того, что он только что услышал, затем откинулся назад и сказал:

– Интересно было бы знать, что сказали бы на это ваши книги, господин профессор?.. Мне кажется, что они вряд ли согласились бы с вами, не говоря уже о ваших читателях и почитателях.

Именно так, господин Цирих, именно так, глубокоуважаемый профессор – говорил строгий взгляд доктора. Ибо о чем же еще, собственно, могли свидетельствовать трехтомное «Собрание теологических глав» или «Капподокийский синтез», если не о блестящей победе науки и разума над невежеством и суевериями, – в том числе, победе того, кто сидел теперь здесь в этой рождественской пижаме, являя собою зримое воплощение неукротимого человеческого духа, устремившегося в Небеса в поисках последних причин и ос-

нований, чтобы обрести опору в желанном единстве человеческого разума и Божественной Премудрости?..

Ах, глубокоуважаемый профессор и тройной лауреат премии имени Мартина Лютера, и при том – во всех ее номинациях, начиная с номинации «За лучшую экзегезу» и кончая номинацией «За лучшую проповедь»! Право же, не стоило бы так противоречить самому себе, а уж тем более здравому смыслу, который один дает нам верное направление и гарантированный результат.

– Вы прекрасно знаете, что я уже давно ничего не пишу, – бесцветным голосом сказал господин Цирих.

– Вы тоже прекрасно знаете, Мартин, что все ваши почитатели искренне сожалеют об этом и надеются, что ваше вынужденное молчание носит, так сказать, исключительно временный характер.

Да, да, господин профессор. Именно так. Исключительно временный и, будем надеяться, вполне случайный. Вот почему не стоит раньше времени впадать в пессимизм и поддаваться депрессии. Ведь недаром же многие ваши книги (включая даже редкое «Толкование на книгу Иова») можно найти в нашей библиотеке, где они пользуются неизменным успехом, как у персонала, так и пациентов. И при этом – как у христиан, так и у иудеев, подчеркивая тем самым дух терпимости и взаимного уважения, столь отвечающий переживаемому нами историческому моменту, что означает с другой стороны, что вы совсем не так одиноки, доктор, как



вам, может быть, хочется думать, когда вас начинают грызть приступы черной меланхолии!.. Совсем не так одиноки, как вам кажется, герр доктор. Придет время – и вы порадуете ваших почитателей еще одной замечательной книгой. Тем более, – продолжал он, демонстрируя неплохое знание известных текстов, – что, положив руку на сердце, кое-что, все же, остается еще не совсем понятным, не совсем ясным, и, вероятно, требующим небольших уточнений и разъяснений, – разумеется, в силу сложности и оригинальности самого исследуемого предмета, в качестве чего можно было указать хотя бы на вторую часть «Популярной апологетики» или на десятую главу «Собрания теологических глав» («О том, что вечное содержание Божественных истин совместимо с фактами природы и человеческого сознания») – где, несомненно, нужны были серьезные комментарии, способные облегчить читателю доступ в мир божественной мудрости. А кто, скажите на милость, в состоянии сделать это лучше самого автора?..

– Будем же мужественны, господин профессор! – продолжал доктор Аппель, встав со стула и расхаживая, заложив руки за спину, по палате. – В конце концов, все испытания посылаются нам небом, желающим убедиться в нашей стойкости, подобно тому, как Всемогущий сорок лет водил евреев по пустыне, желая испытать их силу перед лицом опасностей и лишений прежде, чем наградить их заслуженной наградой (кажется, именно об этом, – если доктор Аппель не

заблуждался, – говорил и знаменитый 39 параграф «Популярной апологетики»). Стоит ли упоминать о том, что того же, в конце концов, требует от нас и наша вера? Любая вера, господин профессор, независимо от того, читает ли она каждый день «*Шма Израэль*» или крестится, завидев сверкающий на церковной луковице крест. Разве вы не хотели бы жить в ладу со всем миром, герр профессор?

– С миром и Богом, – поспешно поправил себя доктор Аппель, снисходительно улыбаясь этой маленькой оплошности.

Утонувшее в подушке лицо, прежде бесстрастное, теперь как будто слегка потемнело. Потом доктор Цирих сел на постели и сказал:

– Вам случайно никогда не говорили, господин доктор, что на свете существуют такие вопросы, которые обладают свойством обличать тех, кто их задает?

На лице доктора Аппеля вновь появилась слегка снисходительная улыбка.

Ну, будет вам, господин профессор, – говорила она, прячась в уголки его губ. Если такие вопросы где-то и существуют, то уж, во всяком случае, не тут, где они не имели к происходящему никакого отношения.

– Вопросы, напоминающие червей, – продолжал между тем господин Цирих, откашлявшись. – Грызущие плоть и поедующие внутренности. Свивающие свои гнезда в сердце и в мозгу... Вопросы, которые заставляют шевелиться ваш язык до последнего вздоха...

– Мартин, – мягко сказал доктор Аппель.

– Можете быть уверены, господин доктор, – продолжал тот, повышая голос. – Черви длиною в милю или только в один микрон, какая, в сущности, разница?.. Обгладывающие кости и перекусывающие жилы, о, Господи! Вы, наверное, думаете, что это вы сами породили их на свет? Что стоит вам только сделать небольшое усилие, как вы их сразу обуздаете?.. Как бы не так!.. Как бы не так, господин доктор. Потому что это как раз они порождают нас, точно так же, как нас порождает боль, отчаянье, страх или забота!..

В глазах доктора Аппеля промелькнуло легкое недоумение, вызванное несколько странным, по правде сказать, заявлением автора «Евангельских парадоксов» и «Благодать и свобода». Что, в самом деле, за нелепые фантазии, господин доктор теологии?

– Не знаю, понимаете ли вы меня, доктор, но вы, наверное, думаете, что все, что вы сделали, это только открыли рот и задали вопрос? Какой-нибудь маленький и безобидный вопросик? Какая сегодня погода? Или – есть ли предел божественному милосердию?.. Черта с два, господин доктор! Черта с два! Откуда вам это знать? Вы ведь даже не знаете толком, что такое человек... А ведь человек, это всего лишь существо, порожденное червями, которые он по неведению называет «вопросами»!.. О, господин доктор, господин доктор! Да откуда же вам это знать, в самом деле? Это всегда стоящее у тебя за спиной, всегда понуждающее тебя идти вперед, да-

же если раскалывается голова и подгибаются ноги. Ты просыпаешься утром и находишь себя бредущим по этой дороге. И знаешь, что тебе предстоит шагать по ней миля за милей еще много дней, много месяцев и много лет. И так – каждое утро. Сегодня, завтра, спустя вечность. Но, несмотря на это, ты все равно продолжаешь надеяться и задавать вопросы. И каждый из них норовит немедленно впиться тебе в горло и стать еще одной милей, по которой тебе суждено идти...

Тут господин Цирих погрозил перед собой кулаком, открыл рот и с неожиданным чувством произнес несколько слов, которые легко можно было услышать во время разгрузки в порту или в кабаке, когда кому-то показалось, что ему принесли теплое пиво. Глаза его за стеклами очков странно сверкнули.

Несколько последующих за тем мгновений прошли в обоюдном молчании.

– Простите, – сказал, наконец, господин Цирих уже совсем другим, угасшим и бесцветным голосом. – Боюсь, это не то, что вы хотели услышать.

– Ничего, – доктор Аппель постарался придать своему голосу некоторое подобие беззаботности, словно во всем, им услышанном, не было на самом деле ничего из ряда вон выходящего. – Ценю вашу откровенность, – добавил он, осторожно дотрагиваясь до руки лежащего. – Надеюсь, что я сумею понять вас правильно, господин профессор... Может быть, хотите добавить что-нибудь еще?

Этот вопрос означал, конечно, приглашение продолжить. Говорите, господин Цирих, говорите, говорите, вот что означало это приглашение. В конце концов, это в наших общих интересах, герр профессор. Ну, вот, хотя бы, как вы прикажите, к примеру, понимать эти самые вопросы, которые вы так не совсем эстетично назвали червями?

– Это метафора, – сухо сообщил господин Цирих.

– Я так и подумал, – сказал доктор Аппель, чувствуя некоторое облегчение.

Ну, разумеется, герр доктор! Никто, собственно, и не сомневался в том, что все сказанное было всего лишь метафорой и ничем другим. Оставалось только понять, что она значила, эта метафора, на фоне устойчивой депрессии и фрустральной декомпенсации? Возникла ли она спонтанно или, возможно, была обусловлена теми или иными причинами, например, головной болью, усталостью или подавленным настроением, а может быть, ей сопутствовали страхи, галлюцинации или навязчивые мысли, которые преследуют тебя с утра и до вечера?.. Что скажете, господин профессор?

– Вы похожи сейчас на охотничью собаку, – на лице господина Цириха появилась почти брезгливая гримаса.

– Собаку, у которой хороший нюх, – согласился доктор Аппель, вновь возвращаясь на свой стул. – И знаете, что сейчас чует нос этой собаки, герр профессор?.. Он чует, что у вас еще найдется кое-что, что бы вы могли мне рассказать... Кое-что любопытное, герр доктор.

– Возможно, – сказал господин Цирих, застегивая верхнюю пуговицу пижамы. – Возможно, – повторил он, спустив ноги с кровати и сунув их в тапочки. – Не стоило бы, конечно, вам это говорить, но если вас это хоть немножко утешит, то я скажу, что кое-что я, действительно, слышал...

– Вот видите, – доктор Аппель не скрывал удовлетворения – И что же?

– Уж во всяком случае, не звук судных труб, – сердито сказал господин Цирих. – Конечно, это был голос.

На его лице в эту минуту было написано что-то вроде – «а вам-то что за дело, господин доктор», тогда как по выражению лица доктора Аппеля можно было догадаться, что нечто подобное, собственно говоря, он и ожидал, так что оставалось только уточнить кое-какие незначительные подробности, вроде той, например, как часто слышит господин доктор этот голос, или – давно ли он слышал его в последний раз, или, наконец, – как сам он относится к такому неординарному событию, как это.

Деловой тон вопросов подчеркивал, что речь, в конце концов, идет о вещах, с медицинской точки зрения вполне допустимых, хотя и не слишком ординарных, а вовсе не о чем-то из ряда вон выходящим, что потребовало бы незамедлительных действий и долгого лечения. В конце концов, – вновь напоминал этот тон, – все трудности носят безусловно временный, а значит – преодолимый характер.

– Другими словами, – сказал доктор Аппель, – это надо

понимать так, что у вас никогда не возникало сомнения в том, что вы слышали именно голос?

При этих словах господин Цирих, наконец, позволил себе слегка усмехнуться.

– Я прекрасно понимаю, куда вы клоните, господин доктор, – сказал он, позволив себе не только усмешку, но и некоторую снисходительность, которую отчетливо можно было разглядеть в его голосе. – К сожалению, я придерживаюсь другой точки зрения. Боюсь, она не покажется вам ни справедливой, ни даже любопытной. – Он немного помолчал, после чего негромко произнес, глядя доктору прямо в глаза:

– Совершенно не важно, откуда приходят голоса, доктор, снаружи или изнутри. Важно только то, что они сообщают.

Конечно, не стоило бы задерживать внимание на этом весьма сомнительном высказывании, тем более, что оно принадлежало далеко не профессионалу. Тем не менее, вопрос, так сказать, содержания этого голоса оставался тоже весьма и весьма существенным. В конце концов, с этого следовало бы, по крайней мере, начать... Надеюсь, что это не секрет, господин профессор?

– Если бы вы только знали, господин доктор, – вновь погружаясь в некоторую задумчивость, издали, едва слышно сказал доктор Цирих.

Лицо его вдруг показалось доктору Аппелю прозрачным. Вокруг головы вспыхнуло и замерцало тусклое серебряное сияние. Потом он сказал:

– Хотите знать, что он мне сказал?

Голос его дрогнул, но тут же обрел прежнюю безучастность.

– Конечно, я не стану от вас ничего скрывать, доктор. Он сказал мне тогда – господин профессор... Точнее, Готлиб Юлий Теодор Иоганн Георг Филипп Мартин Цирих... Признаться, я сам иногда путаюсь в собственных именах, – пояснил он, похоже, слегка досадуя на это неудобство, которое причинили ему когда-то его родители. – Сын твой возлюбленный страдает рядом и не знает о своем страдании...

Голос его прервался и он замолчал.

– Сын? – переспросил доктор Аппель, задумчиво поглаживая подбородок, что случалось с ним всякий раз, когда он не совсем хорошо понимал, как следует трактовать происходящее. – Значит, он сказал – «сын»?

– Возлюбленный сын, – твердо уточнил господин Цирих. – Возлюбленный, с вашего позволения. Если вам это интересно, то он повторил это три раза.



## 46. Поющий с чужого голоса

Пожалуй, в этом и в самом деле не было ничего страшного. Тем более что избранная голосом тема как нельзя лучше подходила для профессора и доктора теологии, автора «Божественной структуры творения» и «Мыслей христианина». Было бы гораздо хуже, если бы голос принялся наставлять господина Цириха по части политической экономии или требовать от него немедленной постройки фаланстера для нищих духом. В довершении к этому не мешало бы еще раз вспомнить о переутомлении, хронической бессоннице и депрессии, которые, вместе взятые, могли дать еще и не такие результаты, как, в общем-то, довольно безобидные голоса. Одним словом, ничего страшного, дорогой господин профессор. Ничего страшного, господин доктор. Тем более что все трудности, как мы с вами отметили выше, носят безусловно временный характер.

– Если я правильно понял, – сказал доктор Аппель, ворочаясь на стуле так, что тот жалобно заскрипел, – если я правильно понял вас, господин профессор, голос, который вы слышали, говорил что-то о каком-то *сыне*

– О возлюбленном сыне, – снова уточнил господин Цирих, немного повышая голос. – Возлюбленном.

– Ну, конечно, – кивнул доктор. – И насколько вы отчет-

ливо это слышали? Или, может быть, у вас, все-таки, были какие-нибудь сомнения?

– Никаких сомнений, – сказал господин Цирих, закидывая назад свои длинные волосы, которые вновь рассыпались у него по плечам, напоминая нимб. – Какие могут быть сомнения, когда тебе кричат в самое ухо, как будто ты глухой?.. Надеюсь, вы не воспользуетесь моим рассказом, для того чтобы прописать мне ваши варварские процедуры? – добавил он с заметным беспокойством.

– Думаю, что нам удастся обойтись без процедур, Мартин. Такие явления свидетельствуют скорее о сильном переутомлении, чем о болезни. Думаю, что в нашем случае дело обстоит именно так. Но, конечно, придется за вами понаблюдать.

– Какое счастье, – язвительно сказал доктор Цирих и вновь позволил себе усмехнуться. – Не хотелось бы вас расстраивать, доктор, но к вашему сведению, я слышал кое-что еще.

– Кое-что еще, – задумчиво повторил доктор. – И что же это?

– Боюсь, я не сумею толком объяснить, – сказал доктор Цирих, – но всякий раз после этих слов, я слышал, некоторым образом, пение. Что-то вроде того.

– Прекрасно, – сказал доктор без всякого выражения, словно он рассчитывал услышать нечто подобное. – Всякий раз после этого вы слышали пение. Нельзя ли попросить вас

немного поподробнее, герр доктор?

– Боюсь, мне все-таки не удастся избежать ваших процедур, – сказал господин Цирих. – Это будет трудно объяснить, господин доктор. Да и что тут можно объяснить? В конце концов, это было только пение, и сомневаться в том не было никаких причин.

– Не было ли это похоже на шум в ушах? – осторожно предположил доктор Аппель, но господин Цирих немедленно отверг это предположение.

– С какой стати? – возразил он, пожалуй, даже несколько обиженно. – Конечно же, нет. Оно вообще было не похоже ни на какой шум, хотя мне кажется, что там не было ни слов, ни мелодии.

– На что же оно было похоже?

– Мне трудно объяснить вам, – доктор Цирих смотрел на доктора Аппеля широко открытыми глазами, – но именно в этом-то и заключалось, по всей видимости, дело. Оно было похоже на то, как если бы вы долго бродили в поисках выхода по глухим и незнакомым этажам и коридорам, а потом неожиданно наткнулись бы на дверь... Вы понимаете, что я хочу сказать? – Он улыбнулся неожиданной и странной улыбкой и добавил:

– Да, пожалуй, именно так, доктор... Во всяком случае, что-то в этом роде. Вряд ли я сумею выразиться точнее. Это была дверь.

– Дверь, – констатировал доктор Аппель, показывая, что

он ничуть не удивлен. – Это что же, опять метафора?

– Дверь – это дверь, – отвечал господин Цирих, слегка поморщившись. – Никаких метафор. Я и сейчас не сомневаюсь, что это была именно дверь.

– Но вы сказали, «была похожа», – осторожно напомнил доктор.

– Человеческий язык, как вам известно, к сожалению, весьма и весьма далек от совершенства, – сообщил господин Цирих. – Скажу ли я, что дверь была подобна пению, или что пение, наоборот, было похоже на дверь, – какая, в сущности, разница, раз и там, и там дело идет о двери?

– И все-таки небольшая разница существует, – согласился доктор.

В ответ господин Цирих только пожал плечами и заметил в сторону, что упрямство отнюдь не является самым лучшим способом познакомиться с мнением собеседника.

– Если оно, конечно, вообще представляет интерес, – добавил он ворчливо.

– Полно, Мартин, – доктор Аппель примиряюще потрепал сидящего по колену. – Будет вам, в самом деле. Лучше расскажите мне поподробнее об этой вашей двери. Она что же, манила вас или приглашала вас войти, или, может быть, она вас не пускала?

– Я полагаю, что она просто была. Просто была и ничего больше, – ответил герр Цирих.

– Просто была, – повторил доктор.

– Именно так, господин доктор. Просто была. Разумеется, уже одним этим она предлагала мне некоторую альтернативу. Можно было, как вы понимаете, войти в нее, но, с другой стороны, ничего не мешало мне пройти мимо... Надеюсь, вы понимаете?

– И вы?

– Послушайте, – сказал господин Цирих, слегка ожившим голосом. – Ну, посудите сами, господин доктор. Раз дверь существует, в нее надо войти. Это аксиома... Хотя, думаю, что на свете найдется много людей, которые придерживаются противоположной точки зрения, но я уверен, что, в конце концов, таков непреложный закон всех дверей.

– Но почему же тогда войти, а не выйти? – спросил доктор. – Разве мы знаем – вход это или выход?

– Не знаю, – ответил господин Цирих, разводя руками. – Не знаю. Может быть, потому, что прежде чем выйти, следует сначала все же войти.

– К тому же, – продолжал доктор Аппель, демонстрируя свое знакомство с логикой, – наверное, есть двери, предназначенные не для нас и, следовательно, всегда существует риск войти не туда.

– Возможно, – согласился господин Цирих. – Очень может быть, что дело обстоит именно так. Но с другой стороны, как мы, по-вашему, узнаем об этом, если не станем входить никуда?.. К тому же, лучше войти не туда, чем не войти никуда вообще.

Это было резонно, и господин доктор был вынужден согласиться. Впрочем, без особого энтузиазма.

– Давайте-ка все-таки лучше вернемся к вашим голосам, – сказал он, поднявшись со стула, чтобы слегка размять затекшую спину. – Что же они вам все-таки пели, герр профессор?

– Не знаю, как это называют, – ответил господин Цирих, – но, что бы они там ни пели, я все это запомнил наизусть.

– Ничего лучше, пожалуй, нельзя было бы себе и представить. Замечательно, господин профессор, нет, просто великолепно. Непонятно только, как вам это удалось, даже если принять во внимание вашу блестящую память, о которой ходили легенды. Разве вы не говорили, что в этом пении, похоже, не было ни слов, ни мелодии?

Кажется, на лице господина доктора появился, наконец, неподдельный интерес.

– Там было кое-что другое, – сказал господин Цирих.

– Я надеюсь, – доктор Аппель тщательно подыскивал слова, – я надеюсь, что вы не откажитесь, так сказать, озвучить это «другое», герр профессор?

Наверное, слово «озвучить» было тут не вполне уместно, потому что господин Цирих слегка поморщился и вздохнул.

– У меня не слишком хороший слух, – сказал он, постукивая указательным пальцем по правому уху.

В ответ доктор Аппель пообещал, что ни в коем случае не будет в претензии.

– С другой стороны, конечно, дело здесь совсем не в слу-

хе, – задумчиво продолжал господин Цирих, так, словно он был не до конца в этом уверен.

Доктор Аппель охотно с этим согласился.

– Боюсь, все же, что это не доставит вам никакого удовольствия.

И опять доктор Аппель поспешно заверил его, что дело идет вовсе не об удовольствии.

Выслушав это, господин Цирих посмотрел на доктора и сказал:

– В последнее время мне часто приходится испытывать странное чувство, которое заключается в том, что тебе совершенно невозможно угадать, что же случится в следующую минуту твоей жизни и поэтому можно ожидать чего угодно, включая даже самое невозможное. Вам это знакомо, герр доктор?

– Да, – сказал доктор Аппель, думая, что, пожалуй, такое с ним случалось.

– Иногда это происходит даже тогда, когда ты просто выходишь на улицу, – продолжал господин Цирих. – Или когда готовишься ко сну. Или, наоборот, когда просыпаешься утром и открываешь глаза... Что-то ждет тебя, но что? Что?

– Такое случается, – повторил доктор Аппель.

– Как же странно все устроено, – негромко продолжал господин Цирих, поднявшись на ноги и выходя на середину палаты. – Не годится петть это лежа, – пояснил он, одергивая пижаму. Затем аккуратно застегнул две пуговицы на вороте

и замолчал, немного опустив голову и закрыв глаза.

– Что-нибудь не так? – негромко спросил доктор, когда пауза, по его мнению, довольно затянулась.

Вместо ответа господин Цирих неожиданно выкинул в стороны руки и издал протяжный вой – печальный и, как показалось поначалу доктору, довольно однообразный. Сильные звуки заполнили палату.

Немедленно после этого дверь в палату отворилась и в дверном проеме возникло лицо санитаря. За ним маячило лицо медсестры. Господин Аппель сделал рукой знак, означавший, что все в порядке.

– Продолжайте, продолжайте, господин профессор.

Но господин Цирих, впрочем, и не думал останавливаться. Закрыв глаза, размахивая руками, он выл, надувая щеки и выставив вперед челюсть, заставив доктора даже слегка отойти в сторону в опасении, что поющий ненароком заденет его.

Впрочем, это не помогло. Протяжный вой, то затихающий, то вновь набирающий силу, накрыл доктора с головой. Пожалуй, можно было подумать, что певец пытается подражать полицейской сирене, и при этом не без некоторого успеха.

Перед внутренним взором доктора, впрочем, возникла совсем иная картина: залитая лунным сиянием снежная равнина, траурный частокол подступившего леса, пепельное небо и падающий откуда-то сверху вой, звуки которого, каза-



лось, дробились и застывали в морозном воздухе ледяными фигурами, превращаясь в буквы и слова, из которых, словно из льдинок, складывался текст 7-го параграфа второго тома «Собрания теологических глав», критикующих позицию Дунса Скота в отношении Божественного всемогущества...

Отогнав от себя это видение, господин доктор обнаружил, что палату заполнил какой-то курлыкающий звук – нечто вроде «куинг, куинг, куинг», – перемежающийся с легким пощелкиванием и безыскусным шипением (так, как будто быстро-быстро повторялись, чередуясь, буквы «ж» и «с»). Затем в горле у господина Цириха что-то булькнуло, подбородок его задрался вверх и, по-прежнему не открывая глаз, он издал великолепное «пи-у-у, пи-у-у», которое было подобно острому, словно бритва, ножу, просвистевшему над головой доктора. Звук ударился о стену и быстро сменился умопомрачительной трелью, заплясавшей по палате, словно сумасшедший заяц. (Судя по изогнувшейся правой брови господина Аппеля, можно было предположить, что он был близок к мысли, что подобные звуки ни при каких обстоятельствах извлечь из человеческой груди невозможно.)

Конечно же, это было, ни в коем случае, не пение, но все же нечто, имеющее некий тайный смысл, завораживающий тебя какой-то архаической гармонией, подобно сложенному из огромных, едва обработанных камней, величественному строению, чье назначение оставалось загадкой, хотя само оно и манило, и тревожило воображение.

Перед взором господина Аппеля вновь возник черный лес и мерцающая равнина, после чего он неожиданно для себя вспомнил, что параграф семь «Собрания теологических глав» заканчивается словами: «...что и требует от нас навсегда отказаться от точки зрения, смешивающей Божественную волю с произволом».

– Бзя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, – пел между тем певец, кажется, с удовольствием демонстрируя все новые и новые возможности своего искусства.

Щелканье, шипенье, куинг, куинг, куинг, – каменные глыбы громоздились над головой доктора Аппеля все выше и выше, они складывались в стены и башни, плели путанные лабиринты и глубокие подземелья, превращая пустое пространство в переходы, лестницы и висячие мосты –

щелканье, шипение, устремленная к звездам трель и, наконец, рыдающий клетот, видимо, требующий от исполнителя немалых усилий, потому что лицо господина Цириха вдруг приобрело несколько лиловатый оттенок и на лбу выступили жилы.

– Наверное, достаточно, – мягко сказал доктор Аппель, протягивая руку, чтобы остановить герра профессора.

Клетот, куинг, куинг, куинг, бзя-а-а-а...

Впрочем, почти сразу вслед за этим все перекрыл высокий трубный звук, который – как показалось доктору – взлетел выше небес прямо от стен Иерихона и внезапно смолк, словно его отрезали. Пенье закончилось.

Достав платок, доктор Аппель незаметно вытер со щеки попавшую туда слюну исполнителя.

Господин Цирих провел ладонью по лбу, затем он открыл глаза и глубоко вздохнул. Видно было, что он возвращается назад и это, похоже, дается ему не без труда.

– Благодарю вас, – сказал доктор Аппель, когда господин Цирих вновь уселся на край своей кровати. Затем он тоже опустился на стул и добавил:

– К сожалению, – добавил он осторожно, чтобы не огорчить собеседника – к сожалению, я не совсем уверен, что сумел обнаружить здесь какую-нибудь дверь.

## 47. Некоторые насущные проблемы запоздалого отцовства

– Пожалуй, было бы правильно не сожалеть о том, что не нуждается в наших сожалениях, – сказал, наконец, господин Цирих вновь забираясь с ногами на постель. – Знаете, что я вам скажу, господин доктор?.. С некоторых пор я стал подзревать, что это совсем не в наших силах – обнаружить подобные двери, как будто это потерянные ключи или оставленный в метро портфель с рукописями. Скорее, эти двери сами находят нас, когда приходит время.

– Возможно, – согласился доктор, впрочем, кажется, только затем, чтобы что-нибудь сказать. В ушах его все еще звенел заключительный трубный аккорд этого незабываемого пения.

– Можете даже не сомневаться, к сожалению, так оно и есть, – продолжал господин Цирих. – Сколько бы ни призывали нас к тому, чтобы стучать, добиваясь, чтобы тебе открыли, но без дверей все эти призывы, все равно, что пустой звук. Поэтому все, что мы можем, это сидеть и ждать, пока на нас не наткнется, наконец, какая-нибудь случайная дверь, не то вышедшая на прогулку, не то решившая заняться уборкой вверенных ей помещений... Знаете, как говорится в од-

ном древнем египетском папирусе?.. «Прибывай в готовности, пока тебя не позовут...»

– Пока тебя не позовут, – повторил доктор Аппель. – Что же, звучит совсем неплохо.

– Звучит, может, и неплохо, – сказал господин Цирих, пряча ноги под одеялом. – Если, конечно, не думать о том, что у каждого из нас есть вполне реальный шанс, что его не позовут никогда.

Лицо его вновь потемнело.

– И все-таки постараемся быть оптимистами, – сказал доктор Аппель. – Если бы мы умели просто довольствоваться малым, наша жизнь немедленно стала бы другой.

– Не говорите глупостей, господин доктор, – сердито проворчал герр Цирих. – Если вы думаете этим утешиться, то могу вас уверить, что это еще никому не удавалось.

Но господин доктор, кажется, и не думал уступить.

– Это вовсе не глупости, – сказал он, подвигаясь вместе со стулом ближе к постели господина Цириха. – Нам просто не следует строить невыполнимые планы, а постараться довольствоваться малым, например, привести в порядок свое душевное и физическое здоровье, и тем самым решительно повлиять на всю нашу жизнь.

Да, да, господин профессор, именно так!

Оставить в стороне все пустые беспокойства и ненужные размышления, а вместо этого вплотную заняться нашим драгоценным здоровьем, без которого ведь немислимо и шагу

ступить, и которое, к слову сказать, потом не купишь ни за какие деньги.

В ответ господин Цирих медленно повернул голову и посмотрел на доктора. Взгляд его на сей раз был тяжел и далек.

– Разве вы еще не поняли? – спросил он с горькой усмешкой, сцепив на груди побелевшие пальцы. Голос его вновь стал скорбен и тих. Под глазами легли черные тени. – Сын мой возлюбленный страдает где-то поблизости и не знает о своем страдании, а вы осмеливаетесь говорить мне о каком-то нелепом здоровье!... Возлюбленный сын мой, – глухо повторил он, указывая рукой куда-то в сторону двери.

Потом господин Цирих резко тряхнул головой, отчего длинные волосы его разлетелись в разные стороны, и повторил еще раз, едва шевеля губами:

– Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение...

При этих словах доктору Аппелю почему-то привиделась известная картина Рембрандта, видение которой он, впрочем, тут же прогнал прочь.

– Я полагал, Мартин, – осторожно начал он, чувствуя, как некоторое, пока еще смутное подозрение зашевелилось у него в голове. – Я полагал, герр профессор, что этот вопрос носит, так сказать, характер более теологический, чем бытовой, в том смысле, что дело идет о вещах более божественных, чем житейских... Но, может быть, говоря о вашем сыне, вы имеете в виду, господин профессор, что-то другое?

– А что же, по-вашему, я еще могу иметь в виду, Господи? – спросил господин Цирих.

Можно было подумать, что еще немного – и он разрыдается.

– Как раз об этом я вас и спросил, – доктор Аппель внезапно почувствовал, что он сейчас потеряет нить. – Я думал, что говоря о сыне, вы имели в виду, так сказать, Сына человеческого. То есть, второе лицо Пресвятой Троицы, распятое, как написано в нашем Символе веры при Понтии Пилате. Другими словами, имели в виду нашего Господа, Иисуса Христа.

– Ах, вот оно что! – сказал господин Цирих, на этот раз более чем снисходительно. – Нет, вы ошиблись, господин доктор. Возможно, я сам виноват в этой путанице, но, говоря о сыне, я, конечно, имел в виду только моего собственного, однородного и так далее, сына, которому я довожусь быть отцом, что мне кажется вполне естественным и непротиворечащим человеческим и божественным законам.

– Значит, – сказал доктор Аппель, – разговор шел о вашем сыне?

– О возлюбленном сыне, – еще раз твердо уточнил доктор Цирих.

Небольшая пауза дала возможность собеседникам обменяться настороженными взглядами.

Потом господин Аппель с участием дотронулся до руки господина Цириха и сказал:

– И вам об этом, если я правильно понял, сообщил этот самый голос, не так ли?

– Совершенно справедливо, – подтвердил доктор Цирих.

– И при этом, герр доктор, – осторожно продолжал доктор Аппель, – если верить вашей персональной карте, у вас никогда не было своих собственных детей... Поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь.

– Ну, конечно, герр доктор! – возбужденно воскликнул господин Цирих, морщась, словно своим вопросом доктор Аппель причинил ему боль. – Возможно, что вы всегда умеете точно определить, где кончается это чертово «нет» и начинается «есть». Что же касается меня, господин доктор, то я такой способностью, к сожалению, не обладаю. И все, что я знаю сегодня, это только то, что сын мой возлюбленный страдает где-то рядом и ничего не знает о своих страданиях, в то время как я не знаю даже того, где он находится!

Затем герр профессор с чувством погрозил куда-то в сторону сжатым кулаком, потом упал на подушку и вновь почти до подбородка натянул на себя одеяло.

– Ради Бога, герр профессор, – сказал доктор Аппель, выслушав это весьма сомнительное заявление. – Ради Бога, успокойтесь, Мартин!.. В конце концов, я думаю, что нам имело бы смысл всегда и во всем придерживаться фактов. Тех, которые не дадут нам свернуть с правильного пути и рано или поздно приведут к истине, какой бы она ни была.

В ответ господин Цирих негромко фыркнул.



– Не хочу вас расстраивать, господин доктор, – произнес он холодно, глядя на доктора, – не хочу вас расстраивать, но в данном случае я предпочитаю, чтобы факты, в конечном счете, придерживались меня.

Глаза его за стеклами очков, казалось, горели прозрачным, ледяным огнем.

В ответ доктор Аппель с сожалением развел руками и поднял брови. Вероятно, это должно было означать, что в данном случае, к несчастью, не одна только медицина бессильна.

И в самом деле, Господи! Как только подобное могло прийти вам в голову, герр профессор?

Словно отвечая на недоумение доктора Аппеля, герр доктор сказал:

– Вы думаете, наверное, что я сошел с ума, потому что не могу отличить реальность от фантазии. А ведь я всего только сказал вам то, что вы прекрасно знаете и без меня, герр доктор, а именно: всякое отсутствие того, что с необходимостью должно присутствовать, есть лишь временное и, некоторым образом, случайное, а следовательно, оно должно быть рано или поздно преодолено и исправлено!.. Разве ваше сердце не подсказывает вам этого, господин доктор?

Затем он потянул, освобождая рот, одеяло и твердо добавил:

– Каждый из нас, достигнув определенного возраста, неизбежно становится отцом. Не знаю, кому придет в голову утверждать обратное. Разве что одним сумасшедшим. Но

это уже по вашей части, доктор.

– И тем не менее, – возразил доктор Аппель, – многие все-таки не становятся, как вам известно.

– Да неужели? – господин Цирих, как показалось доктору, посмотрел на него с глубоким отвращением. – И что это, по-вашему, доказывает? Разве не то, что мы живем в проклятом мире, из которого следовало бы поскорее бежать всеми правдами и неправдами?.. Потому что место, где не исполняется назначенное, без сомнения – это проклятое место!

Он фыркнул напоследок и вновь натянул одеяло под самый нос.

Между тем доктор Аппель сочувственно улыбнулся.

Ах, господин профессор, господин профессор, казалось, говорила эта печальная, понимающая и внимательная улыбка. Возможно, вы даже где-то правы, герр профессор, так что, пожалуй, я начинаю вас немного понимать, несмотря на не слишком корректную форму, в которую вы облекли ваши мысли. В конце концов, герр профессор, что может быть естественнее жажды чуда, покушающейся на власть царящего в нашем мире несовершенства? Чуда, жаждущего победы над смертью, страданием, болью? В то же время было весьма затруднительно связать этот почти детский максимализм с тем, что все мы читали в ваших книгах, всегда отстаивающих ту точку зрения, что религия – это вовсе не мечтательный идеализм, а трезвое и мужественное соучастие и сильное сотрудничество с Небесной мудростью, ведущей и

направляющей нас туда, куда следует. (Если я не ошибаюсь, особенно отчетливо эта мысль была высказана в вашей остроумной критике «Тонкого доктора»). Соучастие и сотрудничество, господин профессор. Насколько мне известно, это не то же самое, что самоутверждение и настойчивое домогательство чуда, пусть даже заслуженного... (Похоже, это была не слишком точная цитата из 7-го параграфа «Глав», который, в свою очередь, представлял собой сжатое изложение книги «Дунс Скотт и скоттисты в свете традиций древней Апостольской Церкви».) Не правда ли, господин профессор? Читая ваши книги, трудно было не согласиться с тем, что религиозный максимализм свидетельствует только о слабости и неадекватном восприятии истин веры, как это прекрасно было изложено на последних страницах «Популярной апологетики». Возможно, нам следовало бы теперь более тщательно разобраться во всем этом, господин профессор, тем более что великое множество людей, включая и вашего покорного слугу, искренне согласных с тем, что вы пишете об этом предмете, никогда, боюсь, не согласятся с тем, что вы только что изволили сказать.

– В конце концов, – продолжал доктор Аппель, поднявшись со своего места и прохаживаясь перед кроватью, на которой лежал его собеседник, – в конце концов, у каждого из нас найдется, что потребовать у Неба, ссылаясь на свои естественные права. Кто бы из нас, в самом деле, ни мечтал, не медля больше ни минуты, получить то, в чем он видит се-

бя несправедливо обделенным и обиженным?.. Вы думаете, герр профессор, мне самому не хочется порой закрыть глаза на все, что происходит вокруг и взлететь на крыльях этого максимализма туда, где мне не надо будет ломать голову над теми проблемами, которые каждый божий день ставит перед нами жизнь?.. Можете быть уверены, господин Цирих...

Да, да, господин профессор! В конце концов, все мы время от времени испытываем страстную потребность почувствовать себя Иисусом Навином, повелевающим солнцем! Тем более, господин профессор, что речь, кажется, все-таки идет о справедливости.

– Боюсь только, что пока я буду требовать того, что, возможно, и в самом деле полагается мне по праву, все сестры немедленно позабудут свои обязанности, технический персонал выпьет все запасы нашего спирта, а пациенты разбегутся или перемрут от голода и болезней... Потому что вам прекрасно известно и без меня, что кроме естественного права, господин профессор, на свете есть еще такие вещи, как долг и ответственность...

– Увы, господин Цирих, – продолжал доктор Аппель, разводя с сожалением руками. – Жизнь нуждается в нашей опеке независимо от того, хотим мы этого или нет. Поэтому давайте попробуем поискать утешения в исполнении своего долга, герр профессор... Не думаю, что мы ничего не найдем на этом пути.

Доктор смолк и вновь уселся на свой стул, сцепив на гру-

ди руки, как будто спрашивая всем своим видом: не правда ли, господин Цирих? Что скажите, уважаемый профессор? И даже: интересно, что вы возразите на все это, герр Цирих!

Повернув голову, господин Цирих в свою очередь тоже внимательно посмотрел на доктора.

– Не могу не признать, что в последнее время вы довольно успешно овладеваете искусством проповеди, – отметил он, похоже, не без некоторого сарказма.

Доктор Аппель отметил, что лицо господина Цириха, наконец, слегка порозовело. Он улыбнулся и сказал:

– Наверное, это потому, что в отличие от вас, я внимательно читал ваши книги, – он улыбнулся, словно приглашая этой улыбкой вспомнить господина Цириха, что тот был и по-прежнему остается автором таких замечательных творений, какими без сомнения были и «Популярная апологетика», и «Собрание теологических глав», и «Структура творения», чья безукоризненная логика и здравый смысл оберегали нас от пагубных соблазнов своеволия, не раз и не два напоминая нам о том, что смиряясь с известными обстоятельствами, мы проявляем мудрость и разумную гибкость, тогда как чрезмерные своевольные требования, как правило, имеют своим конечным результатом отчаянье и сомнение.

– Разве не это мы справедливо назовем *грехом*, дорогой профессор?

По лицу господина Аппеля можно было, пожалуй, легко прочесть, что не стоило бы в этом даже сомневаться.

– Не знаю, что вы там читали, доктор, – проворчал господин Цирих, пропуская мимо ушей заданный ему вопрос, – но, без сомнения, вы прямо на глазах делаете успехи.

Тем более, герр профессор, тем более было не лишним спросить, не грешит ли тот, кто вследствие этого отчаянья требует от Бога невозможного, а порой и невысказанного, забывая, что Тот, Кто ведет его по этой жизни, уж, наверное, имеет при этом какую-то одному Ему известную цель?

Одним словом, не разумнее ли было бы довольствоваться малым, чтобы в свое время получить великое, господин профессор? Как, собственно, и написано во всех Книгах, книжках и книжечках, доказывающих в один голос, что смирение и ожидание являются матерью всех прочих добродетелей?

Как написано в человеческом сердце, герр профессор.

– Ах, вот оно что, – сказал господин Цирих, отбрасывая одеяло и вновь усаживаясь на постели. – Хотел бы я знать, уважаемый доктор, кто упрекнет меня в том, что я отправился в путь в поисках своего возлюбленного сына, руководствуясь только собственной прихотью, а ни рискуя всем, что имел?.. Уж не вы ли это, доктор, вместе с вашей хваленой логикой?

Хорошенький, однако, путь, герр профессор, отметил доктор. Сломанный палец и порванная штора. Прекрасное начало для всякого, как вы выражаетесь, *пути*... Во всяком случае, – уточнил доктор, деликатно демонстрируя, что его терпение тоже не вечно, – в этом вопросе со мной согласи-

лись бы, пожалуй, все без исключения.

На губах господина Цириха возникла бледная улыбка.

– Согласие большинства никогда не свидетельствует об их истинности, – кажется, не без удовольствия сообщил он доктору Аппелю. – Но если вам так будет спокойней, то вы можете отнестись к моему пути, как к метафоре, доктор.

– Еще одна метафора?

Не переставая улыбаться, господин Цирих подтвердил это, обнаружив уже не первый раз за сегодняшнюю встречу склонность к иронии. В конце концов, говорила эта прозрачная улыбка, зачем еще нужны метафоры, как ни за тем, чтобы делать нашу жизнь более сносной и понятной? Разве не успокаивают они вечно пугливую человеческую посредственность, опасаящуюся открыто посмотреть в лицо реальности? Посредственность, умоляющую Моше стать посредником между ней и Богом, и довольствующуюся пустыми законами и инструкциями, которые он время от времени приносил ей с горы Хорив? Готовую поклониться золотому идолу, который, конечно же, был ничем иным, как метафорой, делающей Страшное и Последнее понятным, осязаемым и почти ручным... Не исключено, что за этой почти оскорбительной улыбкой таилось, возможно, и нечто большее, например склонность противопоставлять себя всему остальному миру, покоящемуся в объятиях метафор, или же болезненная гордость, упивающаяся собственным бесстрашием, а может быть, и доведенный до нелепости эгоизм, свойствен-

ный, скорее, юности и плохо вяжущийся с возрастом и опытом господина профессора.

Как бы то ни было, но доктор Аппель вдруг почувствовал усталость.

– Позвольте мне воспользоваться одним известным советом, господин профессор, – сказал он, поднимаясь со стула и привычным движением одергивая халат. – Все, чего мне хотелось бы – это убедить вас в том, что единственное, что нам следует делать на этой земле, так это возделывать наш собственный огород, господин профессор... Мне кажется, что этого будет вполне достаточно, чтобы заслужить одобрение и людей, и Творца. Да мало ли найдется для нас дел и внутри, и снаружи, герр профессор?.. В конце концов, мы все прекрасно знаем, что призваны в этот мир, дабы исполнить свой долг, тогда как все остальное, будем надеяться, уж как-нибудь приложится...

Пожалуй, он мог бы добавить к этому и еще кое-что, если бы не господин Цирих, который перебил его самым невежливым и бесцеремонным образом.

– Вы вполне могли бы писать речи для нашего Премьера, – сообщил он, резко опуская ноги с кровати. – Скажите, пожалуйста, какое образцовое послушание! Долг!.. Огород!.. А разве я говорил вам что-нибудь другое?.. Вы ведь не станете настаивать, чтобы я вскапывал чужие грядки, когда у меня есть свои собственные?.. Вот он мой огород, – сказал он, ударяя себя в грудь, словно именно там он держал все свои



сокровища. – Сын мой возлюбленный! И мой долг – помочь ему, насколько это в моих силах...

Конечно, это было бы прекрасно, – говорил печальный взгляд доктора, – и притом, прекрасно, так сказать, во всех смыслах этого слова, если бы только оно соответствовало действительному положению вещей, герр профессор.

Не знаю, что еще могло бы быть более убедительным, говорил печальный взгляд доктора, чем этот самый приведенный им аргумент.

– Поправьте меня, если я ошибаюсь, – сказал господин Цирих, глядя на доктора поверх очков – Да разве не из камней, лежащих при дороге, может Господь сотворить детей Авраамовых?... Так отчего же Он не в состоянии вернуть мне моего сына?

Если доктор Аппель не ошибался, то ни о каком возвращении, кажется, не было сказано до сих пор ни слова.

Однако господин профессор, похоже, придерживался другого мнения.

– Именно, вернуть, господин доктор. Ибо всякий дар есть, прежде всего, возвращение... Да разве есть что-нибудь невозможное для Того, Кому подвластно все без исключения?

– Мне представляется все же, что об этом имеет смысл говорить только в том случае, если небесные планы совпадают с вашими желаниями, господин профессор, – сказал доктор Аппель и, прежде чем господин Цирих нашел, что ответить,

примирияюще поднял ладони.

Довольно, довольно, господин профессор, оставим, наконец, эти ненужные споры и бесполезные аргументы. В конце концов, я готов даже с некоторыми поправками допустить, что ваше мнение имеет такое же право на существование, как и мнение любого другого человека. Хотя, положа руку на сердце, ни у меня, ни у вас все равно никогда не будет возможности выяснить, чья же точка зрения все-таки справедлива... Быть может, в другом месте и при других обстоятельствах, господин Цирих? Разве откажут нам на Небесах в любезности объяснить истинное положение дел, господин профессор? Давайте же просто наберемся немного терпения и подождем.

– О-о, – сказал он, взглянув на часы. – Просто сумасшедший дом. Боюсь, меня уже ждут. Наверное, я загляну к вам где-нибудь сразу после обеда.

– Надеюсь, что вы не будете держать меня здесь до бесконечности из-за сломанного пальца какого-то грубияна? – спросил доктор Цирих.

– Немного терпения, Мартин, немного терпения, – ответил доктор Апель, останавливаясь на пороге открывшейся двери. – Немного терпения и, уверяю, все образуется.

Он ободряюще улыбнулся, словно приглашая господина Цириха поскорее справиться со всеми возможными трудностями, приложив к этому совместные усилия – и шагнул через порог. Дверь за ним мягко закрылась.

## 48. Филипп Какавека. Фрагмент 89

«Старые, давно забытые и погребенные в музейных витринах и на архивных полках истины имеют странное и пугающее свойство воскресать время от времени, являясь перед нами живыми и невредимыми, так, словно бы они никогда и не умирали. Конечно, этому можно найти тысячи удовлетворительных и разумных объяснений. Но ни одно из них не избавляет нас до конца от тревожных сомнений: что, как и в самом деле, эти призраки значат нечто больше, чем то, что мы о них привыкли думать? Что как они и не собирались никогда умирать? Ведь, в конце-то концов, речь идет об истинах! Шуточное ли дело! – Пожалуй, только одно соображение умеет уберечь нас от этих нелепых подозрений, – древняя, но вечно живая уверенность, что всякая истина истинна во всякое время и для всех без исключения. Эти же являются далеко не каждому и лишь тогда, когда захотят».

## 49. Мысли, порожденные созерцанием творожной запеканки

Действительно, творожная запеканка, сэр.

А ведь я, кажется, предупреждал тебя, Мозес.

Творожная запеканка, чья форма напоминала скорее могильную плиту с какого-нибудь мемориального кладбища, чем что-то мало-мальски годное в пищу.

Бог творит формы, не спрашивая на то нашего согласия, Мозес. Не спрашивая нашего согласия, дурачок, и, уж конечно, не интересуясь по этому поводу нашим мнением, зато умело пользуясь нашей бесконечной слабостью, потому что кто бы, в противном случае, позволил Ему издеваться над нами, оставляя лицом к лицу перед разного рода творожными запеканками, которые мы встречаем в этом мире на каждом шагу, не зная, куда спрятать глаза, чтобы они хотя бы немного отдохнули от этого душераздирающего зрелища?

Да стоит только оглянуться вокруг, сэр!

В конце концов, рано или поздно это наводит на мысль о некоторой безответственности и произволе, которые мы бессильны остановить – вот, собственно говоря, на что я намекаю – и при этом, как вы можете убедиться, пока еще весьма и весьма сдержанно.

Похоже, ты намекаешь на то, что Небеса, так сказать, не совсем компетентны, или что-то в этом роде, насколько я могу судить по твоим словам, Мозес?

Полагаю, что вы уловили самую суть, сэр.

Запах некомпетентности – вот что это такое.

Иначе чем же, по-вашему, можно объяснить тот очевидный факт, что на каждом шагу мы сталкиваемся с формой, которая ни в коем случае не соответствует содержанию. Или с содержанием, которое совершенно не отвечает своей форме, сэр?

Возьмите для примера хотя бы этих двух сестричек милосердия: эту Эвридику, и эту Хлою, которых в отделении прозвали Мясная Мелочь, хотя между ними столь же мало общего, как между улыбкой Джоконды и улыбкой господина Президента, когда он пытается эту самую улыбку Джоконды изобразить на своем лице!

Послушай-ка, Мозес...

И при этом, заметьте, абсолютно безрезультатно, сэр.

Я уже давно хотел тебе сказать, Мозес, что по утрам ты бываешь просто несносен.

Зато я не прикидываюсь Джокондой, сэр.

Ей-богу, было бы лучше, если бы ты ею прикидывался. В конце концов, пора бы уже, кажется, тебе понять, что за господина Президента голосуют именно потому, что он умеет прикидываться чем и кем угодно, – Джокондой, Рогом Изобилия или даже Девой Марией, если это зачем-то пона-

добиться. Поэтому давай-ка лучше все-таки вернемся к Мясной Мелочи, дружок, пока, знаешь ли, у меня не лопнуло терпение.

Да сделайте такое одолжение, сэр. К Мясной Мелочи, так к Мясной Мелочи. Вы только ткните пальцем в ту из них, о которой вам бы хотелось услышать. В тощенькую Хлою, которую можно принять в сумерках за вешалку для одежды, или, напротив, в жирненькую Эвридику, которую, как говорится, за два дня не объехать и уж тем более – не обойти, так что, говоря о ней, местные острословы называют ее то Монбланом, то Араратом, то горой Килиманджаро, в зависимости от того, что быстрее приходит им в голову. В любом случае, куда бы вы ни ткнули, сэр, можете не сомневаться, – если вам нужен пример, подтверждающий, что беда нашего времени заключается в том, что форма – это одно, а содержание – совершенно другое, – то лучшего примера, чем этот, вам, пожалуй, будет не найти. Потому что, если бы вы посмотрели на них в то время, когда, дождавшись обеда, они запираются в процедурной и, достав домашние припасы, начинают чавкать, хрумкать, причмокивать и хрустеть, – если бы вы имели возможность посмотреть на это, а потом каким-либо образом перевести свой взгляд на последствия этого хрумканья и чавканья, то оказалось бы, что результаты его всегда прямо-таки диаметрально противоположны ожидаемым. Так что иногда кажется, будто хрумкающая Хлоя становится прямо на глазах еще вешалкообразнее,

тогда как жирная Эвридика, напротив, тучнела, расплывалась и наливалась жиром. И глядя на это, вам бы волей-неволей пришлось признать, что в своем, так сказать, историческом падении мы, возможно, достигли самого дна, где форма уже никак не зависит от содержания, а может быть, даже противоречит ему и с ним враждует, так что только слепой мог, например, не заметить, что, несмотря на свою худосочность и жилистость, Хлоя была девушкой доброй и внимательной, чего никак нельзя сказать про Эвридику, которая на некоторых слабонервных, случалось, наводила панический ужас одним только своим появлением, не говоря уже про вызовы на процедуры или раздачу лекарств, которые обычно сопровождались голосом, напоминающим громыхание листа железа в ненастный осенний день, когда хочется совершить что-нибудь этакое, но при этом совершенно непонятно, что же именно.

Мне кажется, я перестал понимать, о чем ты говоришь, Мозес. Ты мелешь языком, как ветряная мельница.

С той только разницей, сэр, что ветряная мельница не скажет вам всей правды, которую скажу вам я. Этой ужасной правды, сэр, которая заключалась в том, что даже человеку мужественному и бывалому трудно было устоять перед этими мегалитическими формами и приходилось немедленно, дабы не признать себя побежденным, бросаться поскорее наутек, опасаясь быть настигнутым этим океаном плоти, этим грозovým облаком, этим туманным пространством удушаю-

щих миазмов, в которых так легко было затеряться и утонуть, захлебнувшись среди этого ходячего моря жира, косметики и хлюпающих звуков; так что многие находили предпочтительным и более достойным отдаться в руки неумолимой судьбе, чем нанести этому Левиафану в белом халате душевную травму, ранив его жестокостью отказа и поставив, так сказать, лицом к лицу с несовершенством мира, ярким представителем которого, собственно говоря, являлся он сам.

В смысле – «Левиафан», Мозес?

В смысле – «Левиафан», сэр.

Но отчего же ты тогда замолчал, дружок?

Я замолчал, сэр, потому что все вышеизложенное, как мне кажется, наводит нас на некоторые мысли, которые, возможно, не следовало бы высказывать вслух. И в первую очередь, разумеется, мысль о том, что прими мы во внимание все вышеизложенное – и мужская душа невольно покажется нам гораздо более склонной к самопожертвованию, готовности пострадать за ближнего, чем душа, принадлежащая противоположному полу, который обыкновенно рассматривает все, что ни попадется ему в руки, более практически, чем отвлеченно и, так сказать, *sub spacia aeternitatis*, что в нашем случае можно перевести, как «не для домашнего пользования».

Возьмите для примера женщину, сэр, которой на ее пути попалось что-нибудь *новенькое*, – новая ли вещь, или новый человек, или новое стечение обстоятельств, – и вы увидите,



сэр, что она немедленно захочет употребить это новенькое в дело, привязав его к ее интересам и желаниям. Если же вдруг выяснится, что это по каким-то причинам невозможно, тогда она просто-напросто теряет к этому новому всякий интерес и хорошо еще, если не устроит при этом какую-нибудь гадкую сцену... Разве таков мужчина, сэр?

Надеюсь, ты не станешь снова вспоминать о Джоконде, Мозес?

Я буду вспоминать только о том, что сейчас к месту, сэр.

О праведном беглеце по имени Иона.

О праведном беглеце, о котором все знают только то, что его съел Кит. И никто не помнит, что сам этот недружественный акт с очевидностью подтвердил правоту его слов, утверждавших задолго до Сократа, что лучше быть глотаемым, чем глотающим; или же другими словами – что гораздо лучше претерпеть несправедливость самому, чем подвергнуть ею кого-нибудь другого.

А ведь это мог сказать только настоящий мужчина, сэр. Настоящий мужчина, который не только сказал, но и воплотил сказанное в жизнь, дав проглотить себя этому нечистоплотному животному, умевшему только ставить в неловкое положение своего Создателя, без конца ссылаясь на пятый параграф Рыболовецкого Кодекса, где, среди прочего, было сказано, что Киты находятся под особой защитой и опекой этого самого Кодекса, текст которого легко найти в любом рыболовецком магазине. Хочу вас уверить, сэр, что если

бы сегодня какой-нибудь облеченный высшей властью идиот сказал что-нибудь, хотя бы отдаленно похожее на то, что произнесли когда-то уста праведного Ионы, его рейтинг немедленно снизился бы до нулевой отметки. Зато ангелы на небесах немедленно воспели бы ему хвалу и занесли его имя в Книгу Жизни, а святые и праведники всех рангов приходили бы к нему во снах, чтобы утешить его и поддержать.

Признаться, я не уверен, что помню, чтобы Иона говорил что-либо подобное, Мозес.

Еще как говорил, сэр. Новая редакция книги, восстановленная на основании папирусного фрагмента из Оксиринха, найденного в 1921 году госпожой Элизабет Браун и благополучно хранившегося в Британском Музее до 1929 года под регистрационным номером 32066, пока его не похитил некий Самаэль Клер, лаборант и по совместительству сумасшедший, который втемяшил себе в башку, что папирус, в котором рассказывалось об Ионе, и Иона, о котором рассказывалось в папирусе, это совершенно одна и та же субстанция, – мысль, которая довела беднягу до полной прострации, потому что он не знал, что, собственно, с ней следует делать. Об этом писали все столичные газеты, сэр. Когда полиция окружила его на Трафальгарской площади, он просто-напросто сожрал этот злосчастный документ на глазах у рукоплескавшей толпы, после чего разум его окончательно помутился, и он объявил себя тем самым Китом, во чреве которого упокоился на три дня Иона. Если я правильно помню, то он

всегда голосовал за лейбористов, сэр. Я говорю, конечно, об этом пожирателе папирусов, а не об Ионе или, упаси Боже, о господине Ките, как вы, возможно, могли бы подумать, сэр.

Последнее звучит весьма утешительно, Мозес.

Весьма утешительно, сэр.

Хотя, положи руку на сердце, следует согласиться, что все вместе это выглядит просто какой-то чепухой, если только употребить это слово, так сказать, в некоем переносном смысле, как если бы Ионе пришлось говорить что-нибудь подобное свободно и от чистого сердца, тогда как мы все знаем, что он говорил под нажимом обстоятельств, несколько не уступая в этом ни самому Сократу, ни его ученику Платону, учившему, что Истина дергает нас за ниточки, понуждая к тем или иным действиям, так что все, что мы делаем, мы делаем несвободно и под нажимом обстоятельств. Это касается и твоего Ионы, и всех ныне живущих, и всех ныне умерших, и всех тех, кто еще только намеревается родиться в будущем, – хотя гордиться тут, по-моему, совершенно нечем. Потому что – раз все, что мы говорим, мы говорим под нажимом обстоятельств, которые всегда загоняют нас в тот угол, в который хотят, то и все разговоры о долге, человечности, гуманизме, свободном выборе, любви к ближнему и все такое прочее, есть, повторяю, только чепуха, которая сама проситься к нам на язык не свободно, а опять-таки, в силу определенных условий... Да возьми хотя бы того самого Иону, Мозес. Стоило ему открыть рот и высказать то, что

на самом деле лежало на сердце, как на него немедленно набросился этот самый Кит и чуть было не уходил его по Божьему благословению так, что тому пришлось прикусить себе язык. А когда он попробовал высказать свое недовольство Небесам, то ему тут же заткнули рот дешевыми фокусами, от которых стошнило бы и менее тонкого человека, Мозес. Ты ведь знаешь, как легко человек затыкается, стоит только подсунуть ему в виде аргумента какое-нибудь третьеразрядное чудо?.. Не думаю, чтобы после всего этого, ему захотелось бы снова сказать то, что он думал на самом деле... Надеюсь, ты следил за моей аргументацией, Мозес. Может быть, хочешь что-нибудь возразить, дружок?

Разве только то, сэр, – что бы вы там не говорили, он все-таки нашел в себе силы сказать то, что считал нужным. А именно – что лучше быть проглоченным, чем глотать самому.

Как хотите, сэр, но в этом чувствуется какая-то сила и какое-то достоинство. Мощь и удаль, сэр. Мощь, удаль и простор. Что-то от бронзового памятника, который даже будучи засижен птицами, наводит нас на всякого рода нравственные размышления, склоняя к давно забытому вкусу добрых побуждений.

Ну, это уж как придется, Мозес. Как придется, дурачок. Во всяком случае, я не сочту за труд повторить тебе еще раз, что если Иона и излагал какие-нибудь свои соображения, то он излагал их, так сказать, принудительно, то есть несвобод-

но и через силу. Как если бы, например, на него ночью напала толпа консерваторов и заставила бы его читать вслух программу их партии. Как все его лейбористское нутро при этом протестовало и обливалось кровью, в то время как язык, напротив, произносил бы со страху все, что от него требовали, а щеки пылали бы стыдом за то, что произносил его язык, да к тому же в голове бы стоял такой грохот, как будто там бодро маршировал взвод барабанщиков! Но кто бы тогда решился осудить его, Мозес? Кто бы потребовал исключить его из лейбористской партии и лишить заслуженной пенсии? Еще бы ему было не читать эту чертову программу! Куда было и Ионе, в самом деле, тягаться с Китаом, которого не то что проглотить, но немислимо было даже представить проглоченным или хотя бы только приготовленным под майонезом и тертой редькой? Надеюсь, теперь ты поймешь кое-что важное, дружок. Источник морали, Мозес. Бьющий из этого самого места, где мы с тобой сейчас стоим. Божественный родник, который легко формулирует себя для всех, кто хочет слышать его журчание: если ты не в состоянии чего-нибудь схавать сам, то все, что тебе остается, это немедленно объявить саму мысль об этом аморальной, то есть противоречащей естественному закону и божественной воле... Если ты не в состоянии, болван... Повтори-ка, дружок и сохрани для будущего на скрижалях твоей памяти.

На скрижалях моей памяти, сэр.

Вот именно, Мозес. Потому что дело идет о вещах весьма

важных, если ты еще не понял. Мораль, милый. То, до чего не могут дотянуться наши руки. Тень реальности, дружок. Не глотай то, чем можешь подавиться. Странно, что эта аксиома еще не нашла себе места в Меморандуме Осии, где-нибудь между *«Внимай с благоговением»* и *«Каждый человек имеет право не помнить»*. Не глотай то, чем можешь подавиться, Мозес. Зато, если уж можешь, то глотай, не задумываясь, все, что тебе подвернулось. Хотя последнее, как правило, встречается с нами чрезвычайно редко, потому что глотаем-то, главным образом, не мы, – глотают, главным образом, нас.

Вот именно, сэр. Нас.

Но ты ведь не станешь возражать против этого, Мозес? В конце концов, – для того, кто хочет видеть, – в морали всегда есть что-то возвышенное и даже религиозное, поскольку она приучает нас к смирению, не скрывая от того, что всех рано или поздно проглотит эта чертова Жизнь, которая делает это, ей-богу, не хуже того самого Кита. И в этом, конечно, нет ничего – ни плохого, ни хорошего, а есть только то, что есть. То есть, это самое хрум-хррум и ничего больше, – тогда как с другой стороны этого хрум-м-хрума мы найдем широкое пространство для моральной деятельности, занятой, главным образом, тем, чтобы очертить перед нами границы наших возможностей. Тогда как действительно приятная сторона всего этого заключается в том, что мы можем легко видеть, что всякая мораль не является делом слож-

ным и малодоступным, поскольку ее, и без того, небольшие требования не занимают много места и легко уместятся в небольшом пожелании приятного аппетита!.. Приятного аппетита, Мозес. Бэтэвон, дружок... Только, пожалуйста, не делай такое лицо, как будто ты находишь в этих рассуждениях нечто вопиющее.

Мне почему-то кажется, что сегодня вы говорите в высшей степени аморальные вещи, сэр.

Да что ты, Мозес, еще какие моральные! Или ты еще не понял, дружок, что я говорю эти вещи вынуждено и, так сказать, под давлением? Принуждаемый самой истиной, как какой-нибудь Парменид или Джордано Бруно. Со всеми, между прочим, вытекающими отсюда последствиями, главное из которых заключается в убеждении, что всякое убеждение похоже на зимнюю одежду. Придет весна – и мы снимем его, с сожалением или радостью, чтобы примерить одежду по сезону...

Конечно, ему следовало бы для полноты картины добавить: и откроем все окна в силу требований, предъявляемых некоторыми физиологическими процессами, сэр. В силу того этого самого физиологического процесса, который носил имя «обоняние».

Запах творожной запеканки, сэр. Некий омфалос всех дурных запахов, какие только можно себе представить. Их общий знаменатель, если угодно. Сосредоточие скверны и, как мы установили выше, вопиющей некомпетентности.

Можно было бы попытаться запить ее кофе или зажевать хлебом, но из прошлого опыта Мозес хорошо знал, что это ни в коем случае не поможет. Как не поможет ни жалоба, ни даже скоропостижное бегство. Потому что в любом случае ты унесешь этот запах в своих волосах, на коже и в складках одежды. А потом удивляться, что он преследует тебя наяву и в сновидениях, навевая ненужные воспоминания о том, как ты чуть было ни пострадал от нашего местного Левиафана, – от этой Мясной Мелочи, у которой поднялась рука на такого, в общем-то, временами безобидного Мозеса, – уж не знаю, была ли на это Божья воля или случившееся случилось, так сказать, случайно, будучи само по себе столь несущественным, что не входило ни в какие божественные планы или, скорее, входило в отсутствие этих самых планов. Если, конечно, так можно выразиться об области божественного... В конце концов, кто это может в точности знать, сэр? Покажите мне пальцем на такого человека, и я буду смотреть ему в рот до конца своих дней.

Похоже, ты опять намекаешь, Мозес, что на свете существуют такие области, где Божественное провидение молчит?

Как камень, сэр.

Молчит, как камень.

Не хуже какого-нибудь там гранита или базальта, чья неразговорчивость давно уже вошла в поговорку.

И хоть при этом я знаю множество божественных мест, где



вдруг кончается все человеческое и обнаруживается нечто, ему, на первый взгляд, противоположное, – множество мест, похожих в некотором смысле на оазисы, которые вдруг совершенно неожиданно возникают перед тобой, когда ты их меньше всего ждешь. Подобно тому, как высказывали они когда-то перед Моисеем, который время от времени наткнулся на эти священные рощицы, холмики или камни, где следовало снять обувь и говорить уважительно и вполголоса, помня о различии между тобой и Тем, Кто говорил тебе с неба, или из горящего куста. Однако при этом все эти места оставались, так сказать, сами по себе, никак не желая связываться друг с другом, подобно тому, как связываются в единое целое параграфы в воинском Уставе или элементы в таблице Менделеева. А значит, в промежутках *между ними* как раз и было то самое пространство, где Провидение молчало, а Милосердие и Сострадание не давали о себе знать – то есть пространство, где помещался весь обозримый и известный нам из книг мир, который более всего на свете желал быть единым и даже, кажется, был им, изо всех сил цепляясь за свое единство. На это, в частности, указывал еще и тот факт, что если в этом мире что-то и знали о Небесном, то только потому, что оно всегда представлялось естественным и необходимым условием единства земного. Хотя в последнее время это вызывало у Моисея большие сомнения.

Ибо – сказал бы он, если бы кто-нибудь вдруг позвал его, чтобы он высказал по этому поводу свое мнение, – ибо – ска-

зал бы он, делая серьезное лицо и призывая слушателей отдать самим себе отчет в том, что им, наконец, выпало узнать нечто любопытное, – ибо, хотя топография Божественного Присутствия и Отсутствия известна нам сегодня, пожалуй, чуть-чуть лучше, чем она представлялась во времена Моисея, все же кой-какие известные нам наброски, кой-какой абрис, кой-какие весьма и весьма примерно очерченные задним числом пространства, которые – будь они нанесены на бумагу – все равно представляли бы собой только отдельно и бессистемно рассыпанные точки, кружочки, замысловатые черточки, не дающие никакого представления о целостной картины, а только о самостоятельных топосах, требующих всегда живого человеческого присутствия, из чего следовало, что о каком бы то ни было единстве лучше забыть. А помнить только о тех, явно не имеющих отношения к нашему богооставленному миру, местах-оазисах, среди которых можно было при желании различить места Божественной Глухоты или Божественной Нерасторопности, места Божественного Высокомерия, Божественного Зубоскальства или Божественного Смеха, и далее – места Божественного Утешения, Божественной Помощи, Божественного Понимания или Божественной Игры, и прочие, часто друг другу противоречащие или друг друга отрицающие места. Разумеется, не последнее место занимали и места Божественного Молчания, среди которых, в свою очередь, можно было обнаружить вызывающе молчавшее в ту самую пятницу, когда Левиафан

уже облизывался, предвкушая вкус его крови, а Небеса дремотно молчали. Ведь что им, собственно, было за дело до какого-то там Моисея, оказавшегося совершенно против собственной воли почти на краю гибели – от чего, конечно, ему было ничуть не слаще?

Ничуть не слаще, уверяю вас, сэр.

Тем более что все это произошло в ту самую пятницу, в самый канун рабочего дня, когда персонал клиники, сняв белые халаты, потянулся к выходам, а судьба уже готовила свои незамысловатые орудия, с помощью которых она вершила свою работу, а именно – Ложь, Страх и Вожделение.

## 50. Филипп Какавека. Фрагмент 401

«Право же, это дурные манеры: махать руками и выходить из себя, пытаясь настоять на своем. Пора бы, кажется, уже давно смириться с тем, что этот мирок, который мы все еще по привычке называем «нашим», давно принадлежит домашним хозяйкам. Они смотрят мимо нас своими пустыми глазами и говорят: «Это наше твердое убеждение». – Что, разве у нас уже не осталось места, где мы могли бы *настоять на своем*? Места, не указанного ни на каких картах? Кто думает, что это место – наш мир, у того, право же, не все ладно со вкусом. В противном случае, разве стал бы он размахивать руками и кипятиваться, убеждая домашних хозяек в необходимости ко всем прочим заповедям исполнять еще одну: познать самих себя?»

## 51. Эвридика, но не та, о которой будет речь позднее

Конечно, это была совсем не та Эвридика, о которой следовало бы распространяться, не жена Орфея и все такое прочее, о чем можно было прочесть у Гомера или Овидия. В конце концов, это была всего лишь до невозможности несуразно толстая медсестра, которая носила то же имя, что и древняя героиня, в чем, конечно, нисколько не было ее вины, потому что никто ведь не виноват, если твоим родителям пришло в голову назвать тебя Эвридикой, хотя в лучшем случае ты даже в детстве тянула только на какую-нибудь из Эриний. Как бы то ни было, эта история случилась в ту самую чертову пятницу, когда весь персонал клиники бросился к выходам, кроме, разумеется, тех, кто дежурил. И среди этих последних, конечно, эта грозовая туча, это облако дыма над Помпеями, эта десятитомная, неподъемная «Всемирная история», один из томов которого когда-то упал и убил пробегающую мимо кошку. Конечно, никому и в голову не приходило называть это седьмое чудо света «мадемуазель Эвридика» или «госпожа Эвридика», или хотя бы просто «фрау Эвридика». Все всегда, и к месту, и не к месту, называли ее «Мясная мелочь», что было, конечно, не совсем справедли-

во, потому что даже при очень большой фантазии нельзя было, ни в коем случае, посчитать эту «мелочь» – «мелкой».

И вот теперь эта «мелочь», наваливаясь на подвернувшегося ей Мозеса и почему-то обращаясь к нему почти шепотом, сказала:

– Нам надо отнести вот это в подвал, Мозес. Помогите мне. Уже шестой час.

Говоря это, она посмотрела на Мозеса с некоторой задумчивостью, словно оценивая, на что именно этот самый Мозес годится, если годится вообще.

Взгляд – как уже потом оценил Мозес, – похожий на взгляд хозяйки, которая, остановившись в дверях курятника, неторопливо выбирала для праздничного обеда курицу получше, чтобы поскорее отнести ее к резчику.

Всякий раз, когда он видел ее, ему казалось, что прямо на его глазах большая туча закрыла солнце, отчего вокруг становилось неуютно и сыро. Чтобы представить себе, о чем, собственно, речь, достаточно было знать, что халат Эвридики был сшит по заказу из двух халатов.

Намереваясь ускользнуть, Мозес издал неопределенное:

– Э-э.

И даже рукой махнул куда-то в сторону, давая понять, что, слава Всевышнему, у него еще остается на сегодня целая куча работы, которую никто за него делать не станет.

– Нет, нет, Мозес, мы должны обязательно это отнести, – строго сказала Эвридика, как будто он ей подчинялся и дол-

жен был беспрекословно выполнять все, что могло прийти ей в голову. – Смотрите, конец смены, никто ведь за нас этого делать не станет, как вы понимаете. – Глаза ее при этом загадочно вспыхнули, словно посылая Мозесу какой-то таинственный сигнал. Слово «обязательно» отчего-то придавало сказанному совершенно двусмысленный характер, а «никто за нас» так и вообще прозвучало почти неприлично.

Дурное предчувствие, которое он ощутил в глубине души, как будто посоветовало ему поскорее разобраться с этим непредвиденным обстоятельством, а уж потом давать ему какую-либо оценку.

– Ну, хорошо, – сказал он, тяжело вздыхая и наклоняясь, чтобы взять за ручку пластиковую канистру, давая себе клятву впредь внимательно смотреть, кто сидит в стеклянной будочке для дежурной медсестры, прежде чем отправляться болтаться по отделению. – Куда это?

– В подвал, – Эвридика схватила за вторую ручку.

– В подвал, – повторил Мозес, чувствуя, что содержимое канистры составляет, судя по ее весу, обыкновенный воздух, который, по здравому размышлению, совершенно необязательно было тащить в подвал, где его и так было в избытке.

Стоя рядом с Эвридикой в лифте, он вдруг догадался, что резкий, приторный запах, который его тревожил, шел от ее халата и напоминал дешевый мужской лосьон, которым немилосердно поливал себя Рогольчик из Праги, надеясь отбить запах своей сгоревшей семьи, который преследовал его

во время приступов. На всякий случай Мозес задержал дыхание и отвернулся, делая вид, что рассматривает табличку над дверью.

– Это было просто ужасно, – говорила между тем Эвридика, выходя из лифта и шаркая по полу своими чудовищными ногами. – Не спешите так, Мозес. Он орал, как будто у него отрезали хвост.

Некоторые женщины, размышляя Мозес, гораздо черствее и грубее некоторых мужчин, которым даже в голову не пришло бы – взять и кастрировать какое-нибудь бедное животное только затем, чтобы оно не мешало им своими любовными стонами. Мужчина просто выбросил бы кота за дверь и забыл бы о нем, но, во всяком случае, он никогда не стал бы уродовать его ножом ради своего собственного покоя.

Не было сомнения, что с исторической точки зрения сама идея кастрации и принадлежала женщине, которой двигали – помноженные на глупость – зависть, ревность и злоба.

Следовательно, подумал Мозес, вот и еще один аргумент, свидетельствующий о том, что, по мнению Иезекииля, женщины каким-то образом произошли Бог знает от чего, тогда как мужчины сподобились произойти непосредственно из рук Всевышнего.

– Надо было оставить кота в покое и отпускать его гулять, – сказал Мозес, не слишком заботясь о вежливости.

– Мозес, – снисходительно засмеялась Эвридика, как будто он сказал что-то несурзное. – Как же вы не понимаете,



Мозес. Тогда бы он просто замучил всех нас своими воплями.

И правильно бы сделал, подумал Мозес, изо всех сил сочувствуя бедному животному. Мужская солидарность, сэр. Мужская солидарность, о которой тоже не следовало бы забывать.

В облаке этого сочувствия он дошел до поворота, – там, где коридор раздваивался и разбегался в разные стороны, – и здесь вновь услышал голос Эвридики.

– Мозес, – сказала она, неожиданно останавливаясь.

– Что? – насторожился Мозес, почуяв в ее голосе нечто новое.

– Вы любите маслины, Мозес? У меня есть целая банка маслин без косточек. Хотите? Когда мы вернемся?

Она мелко захихикала, – так, словно они уже обо всем договорились и теперь оставалось только утрясти кой-какие несущественные детали, вроде вечной любви, вечной страсти или вечной привязанности.

Когда мы вернемся, Мозес. Когда-то там, после чего-то эдакого, от чего еще никому не удавалось отвертеться, так что, может, и возвращаться-то уже не будет никакого смысла, потому что все кому не лень станут показывать на тебя пальцами и говорить что-нибудь вроде: «Ну ты и жук, Мозес», или «а прикидывался простачком», или гадко хихикая, изображать руками всякие непристойности и провожать тебя взглядами, когда ты идешь по коридору, посвистывая или

причмокивая вслед языком. Если, конечно, мы вообще, вернемся, дружок. Потому что, ко всему прочему, он не один раз слышал эти истории, в которых не все возвращались живыми из похода в подвал, особенно, если их дорога вела налево, где располагался второй морг, у дверей которого, как рассказывали, мертвец загрыз однажды сторожа Карла Тумбера, от которого в результате осталась одна только дужка от очков, да членское удостоверение, благодаря которому все узнали, что сторож Тумбер состоял в партии Ликуд... Одним словом, следовало бы быть настороже.

– Я больше люблю морковь, – сказал Мозес.

– Шутите, – Эвридика продолжала мелко хихикать, так что ручка в руке Мозеса тоже мелко тряслась и казалась живой.

– Нет, это правда, – сказал Мозес, чтобы что-нибудь сказать. – Больше всего я люблю третью морковь.

– Сюда, Мозес.

Поворот налево. Как он и думал. Возможно, услышав их шаги, мертвец уже открыл свои мертвые глаза и слегка улыбнулся, давая понять, что на его улице сегодня определенно будет праздник. Мозесу вдруг показалось, что его ноздрей коснулся запах формалина.

Возле железной двери, закрытой на щеколду и замок, Эвридика остановилась и опустила канистру на пол.

– Сейчас, Мозес, – она зазвенела ключами, затем толкнула дверь и сказала:

– Входите.

Ему показалось, что голос ее дрожит от нетерпения.

Щелчок выключателя заставил его на мгновение зажмурить глаза. Когда он вновь открыл их, Эвридика уже стояла рядом.

– Видите, как тут прохладно. Правда, хорошо? На улице жара, а тут как будто включен вентилятор.

– Не уверен, – Мозес озирался по сторонам. – Это ведь не морг?

– Конечно это морг, – снова хихикнула Эвридика, махнув рукой в сторону железной двери со стеклянным окошком. – Там, дальше.

Чистое, кафельное пространство, разбуженное неяркой лампой. Торчащие из стены краны и перепутанные черные шланги. Металлические каталки, чье назначение никаких сомнений не вызывало. Негромко гудел холодильник, готовый в любой момент утратить, в случае необходимости, свою мощь.

Царство смерти, Мозес. Точнее, предбанник в это самое царство, о котором иногда доходили смутные слухи, но о котором никто ничего толком не знал, кроме тех, разумеется, кто приехал сюда на этих каталках. Но они умели хранить тайну.

Между тем, события развивались стремительно, хотя и вполне предсказуемо.

– Мозес, – глухо сказала вдруг Эвридика, глядя на него

широко открытыми глазами и слегка наклонив голову. – Ну, что вы, в самом деле, как неживой?

– Я? – спросил Мозес, неожиданно представив против собственной воли, что он и в самом деле уже давно умер и теперь подстерегает одиноких сторожей, болтаясь здесь без всякой надобности, вместо того, чтобы лежать на одной из этих каталок и не портить настроение живым.

– Я? – повторил он, отгоняя от себя это печальное видение и чувствуя, что что-то уже происходит, хотя еще трудно было сказать, что же именно.

– А то кто же? – сказала Эвридика. – Или, может, тут есть другой Мозес?

– Не думаю, – и Мозес оглянулся по сторонам, словно он на самом деле хотел убедиться в отсутствии другого Мозеса.

– Поцелуйте же меня скорее, Мозес, – услышал он ее голос, еще не вполне понимая смысл происходящего, отметив только, что Эвридика вдруг сделала в его сторону какое-то неуловимое движение всем телом, оставаясь в то же время на месте. Мозесу вдруг показалось, что она сейчас начнет таять, – большая снежная баба, которая поплывет, сначала роняя на пол большие водяные капли, потом оседая и набухая водой, голова ее провалится в живот и, наконец, останется только этот халат, намокший и жалкий, словно половая тряпка.

Потом он увидел, как ее неуклюжие пальцы лихорадочно пытаются расстегнуть непослушные пуговицы халата.

– Э-э, – сказал Мозес, не успевая найти нужные слова, – так, словно он внезапно был застигнут падением высокого книжного шкафа, которое еще только начиналось, но его уже невозможно было остановить. Оставалось лишь постыдное бегство.

Толстые пальцы никак не могли справиться с пуговицами. Под халатом, к ужасу Мозеса, похоже, не было ничего.

– Мозес, – сказала между тем Эвридика хриплым, незнакомым голосом, похожим на мурлыканье огромного кота. – Что же вы, Мозес?.. Ну, помогите же мне.

Мгновением позже халат разошелся, выпустив на свободу живую, колышущуюся плоть, похожую, в первое мгновение, на слегка спущенный воздушный шар, а во второе – на поднявшееся тесто, каким он видел его в детстве, когда мама пекла пироги.

Кроме всего прочего, в свете неяркой лампочки это тело показалось ему почти желтым, словно кому-то пришла в голову неудачная мысль слепить его из огромного куска старого сливочного масла.

Пятясь, Мозес втиснулся между стеной и одной из каталок, – словно бильярдный шар, попавший в лузу.

– Ах ты, трусишка, – с нежностью промурлыкала Эвридика, напирая на Мозеса грудью, точнее – двумя этими шаровидными туманностями, двумя вулканами, двумя цунами, может быть и обещавшими кому-то неисчислимы наслаждения, но уж во всяком случае, не Мозесу, которого немед-

ленно затошнило, хотя и не так сильно, как можно было ожидать.

К тому же он вдруг непонятно почему вспомнил заросшее колокольчиками поле, где он гулял когда-то с мамой, – возможно, что это были совсем не его воспоминания, но мама-то уж точно была его, да и фиолетовые колокольчики, пожалуй, тоже. Тем не менее, на их фоне фигура Эвридики выглядела просто чудовищно. Никакие логические ухищрения не могли обнаружить связь между прогуливающимся среди колокольчиков маленьким Мозесом и этим подвалом, где разомкнув свою пасть, Левиафан уже готовился к последнему прыжку, пытаясь протиснуться вслед за Мозесом между стеной и каталкой.

– Ах, ты, мой лягушоночек, – сказал этот Левиафан, изо всех сил ударяя хвостом по воде, так что огромная зеленая стена ее поднялась в воздух и, на мгновение зависнув, рухнула на Мозеса.

– Знаете что? – Мозес продолжал отступать, не замечая, что тем самым он только загоняет себя в угол и отрезает себе путь к бегству. – Знаете что, – сказал он, упершись спиной в холодную стену. – Я, конечно, все понимаю... чего уж тут... Но только мне кажется, что все это совершенно лишнее... В конце концов, я могу объяснить...

Наверное, со стороны, он был похож на человека, который пытался уговорить крокодила не есть его или, по крайней мере, отложить это хотя бы до завтра, в силу появления но-

вых обстоятельств, которые следовало бы немедленно принять во внимание...

– Ну, ну, ну, – сказала Эвридика, медленно надвигаясь на него, словно вот-вот готовая пролиться ливнем грозовая туча. Голос ее теперь странно вибрировал и был похож на пение одинокой цикады. – Где же, лишнее, Мозес, – вибрировал этот голос, лишая того последних сил. – Почему же лишнее, Мозес?

Было видно, что язык ее произносит слова совершенно механически, не придавая никакого значения их смыслу. Глаза ее лихорадочно блестели.

– Я бы не хотел злоупотреблять, – пробормотал Мозес, понимая, что говорит совершенно неискренне, потому что на самом деле он с удовольствием злоупотребил бы сейчас чем-нибудь тяжелым, например – палкой или даже битой, если бы она вдруг подвернулась ему под руку. На худой конец сгодились бы и мокрое полотенце. Каталка рядом с ним вдруг поддалась и слегка отъехала назад, так что Мозес неожиданно получил возможность свободно маневрировать. Это было, пожалуй, похоже на божественный знак, на голос неба, не желающего гибели грешника и спешащего ему в последний момент на выручку, чем Мозес, разумеется, немедленно же и воспользовался, выскользнув из предательского угла и бросившись к спасительной двери.

Возможно, он уже много лет не показывал такого проворства.

Дверь захлопнулась, и Моисей стремительно задвинул щелчок. Затем наступила тишина. Она длилась до тех пор, пока голос из-за двери не позвал его.

– Моисей, – сказал этот голос из-за двери, как будто он был не совсем уверен, что его слышат. – Моисей. Вы тут?

Голос, который был больше похож на руку, которая выснулась из-за двери и теперь шарилась вокруг, пытаясь дотянуться до него.

– Моисей...

– Я тут, – сказал Моисей, хотя сначала решил было промолчать.

Дверь мелко затряслась, потому что ее дергали изнутри.

– Моисей, – повторил голос. – Зачем вы закрыли дверь?

– Зачем, – переспросил Моисей, прислонившись спиной к прохладной стене. – Зачем... А вы как думаете, зачем?

– Откройте сейчас же, Моисей!

Голос звучал так отчетливо, что Моисею вдруг померещилось, что дверь на самом деле сделана из фанеры и может рассыпаться при первой же враждебной попытке.

– Если вы будете так себя вести, то мне придется обо всем рассказать доктору, – поспешно сказал он, но чувствуя, что сказанное звучит не совсем убедительно, добавил:

– Я что? Давал вам какие-нибудь поводы?

– Моисей, – казалось, голос Эвридики раздался над самым ухом, и Моисей догадался, что она говорит прямо в щель между дверью и косяком. – Моисей. Послушайте. Вы ведь могли



бы не ходить, если бы не хотели.

Изумлению Мозеса не было предела.

– Что? – спросил он, резко поворачиваясь к двери. – Я?.. Мог бы не ходить?.. Да, разве это не вы попросили меня вам помочь?.. У меня разве был выбор?.. Да, что это вы, в самом деле!

Некоторое время за дверью царила тишина, потом голос возник вновь.

– Вы на меня смотрели, – сказал этот голос, делаясь вдруг каким-то незнакомым, так что Мозес вдруг подумал, что за дверью стоит уже совсем не Эвридика, а что-то страшное и чужое, какой-нибудь оживший мертвец, который незаметно задушил Эвридику и теперь, накинув на себя ее кожу, собирался добраться и до Мозеса.

– Я не смотрел, это неправда, – он на всякий случай отодвинулся от двери и с тоской посмотрел в конец коридора, уводящего в сторону выхода. – Даже и не думал.

Мертвец за дверью тяжело вздохнул.

– Вы могли бы меня хотя бы немного приласкать, – сказал он голосом Эвридики, одновременно издавая какие-то безобразные хлюпающие и чмокающие звуки. Мозесу вдруг показалось, что она сейчас просто протечет под дверью и через замочную скважину, чтобы собраться под его ногами в огромную вязкую и пузырящуюся лужу. Но вместо этого она ударила в дверь кулаком, так что лампочка над дверью мигнула и на голову Мозеса посыпалась старая штукатурка. Глу-

хой и страшный удар, который напомнил ему какую-то сцену из фильма ужасов.

Затем голос Эвридики потребовал:

– Немедленно откройте, Мозес!

Словно проскрежетал под порывом ветра железный лист.

– И не подумаю, – сказал Мозес.

Три удара подряд сотрясли изнутри дверь.

– Нет, – повторил Мозес. – Сначала приведите себя в порядок. И не надо больше стучать.

– Маньяк.

– Дура, – парировал Мозес, немного поколебавшись.

– Извращенец, – немедленно взвизгнул в ответ голос. –

Гомик паршивый. Немедленно откройте дверь, пока я не позвала санитаров.

Теперь, когда опять стало ясно, что за дверью все-таки находится Эвридика, Мозес немного приободрился. В конце концов, с ним не случилось никакой катастрофы, так что можно было отправиться наверх, в свое отделение, предоставив Небесам решать судьбу этой Мясной Мелочи, запертой среди кафеля и каталок. Но вместо этого он наклонился к щели между дверью и стеной и сказал, удивляясь собственному голосу:

– Знаете, что я вам скажу? Я бы мог вам кое-что рассказать, если бы вы хотели. Кое-что, чтобы вы на меня не сердились, понимаете? Потому что это совсем не то, что вы думаете. Да. Совсем не то, если хотите знать. – Он вдруг запнул-

ся, сообразив, что не знает, что, собственно, он собирался сказать. В голове было пусто, как в выходной день на строительной площадке. Впрочем, по ту сторону двери пока тоже было тихо.

– Э-э, – протянул он, пытаясь отыскать в голове хоть какой-нибудь образ, за который можно было бы уцепиться. – Видите ли, в чем дело...

За дверью по-прежнему царила тишина.

– Наверное, вы думаете, что я хотел вас обидеть или что-нибудь такое. Но это не так.

Какая-то расплывчатая картина, похожая на пестрый, восточный коврик, смутно замаячила перед его глазами.

История, которую он искал, вдруг сплелась, соткалась в одно мгновение, и теперь – как и всякая история – требовала, чтобы ее немедленно поведали миру.

– Вы, конечно, не знаете, что я был помолвлен, – сказал он, стараясь, чтобы голос его был хотя бы немного похож на голос диктора, который вел передачу «Вы это можете». – Вот так. А это все случилось прямо накануне свадьбы, за несколько часов до нее.

Он замолчал, потом прислонил ухо почти к самой щели и услышал совсем рядом неровное дыхание.

– Можете себе представить, – сказал он, убедившись, что его слушают. – Прямо накануне свадьбы. Всего только за какие-то несколько часов. Мы просто присели за свободный столик на улице, когда это случилось... Какой-то сумасшед-

ший мотоциклист... – добавил он с горечью.

Какой-то сумасшедший мотоциклист, который не справился с управлением и врезался в сидящих за кофейными столиками, да еще на такой скорости, что никто ничего не понял. Возможно, он плохо выспался или от него ушла жена, – кто разберет этих сумасшедших, которые носятся по городу как угорелые и сбивают ни в чем не повинных людей, а потом не могут даже вспомнить, какое сегодня число?

За дверью было по-прежнему тихо.

– И конечно, – сказал Мозес, переходя к кульминации. – Конечно, он налетел прямо на меня... – Он сглотнул слюну и, наконец, решительно закончил. – Наехал прямо туда, куда ему не следовало бы наезжать, тем более, накануне свадьбы... Ну, в общем, вы понимаете, куда он наехал этот чертовый сумасшедший... Врачи, конечно, пытались спасти, что было можно, но, увы.

Сказав это, он глубоко вздохнул и замолчал. В драматургических текстах это называлось «долгая пауза». Когда она закончилась, он услышал громкий шепот, который позвал его по имени.

– Да, – сказал он, откликаясь.

– Мозес, – сказал этот, полный раскаянья голос.

Казалось, он был свернут и гудел, словно металлическая труба.

– Не так-то, знаете ли, легко все это вспоминать.

Его фантазия вдруг разыгралась. Он вспомнил и расска-

зал, как ревел этот чудовищный мотоцикл и как самоотверженные врачи боролись, не останавливаясь, за его жизнь. Некоторые подробности были просто чудовищны. Бьющая фонтаном кровь, залила с ног до головы всех столпившихся вокруг. Дамы, которые, понятное дело, были сообразительнее большинства мужчин, падали в обморок. Неожиданно Мозес обнаружил, что жалеет себя. Обиднее всего, сказал он напоследок, было то, что кроме него никто из присутствующих больше не пострадал.

Потом он услышал за дверью негромкое всхлипывание.

– Теперь вы понимаете, – сказал он, разводя руками и не зная, что еще сказать.

– Мозес, – донесся из-за двери тихий, страдающий голос. – Откройте.

Щелкнув щеколдой, Мозес отошел от двери в сторону.

Эвридика выплыла в коридор, словно трехмачтовый фрегат, распустивший по ветру все паруса. Это заняло у нее столько же времени, сколько понадобилось Мозесу, чтобы прикинуть, успеет ли он, в случае чего, добежать до лифта и подняться наверх.

– Мозес, – сказала Эвридика, сжимая на груди руки. – Это просто какой-то ужас. Если бы я только знала, Мозес.

По щекам ее текли слезы.

Плоть ее была кое-как упакована в перекошенный халат, который, казалось, сейчас лопнет и пуговицы его застучат по каменному полу, как пули.

– Ерунда, – сказал Мозес, одновременно и жалея себя, и чувствуя себя героем, и радуясь, что, кажется, все обошлось.

– Почему же вы не сказали мне сразу? – голос Эвридики перешел на шепот.

Вместо ответа Мозес печально засмеялся, вложив в этот смех все сразу: и горечь, и стыд, и невозможность беседовать с дамой о таких вот сомнительных вещах, как эта.

– Вы ведь мне покажите его, Мозес.

– Ни в коем случае, – испуганно ответил он, делая шаг назад, словно опасаясь, что она немедленно залезет к нему в штаны и уличит во лжи.

В ответ Эвридика сделала шаг по направлению к Мозесу. Было видно, что она хочет, но никак не может решиться дотронуться до него.

– Я имела в виду, – сказала она, – что может быть еще что-нибудь можно сделать. У нас, слава Богу, есть прекрасные хирурги.

– Теперь уже ничего не сделаешь, – с грустью покачал головой Мозес, давая понять, что все, что можно уже было испробовано и, одновременно, надеясь, что Небеса не вменят ему в вину эту бессовестную ложь. В конце концов, он оказался в этой ситуации не по своей воле и теперь выбирался из нее, как умел.

Возвращение назад вместе с канистрой, наполненной воздухом, некоторым образом напоминало катарсис – когда все вопросы оказались решенными, горизонты ясными, а все ужа-

сы мнимыми и не относящимися к делу. Такому настроению, очевидно, приличествовало молчание, и вот они шли и молчали, не испытывая при этом чувства неловкости. Только у самых дверей лифта, поставив на пол воздушную канистру, Эвридика вдруг сказала:

– Я хотела спросить вас, Мозес... Можете не говорить, если вам это неприятно... А где же... как же...

Она растеряно замолчала, подыскивая подходящие слова, но Мозес уже знал, о чем она собирается спросить, глядя на него сквозь крупные слезы, словно ожидая самого худшего, о котором уже давно догадывалась, но поверить в которое было выше ее сил, ибо это значило разувериться в человечестве или даже в чем-то еще похуже этого.

– Я ни в чем ее не виню, – сказал Мозес, удачно вспомнив фразу из какой-то книжки. – Не мог же я, в самом деле, – продолжал он, печально усмехнувшись, – ну, вы понимаете, – добавил он, слегка помедлив и отчего-то вдруг чувствуя обиду на эту самую никогда не существовавшую невесту, которая, в конце концов, могла бы скрасить его боль и одиночество, а не бросаться на первого же встречного обладателя того, чего был, не своей волей, лишен Мозес.

Смотря сквозь лифтовую решетку в ожидании лифта, который гудел где-то на верхних этажах, Эвридика печально прошептала:

– А вот я, например, никогда от вас не ушла бы, Мозес.

Слова, которые вновь заставили его почувствовать легкое

угрызение совести и вспомнить Меморандум Осии, где, среди прочего, было сказано, что иногда случается так – ничтожные события приводят за собой великие угрызения совести, которые угодны Всемогущему, по той причине, что тот, кто верен в малом, останется верным и в великом.



## 52. Филипп Какавека. Фрагмент 223

«БЛАЖЕНСТВО НЕНАВИСТИ. Св. Бернард Клервоский, учивший о вечности адских мук, навсегда, навечно открывающих свои объятия грешникам, не оставил без внимания и возможный вопрос, касающийся отношения к этому немаловажному факту тех, кому суждено было этих мук избежать. Блаженные – отмечает он, – не только не будут сожалеть о грешниках, кипящих в смоле и горящих в огне, но напротив, – созерцая их мучения, они будут радоваться и ликовать. Причин этой радости св. Бернар перечисляет несколько (например, указывается, что на фоне мучений грешников блаженство блаженных будет казаться еще блаженнее). Но все же одна причина остается решающей. Она заключается в том, что муки грешников нравятся Богу. Следовательно, – замечает Бернар, – они должны нравиться и праведникам.

Как видим, логика вполне безупречная.

Если последняя инстанция, которой принадлежит вся полнота власти, принимает то или иное решение, то слабому и ничтожному человеку – пусть даже он зовется «блаженным», «праведником» или «святым» – остается только одно: согласиться с этим решением, да ведь, пожалуй, и больше

того: полюбить решенное не им всем сердцем, всей душой, как свое собственное. Похоже, что и сама праведность, и сама святость – это всего лишь результат согласия принять все что ни потребует Божественная воля. Впрочем, я думаю, что никаких особенных секретов тут нет и дело здесь вовсе не в Боге, о котором мы, пожалуй, твердо знаем только то, что Он *отсутствует*, оставив нас один на один с этим великим *Отсутствием*, ставшим для нас Судьбой, а для нашего мира – Историей. Дело в том, что это Божественное Отсутствие подменяется, в свою очередь, присутствием Истины, – той, чья истинность, конечно, опирается на созерцание Вечной Гармонии, в которой находят свое окончательное место Рай и Геенна, Спасение и Наказание, Праведность и Грех, и где все свершаемое на земле только получает на Небесах свое законченное и последнее местожительство. Эта облаченная в одежды Вечности Истина позволяет без затруднения познавать себя благодаря диалектической ясности своего содержания, не униженного противоречиями, из которых оно складывается. Праведность, обозначившая себя в победном торжестве ненависти к грешникам, – и греховность, нашедшая себя в унижении последнего наказания, также с неизбежностью рождающего ненависть к праведникам, – и то, и другое, отрицая и ненавидя друг друга, составляют единое целое, не вызывая нашего удивления. Ибо, отчего бы, в самом деле, диалектике не торжествовать в мире загробном так же, как она торжествует в нашем мире? Это Целое, которое толь-

ко по недоразумению может быть отнесено к области *этического*, на самом деле представляет собой образец чистой *Космологии*, в которой сотворенное выступает в своей окончательной истинности, как диалектическое единство Мира Верха и Мира Низа, где нижние – бессильные и униженные – ненавидят верхних, которые, в свою очередь, тоже ненавидят нижних, но так же пребывают в некотором бессилии, в некоторой униженности. Ибо все, что только могло свершиться над грешниками – уже свершилось, тогда как ненависть (и мы все это хорошо знаем, когда не хотим обманывать себя) не имеет предела, требуя для себя все новых и новых пространств.

Будут ли обитатели Вечности состязаться в своей ненависти, – например, плевать и мочиться вниз, тогда как нижние, – принимая мучительные страдания, – явят фантастическое мужество только затем, чтобы досадить верхним, – об этом можно только гадать. Как бы там ни было, но вся внутренняя структура Вечности, диалектически сопряженная из двух начал, будет тогда пропитана враждой и ненавистью. Не станет ли вся она пребывать тогда в некоем последнем блаженстве – *блаженстве ненависти*? Вечность, ставшая Царством ненависти, и ненависть, из которой соткано блаженство этой Вечности. Правда, мы в точности не знаем, что же это такое – Вечность? Но разве мы плохо знаем, что такое ненависть? Скажите мне, положи руку на сердце: есть ли материал крепче, а блаженство, даруемое ей, блаженнее?»

## 53. Ещё некоторые движения вокруг истины

В конце концов, должны ли мы? Хм-м...

Вот что, по правде говоря, нам хотелось бы знать.

Другими словами, Мозес, склониться ли нам перед силой обстоятельств или же идти в прямо противоположном направлении – то есть, не склоняться перед силой обстоятельств, а говоря языком метафорическим, – наоборот, решительно наполнить пространство звоном мечей и шумом, так сказать, воинственных кличей? Шумом и неразберихой, если хотите?

Должны ли мы то, или, наоборот – только это? К тому же, что помешает мне допустить, что, быть может, на самом деле нам следует заняться еще чем-нибудь третьим или даже четвертым и пятым?

Весь фокус, Мозес, в том, что мы этого не знаем. Мы – знающие, как выглядит Большой Взрыв и строящие в каждом заштатном городишке по коллаyderу – не знаем такой простой вещи, как «*быть*» или «*не быть*», тем самым погружая себя в пучину сомнений и близкого отчаянья.

Вот. Что. Я. Хотел. Бы. Сказать. Сэр.

Филоферий М., имевший обыкновение плевать с балкона

своего дома и выбрасывать на асфальт подвернувшийся ему под руку мусор (потому что до окна почему-то всегда оказывалось ближе, чем до помойного ведра), этот милейший Филоферий М. всегда отвечал, – если кому-то вдруг пришло в голову сделать ему замечание, – что Господь не попустит, чтобы его плевок или окурок, или еще какая-нибудь дрянь, попали бы на лысину или шляпу оказавшегося внизу праведника. Следовательно, – говорил Филоферий М., – диспут окончен. Если же кто-нибудь продолжал настаивать и спрашивал его о том, откуда ему, собственно говоря, известно то, что ему известно, то на этот вопрос Филоферий М. обыкновенно отвечал: из Священного Писания. Или: из святых отцов. Или, наконец: из личного опыта. Или же еще что-нибудь в этом самом роде, что нисколько не способствовало дальнейшему обсуждению столь животрепещущей темы.

И вот я спрашиваю: должны ли мы, Мозес? Должны ли мы отхлестать господина Филоферия М. по щекам или же поступить прямо противоположным образом, оставив его щеки в покое?.. Откуда нам это знать, коли на то пошло? И что делать тем, у кого в волосах или в бороде запутался окурок господина Филоферия М.? Бежать ли в полицию или, поразмыслив, принять это со смирением, как знак проявления высшей воли? А если это последнее, Мозес, то как нам понять эту волю? Ее, так сказать, указующую направленность? Как нечто окончательное и бесповоротное, или же, напротив, как нечто имеющее, так сказать, педагогический

смысл, – так что, очистившись телесно и духовно, некогда осыпанный пеплом и окурками, может теперь безбоязненно пребывать под балконом господина Филоферия М., опасаясь падающего сверху мусора не больше, чем физиологических отправления парящих в небесах ангелов?

Вот. Что. Хотелось бы. Знать. Милый.

При этом также оставалось здесь открытым, что вера господина Филоферия М. – это всего лишь повторение на свой манер средневековой веры в добродетельную истинность испытания огнем и водой, или древней еврейской веры в неизбежность ожидающей праведника награды, о чем сам он, вполне возможно, даже не подозревал. На склоне лет, сколько мне известно, Филоферий М. получил большое наследство и разбогател... Вот-вот, Мозес. Значит ли это, что Господь все-таки был на его стороне? И был ли Он на его стороне вследствие того, что Филоферий М. всецело доверился Господу относительно траектории своих плевков, или же Он был на его стороне даже тогда, когда эти плевки время от времени все же украшали макушки отдельных праведников?.. Мы ходим блуждательно, Мозес, вот что я могу заключить с полным на то основанием. О, как же блуждательно ходим мы – настолько, насколько это вообще возможно. Не стоит и говорить – до какой степени, Мозес. Странно, что мы вообще еще способны передвигаться. И опять-таки: потому ли мы блуждаем, что не умеем разобрать в темноте дорогу или же потому, что и разбирать-то нам особенно ничего не

приходится, поскольку не существует и самих дорог? Или, может быть, имеются еще и другие причины, сэр?..

Как бы то ни было, Мозес, попробуй теперь ответить, дружок, – имеешь ли ты право спросить после всего сказанного: сто́ит Истина вообще того, чтобы мы ломали голову над подобными загадками? Проводили жизнь в недоумении? Стучали в невесть какие сомнительные двери? И что это, с позволения сказать, за Истина, которая на каждом шагу норовит подсунуть нам этакие головоломки? Истина-шалунья, сэр. Этакая резвушка в коротеньком платьице. Будьте, как дети, хи-хи... Жила была девочка и звали ее, э-э... – Ее звали Красная Шапочка, сэр. Красная Шапочка, Мозес. – В каком, прошу прощения, смысле? И потом – разве это избавит нас от сомнений: следует ли нам надрать негоднице уши или, напротив, продолжать отгадывать ее загадки? Не спать ночей? Вздыхать, глядя на Луну? Тосковать, провожая взглядом заходящее солнце? Пить уксус? И все это затем, чтобы, конечно, получить в результате какую-нибудь милую безделушку, фарфорового слоника, например, или щипчики для орехов, или что-нибудь еще из того, что могло бы украсить нашу жизнь...

– Сдается мне, что ты опять кощунствуешь, Мозес, утомительно и, скорее, по привычке, чем от чистого сердца. Разве не ты видел сегодня великую Рыбу, не имеющую границ и не знающую своего имени? Была ли она похожа на фарфоровых слоников или, может быть, на что-нибудь другое? Не

было ли открывшееся тебе невообразимым, Мозес? Не царский ли подарок преподнесла тебе сегодня Истина, глупец?..

– И тем не менее, сэ. И тем не менее, Мозес. Пусть она даже одарит нас чем-то невообразимым, эта Истина, исполняющая роль Санта Клауса, нам все равно не избежать кое-каких щекотливых вопросов, главным из которых, конечно, останется вопрос – что, собственно говоря, нам делать со всеми этими подарками, сэ? Во что, так сказать, их употребить? Ну, вы понимаете, сэ? – Ну, конечно, себе на пользу, Мозес. Именно так – себе на пользу. На что же еще, Мозес? – Отлично сказано, сэ. Себе на пользу. А что же потом? – Что потом, Мозес? – Вот именно, сэ. Потому что все, с чем нам приходится сталкиваться в этой жизни, служит, так сказать, исключительно для одноразового использования, сэ, – будь это наша жизнь или что-нибудь помельче. Одноразового, Мозес. Оттого вопрос «а что» всегда наготове, даже если у вас и в мыслях не было его задать. Это как с известного рода женщиной, сэ. Стоит добиться своего, как немедленно начинаешь недоумевать по поводу того, что, собственно, она делает в твоей постели? Только врожденное чувство деликатности, сэ, не позволяет мне развивать эту тему подробнее. – Да ты просто циник, Мозес. Уму непостижимо, как я уживался с тобой столько времени под одной крышей. Тем более, Мозес, что ты, как всегда, говоришь о земном, в котором ты погряз по уши, словно старая телега, попавшая в грязь, тогда как речь у нас давно идет, фигурально выража-



ьясь, о небесном. Дары Истины, Мозес. Неплохо было бы, конечно, отличать к сорокам годам божий дар от яичницы, ну, это уже, как говорится, кому как повезет, Мозес!– Земное или небесное, не вижу, по правде говоря, большой разницы, сэ. – Не хочешь видеть, Мозес. – Просто не вижу – и все тут, сэ. – Но ты ведь так не думаешь, Мозес? Ты просто говоришь так из чувства противоречия, вот и все. – Я говорю так, потому что так думаю, сэ. Иначе, зачем было бы и говорить? – Выходит, ты у нас просто дурак, Мозес?.. А я и не знал...

Странное дело, но всякий раз, когда я задаю себе этот вопрос, мне на память приходит мадам Познер, восьмидесятилетняя старушка из Барнельвильского дома престарелых, у которой был одноногий сын, приезжавший к ней по воскресениям, чтобы на зависть всем катать ее на своей инвалидной машине с ручным управлением. Старушка обладала всеми возможными добродетелями и только одним единственным недостатком: стоило ей открыть форточку, окно или дверь, как ей мерещился бьющий оттуда необыкновенный свет, в котором купались маленькие золотистые ангелочки. *«Они все равно, что бабочки»* – с умилением говорила она, складывая на груди руки. Позже старушка призналась, что видит свет даже тогда, когда снимает крышку с кухонной кастрюли. Довольно часто я заставал ее застывшей возле какого-нибудь кухонного шкафчика или открытого холодильника, и выражение ее лица свидетельствовало в пользу того

мнения, которое рассматривало благодать отнюдь не в качестве досужей выдумки. Во всем остальном мадам Познер ничем не отличалась от прочих обитателей Барнельвильского дома престарелых, которые – к слову сказать – как один, терпеть не могли эту благодатную старушку, пытаясь всячески усложнить ее жизнь мелкими, но зачастую весьма изобретательными пакостями. Совершенно, между тем, безрезультатно. Мадам Познер, похоже, даже не понимала о чем идет речь. «*Вижу, вижу*», – бормотала она, открывая бельевую корзину или дверцу духовки, и ей-богу, это звучало ничуть не хуже филофериевского «*диспут окончен*

Да, именно так это и звучало, черт меня подери! Много раз меня подмывало задать ей вопрос, видит ли она этот свет, когда открывает дверь в ватерклозет или поднимает крышку ночного горшка. Но всякий раз меня что-то останавливало, сэр.

– Надеюсь, это была не врожденная деликатность, Мозес. И что же тебя останавливало, дурачок?

Полагаю: душераздирающий смех, сэр.

Вот что, с вашего позволения.

Потому что, подумайте сами, сэр. Что бы я стал делать, если бы старушка ответила на мой вопрос утвердительно?

## 54. Лекарство от пустоты

Еще неизвестно, что сказал бы этот самый Филоферий М. по поводу Божьей воли, которая сама-то, похоже, руководствовалась в своих решениях Бог знает чем, – неизвестно, что сказал бы этот жалкий филистер, если бы в один прекрасный день он вдруг не почувствовал себя обманутым и униженным тем Великим унижением, на которое способны были одни только Небеса, – этот самый Филоферий М., оказавшийся вдруг посреди тротуара с волосами, в которых запуталась яичная скорлупа, колбасные очистки и прочая дрянь. А это, как правило, можно обнаружить, если тебе на голову неожиданно и без видимых причин опрокидывают из открытого окна полное мусорное ведро. И это, повторяю, безо всякой вины, которую бы ты за собой знал.

Мир полон загадок, Мозес.

Загадок, которые нам никогда не разрешить, потому что все они, в конце концов, загадываются нами же и о нас же самих, так что с первого взгляда становится ясно – если тут чем-то и пахнет, то уж во всяком случае, не отгадками, и это легко могла бы подтвердить первая попавшаяся головоломка, разгадать которую вряд ли смогла бы помочь даже какая-нибудь не в меру серьезная фундаментальная аналитика.

Можно было бы сказать, что мир кишит загадками, как

труп червями, Мозес, если бы это не было так претенциозно.

Почти так же претенциозно, как и одна известная загадка, которая спрашивала насчет того, когда же женщина все-таки бывает сама собой – в магазине, в церкви или в постели, – как будто то же самое нельзя было спросить, по крайней мере, о большей части представителей мужского пола, не хуже любой женщины озабоченных благообразием своего внешнего и внутреннего имиджа.

В конце концов, речь ведь у нас идет о *человеке вообще*, сэр.

О человеке, одним из модусов которого является женщина, а другим – мужчина. Разве касается кого-нибудь, в конце концов, в какие игры мы играем, надевая те или другие маски, которыми мы пользуемся словно языком, надеясь в глубине души быть услышанными и понятыми?

Языком, который, как мог, пытался выговорить что-то такое, что явно находилось в родстве с Истиной?

И все же, Мозес.

Посещение магазинов было в некотором смысле катастрофой.

– Ты только посмотри, – шептала она, впиваясь своими ногтями в его руку. – Просто обалдеть.

– Господи, ну, что там еще? – сопротивлялся Давид, делая страдальческое лицо, которое почему-то всегда скрашивало тоскливую жизнь продавцов.

– Ничего, – она наклонялась над витриной. – Просто по-

смотри, какая прелесть.

– Это? – спрашивал он голосом, который явно принадлежал человеку, ожидавшему увидеть, по меньшей мере, таракана.

– Господи, Давид, – говорила она, словно надеясь, что он все-таки не окончательный дурак, который не может отличить Флоомутра от Кардена. – Да вот же, прямо перед твоим носом.

Прямо перед твоим носом, дубина.

Да, вот же, Господи!

Стоило ей увидеть что-нибудь стоящее, как глаза ее вдруг загорались, как два драгоценных камня. Почти звериный, первобытный блеск, который свидетельствовал о готовности смести все, что могло помешать получить желаемое. Хочу, – говорил этот заклинающий, сияющий и такой невинный взгляд, ибо кому же, в самом деле, могло прийти в голову осудить женщину только за то, что у нее загорались глаза, когда она видела какие-нибудь тряпки или косметику? В конце концов, сэр, так же невинны были не знающие стыда дети и животные, без колебания идущие вслед за своими инстинктами.

Если продавец за прилавком был мужчиной, то обыкновенно он улыбался Давиду усталой и мудрой улыбкой. Чаще всего, он явно сочувствовал ему, хотя, конечно, и не мог показать это открыто.

Мужское братство, сэр.

Закаленное перед лицом всего этого множества стильных тряпок и вещей мужское братство, без которого мир давно бы уже превратился в нечто среднее между солярием, фитнес-центром и модным глянцевым журналом для женщин.

– Господи, я сейчас умру, – почти шепотом говорила она, останавливаясь возле разодетых манекенов.

– Хорошо бы, – тоже вполголоса отвечал Давид, на лице которого в это время можно было безошибочно прочесть, что он по этому поводу думает.

Улыбаясь одними глазами, продавец делал вид, что ничего не слышит.

Между тем, даря ему белоснежную улыбку, она говорила:

– Вы не могли бы показать мне вот это...

– Послушай, мы опоздаем, – делал попытку Давид, впрочем, прекрасно понимая, что никакие доводы ему уже не помогут. – Давай мы зайдем сюда в следующий раз.

– Всего пять минут, – отвечала она, скрываясь в примерочной кабинке.

Сочувственно улыбнувшись, продавец позволил себе слегка развести руками.

– Ты меня ненавидишь, да? – мурлыкала она, выходя из магазина вместе с завернутым, шуршащим трофеем.

– А ты как думаешь? – цедил он, благодаря в то же время Всевышнего за то, что все это уже осталось позади.

Впрочем, не все было так просто, сэр. Уже после перво-

го магазина, куда она затащила его, чтобы он полюбовался на какую-то итальянскую, отороченную мехом кофточку, он почувствовал что-то неладное. Как будто его вдруг посетила некая неуверенность в тех вечных истинах, в которых он, кажется, никогда не сомневался. Странную неуверенность в том, во что по-прежнему верило – или, может быть, только делало вид, что верит, – большинство нормальных людей. В незыблемую силу духа, далеко опережающую меркантильные интересы потребителя, сэр. В высокое значение нравственных принципов, Мозес. В вечное присутствие рядом всегда готовых прийти на помощь Небес.

Во все то, что вдруг стало казаться ему несколько сомнительным. Так, словно вдруг оказалось, что подобно Паганелю, он прилежно и старательно изучал испанский по учебнику португальского, так что теперь, похоже, приходилось изо всех сил срочно переучиваться, наверстывая упущенное.

Конечно, поначалу он даже пытался бороться с этим почти звериным желанием завладеть какой-нибудь ерундой, о которой чаще всего забывалось уже на следующий день. Какие-нибудь чертовы бусы, которые он находил через неделю рассыпанными по полу. Футболки, которые никогда не надевались. Платья, висевшие в шкафу с таким обреченным видом, словно знали, что их уже никто и никогда не снимет с вешалок.

Однажды после очередной незапланированной вылазки в магазин, его все-таки прорвало, он даже умудрился сказать

что-то вроде небольшой и довольно страстной, хотя и вполне бессмысленной речи, – что-то вроде того, что недостойно, в конце концов, быть поработанным какими-то жалкими вещами, которые не делают нас ни лучше, ни счастливее, в чем были согласны как все мало-мальски приличные и выдающиеся люди, так и те замечательные книги, которые они писали.

Жалкими, ничтожными вещами, задача которых заключалась в том, чтобы быть нам в жизни опорой и помощью, а не насильниками, вынуждающими тебя превращаться в жалкого потребителя, меряющего свою жизнь временем от одной покупки, до другой.

Она вдруг остановилась возле скамейки и посмотрела на него с почти открытой враждой.

– По-твоему, это стыдно, да? – сказала она, опуская сумку на скамейку, словно собиралась немного передохнуть. – Ты думаешь, что это стыдно?

– Конечно, – сказал он, готовясь немедленно вывалить ей на голову все те простые истины, которые еще совсем недавно казались такими очевидными, что их легко мог бы понять даже маленький ребенок.

– А мне плевать, – вдруг сказала она. И при этом он сразу почувствовал в ее голосе угрозу. Как будто надвигающаяся гроза дала о себе знать глухим раскатом еще далекого, но уже приближающегося грома.

– Что значит – плевать, – спросил Давид, кажется, уже не



так уверенно.

– Хочешь знать? Да? Хочешь знать?.. Пожалуйста, я скажу, если хочешь.

Ну, разумеется, он хотел, черт возьми! Тем более что ему совсем нетрудно было догадаться, *что* она собирается сказать, благо – тут не было никаких загадок, а все было просто и совершенно понятно.

Однако, вместо этого она вдруг всхлипнула и опустилась на скамейку, закрыв лицо руками.

Женские слезы, сэр. Оружие, так сказать, стратегического назначения. Бьет без промаха и почти всегда наповал.

– Мы так не договаривались, – растерянно пробормотал Давид.

В ответ она только пошмыгала носом и полезла в сумку за платком.

– Эй, – позвал Давид.

– Отстань, – она достала платок.

– Да что, наконец, случилось? – спросил он, уже зная – что бы ни случилось, виноват все равно окажется он.

– Черт возьми, – сказала она, вытирая глаза. – Черт возьми, Дав. Я думала, что ты умней. Миллионы людей не пишут романы и не сочиняют музыку. Им наплевать на твоего Баха и на Стриндберга, потому что они не понимают, что это такое. Зато они прекрасно разбираются в тряпках, в машинах, в косметике, в обуви и в тысяче других вещей, из которых состоит их мир... По-твоему, они в чем-то виноваты?

– Ну, да, – Давид, кажется, уже догадывался, куда она клонит. – И что?

– А то, что они счастливы в своем мире, вот что... Среди всех этих тряпок и косметики... Тебе это никогда не приходило в голову?

– Ну, – сказал Давид, неопределенно вертя в воздухе пальцами. Это должно было означать, что ему приходило в голову и не такое.

– Конечно же, тебе это не приходило... – Она высморкалась и убрала платок в сумку. – Ты ведь думаешь только о высоких материях... А хочешь знать, почему они счастливы?.. Потому что все эти тряпки, весь этот, как ты говоришь, мусор, закрывают их собственную пустоту и дают им смысл жизни, в котором они нуждаются не меньше, чем тот, кто читает Пруста и слушает Глюка. Все это дерьмо, которое они видят на прилавках и в глянцевых журналах!.. А ты предлагаешь им Мелвилла или Шекспира, от которых их тошнит, потому что им от них ни тепло, ни холодно... Неужели ты этого не понимаешь?

Педагогическая антиномия, Мозес.

Мелвилл против сверкающего глянца какого-нибудь "Vogue". Об исходе поединка можно было даже не спрашивать.

– Ладно, – кивнул Давид. – Допустим. Но ты-то чего плачешь?

– Почему? – она посмотрела на него, словно ей только что

пришлось разочароваться относительно него в своих лучших надеждах. – Почему?.. Да потому, что я такая же, как они, Дав, – сказала она, не выпуская его из поля зрения. – Ты что, не заметил?

Кажется, самое время было приняться за утешения.

– Нет, нет, погоди, – она отодвинулась. – Я такая же пустая, как и все они. Мы все пустые, Дав. И ты это прекрасно знаешь. Конечно, ты хочешь, чтобы я читала "Литературное обозрение" и Клементину Роуз. Но на самом деле, мне глубоко плевать и на "Литературное обозрение", и на Клементину Роуз, и на Меллвила с его дурацкими китами! Мне вообще наплевать на все книжки на свете. И на те, которые были, и на те, которые только будут!

– Тихо, тихо, тихо, – сказал он, беря ее за руку. – Это уже слишком. В конце концов, никто ведь тебя не заставляет.

Она еще раз шмыгнула носом и засмеялась. Потом спросила:

– Ты уверен?

– Само собой, – подтвердил Давид.

– А как же Клементина Роуз?

– Да выбрось ты ее в помойное ведро, – сказал Давид.

Она улыбнулась почти счастливой улыбкой. Потом спросила:

– Правда, хочешь, чтобы я это сделала? – спросила она и щелкнула сумкой.

– В конце концов, – тоже улыбнулся Давид, – если вам

вдвоем так тесно в этом мире, то отчего бы и нет?

– Спасибо, – она убрала платок и достала из сумки книжку Роуз в бумажном переплете. Затем посмотрела по сторонам и швырнула ее в стоящий рядом мусорный бачок. Тот благодарно принял жертву с глухим металлическим стуком. Словно погребальный колокол, сэр. Погребальный колокол, чей адресат был, на этот раз, прекрасно известен.

Бедная Клементина Роуз, Мозес. Бедная Клементина...

Последовавшая затем небольшая пауза напоминала последние минуты прощания перед тем, как тело будет предано земле.

Потом она сказала:

– Когда-нибудь я расскажу тебе, с кем ты связался, Дав. Про дуру, которая весной совершенно сходила с ума вместе со всеми этими весенними ручейками, плывущими по ним щепками, с мокрыми камешками, с бутылочными осколками, которые я собирала в спичечный коробок...

Возможно, он уже однажды слышал нечто подобное, хотя и не мог вспомнить – где и от кого.

– Ты можешь смеяться, но только все, что я находила в этих весенних лужах, все делало меня такой счастливой, что иногда казалось, будто я сама была всеми этими мокрыми камешками и бутылочными осколками, сверкавшими на солнце лучше любых драгоценностей... А потом, когда я выросла, то поняла, что я и вправду была тогда всеми этими стеклышками, лужами, этим солнцем, этой рябью на воде,

этими щепками, которые кружили и уносились в водосток. Потому что, когда я подросла, Дав, я увидела, что я совершенно пустая. Как будто у меня никогда не было меня самой, а были только эти стеклышки и эта весна, которые ведь все равно рано или поздно должны были кончиться... Ты понимаешь?

– Более-менее, – сказал Давид.

– Тогда чего ты удивляешься, что я таскаюсь по магазинам, вместо того, чтобы читать с тобой Сартра и Фуко?

– Ну, ты же их читала.

– Жизнь заставила, – и она снова улыбнулась. – Но зато – когда я иду в магазин и смотрю на все эти чертовы тряпки, то я знаю, что они могут помочь мне закрыть мою пустоту и принести мне немного радости. А если ты еще не понял, Дав, они заменяют мне сегодня мои стеклышки, которых больше никогда не будет.

Она вдруг снова всхлипнула и потянулась к сумочке за платком.

– Постой, – осторожно спросил он, стараясь не въехать в какую-нибудь запретную зону. – Разве нельзя как-нибудь это совмещать?

– Нет, – она покачала головой и снова высморкалась.

– Ага, – сказал Мозес, сам не зная для чего.

Мир полон загадок, сэр.

Полон загадок, дурачок.

Он словно погрузился вдруг в странное оцепенение, как

будто все, что было вокруг, и то, что она говорила сейчас – все это уже было с ним однажды, когда-то давным-давно, так что оставалось только немного напрячься, чтобы вспомнить, как же все это было когда-то на самом деле.

– Ты сказала "пустота", – он пытался продлить это состояние.

– Ну, да, – она нервно теребила платок. – А как это еще назвать?

– Не знаю. Я, например, совсем не часто чувствую себя пустым.

– И тем не менее, – сказала она. – Почти все почему-то думают, что у них внутри огромная куча всякого ценного барахла. Книги, музыка, фильмы. Режиссеры, художники, истории. Умные мысли. Целая куча цитат. Но стоит только с тобой чему-нибудь случиться, как ты понимаешь, что все это только пф-ф-ф, ничто, туман. Подул ветер и ничего не осталось.

– Но что-то же остается?

Что-то такое, что, конечно, было в состоянии загнать тебя туда, откуда уже не было и не могло быть дороги назад. Разумеется, если верить редким счастливым случаям, сумевшим, несмотря ни на что, вернуться обратно.

В ответ она чуть пожала плечами.

– Ладно, – сказал Давид, стараясь уйти от этой скользкой темы. – Ты только не забывай, что у тебя есть еще я...

Она посмотрела на него откуда-то издали и сказала:

– Иногда я в этом не уверена.

Оцепенение постепенно оставляло его.

– Конечно, есть. Хотя я и не похож на бутылочное стекло, которое лежит в луже. И тем более – на новый купальник.

– Лучше бы ты был похож, – сказала она и негромко засмеялась.

Кажется, именно тогда он впервые засомневался в справедливости некоторых очевидных положений, казавшихся до сих пор такими незыблемыми.

Впрочем, ничего из ряда вон выходящего.

Какая-то невнятица насчет того, что лучший выход из всякого затруднения заключается в том, чтобы не обращать внимания на чужие истины, сэр. Жить в мире, о котором нельзя даже сказать, есть ли он. Идти, не придавая значения тому, куда идешь. Не оглядываться и не возвращаться туда, откуда ты пришел. Не в этом ли, в конце концов, и заключалась высшая мудрость, сэр?

Полагаю, ты знаешь что говоришь, Мозес?

Полагаю, что черта с два, сэр.

Черта с два, милый.

– И все равно, – добавила она торопливо и настойчиво, словно хотела, чтобы последнее слово все-таки осталось за ней, – все равно я буду до потери сознания ходить в эти чертовы супермаркеты и примерять платья и туфли до тех пор, пока меня не отвезут на кладбище.

Потому что, – добавил он про себя – иногда они способны

немного притупить боль и даже сделать жизнь на несколько часов счастливой и прекрасной.

– Ты ведь меня не бросишь из-за этого?

Судя по голосу, впрочем, было понятно, что это была не та тема, которая волнует ее с утра и до ночи.

– Я еще не решил, – сказал он, держа ее за руку и, кажется, думая, что заглядывая в глаза друг другу, мы напоминаем себе о несовершенстве мира, а заодно не даем забыть себе о своем собственном несовершенстве. Это значило, наверное, что совсем не так важно, как мы живем и что делаем в этом мире, раз уж мы научились закрывать пустоту другого своей собственной, бесконечной пустотой.

Конечно, речь шла только о тех из нас, кому повезло, сэр. Кому повезло, дурачок.



## 55. Филипп Какавека. Фрагмент 170

«По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более – ответить на них. Правда, с другой стороны, нельзя принудить и нас – стенающих и вопящих – не стенать, не жаловаться и не вопить. Ведь жалоба и плач, да не они ли наша истинная природа, над которой, как это подозревали еще древние, не властна даже смерть?»

И верно: разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней, не суть только *плач*, только *жалоба*, только похожая на порыв осеннего ветра *мольба*? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?»

## 56. Ночные стуки

В последнее время Мозес часто просыпался ночью оттого, что кто-то стучал в его окно, – негромко, но настойчиво барабанил в стекло, словно торопясь сообщить что-то важное, иногда же постукивал совсем легонько, словно извиняясь за то, что приходится будить Мозеса посреди ночи. И при этом – совершенно непонятно зачем и для чего. Иногда, просыпаясь, Мозес еще успевал услышать этот затихающий вдали стук. Так, словно тот давал ему понять, что услышанное было совсем не сном, а доподлинной реальностью, к которой следовало прислушаться, и которую было бы не лишним принять во внимание. Случалось, что приходя в себя после сна и тараща глаза в обступивший его мрак, Мозес действительно начинал прислушиваться к царящей во круг тишине, ожидая, что стук повторится, и это позволило бы ему понять его происхождение. Но звук не повторялся. Он ускользал от понимания, давая иногда Мозесу повод впасть в мрачные размышления о том, что жизнь коротка, а смерть не устает напоминать нам о себе, делая все наши дела и намерения сомнительными, недостоверными и пустыми. Впрочем, такие мысли приходили к Мозесу не всегда. Гораздо чаще, глядя в окружающую его темноту, он утешал себя нехитрыми соображениями, в которые, конечно, не ве-

рил сам, но которые, тем не менее, обладали способностью успокаивать и делать печаль не такой острой, подобно корню валерьяны или настойке ромашки. Теми соображениями, на которых всегда можно было отыскать бирку с сертификатом качества, что почти примиряло тебя с ними, тем более, что все они в один голос – хотя и разными словами – не уставали твердить одно и то же, а именно, что в мире, слава Всевышнему, все идет так, как и должно идти. В том смысле, что все, что должно свершиться уже свершилось, а значит – какое бы то ни было беспокойство по этому поводу выглядело, по меньшей мере, странным и даже оскорбительным, если, конечно, иметь в виду наличие никогда не ошибающегося Божественного присутствия.

В конце концов, – говорил себе Мозес, стараясь чтобы его аргументы выглядели основательно и безупречно, – в конце концов, милый, если с тобой что-то случилось, – как, например, этот тревожный ночной стук, которому не было никакого объяснения, – этот царапающий, скребущий, вызывающий и почти наглый стук, избравший твое окно, как будто в мире больше не было других окон и других Мозесов, – если с тобой что-то и случилось, дружок, то ведь это случившееся случилось совершенно обоснованно, а не абы как, что было бы просто невозможно, потому что оно случилось в пространстве Истины, Мозес, – в том волшебном Доме, в котором все до мелочей давно уже упорядоченно и сочтено. Так что тебе не стоило бы волноваться, даже если дело идет о

смерти или разлуке. Ведь все, что случается, Моисей, всегда случается в свое время, безошибочно занимая место в общем порядке всего сущего и подтверждая ту известную истину, что солнце равно встает и над добрыми и над злыми, что, конечно же, следовало понимать в том смысле, что есть вещи поважнее, чем наши сомнительные представления о добре и зле, которые, впрочем, тоже занимают свое место в ряду всего прочего, еще раз подтверждая тем самым, что даже этот нелепый ночной стук в окно вызван к бытию только потому, что он записан где-то в Книгу Истины под каким-нибудь многозначным номером, который кончается на 342 или 231 и поэтому никогда не затеряется среди бесчисленного множества всех этих окружающих нас мелких и крупных фактов, событий и кажущихся недоразумений, о которых, пожалуй, можно было бы кратенько сказать, что все они или случаются – и тогда нам остается только заткнуться и принять все как должное – или же, наоборот, не случаются – и тогда нам следует заткнуться с еще большим рвением. Потому что, по мнению многих компетентных философов прошлого и настоящего, то, чего не существует, существовать, к счастью, ни в коем случае не может.

## 57. Филипп Какавека. Фрагмент 205

«Быть», – похоже, это значит вот что, – *быть – значит  
быть вдали*

«Бытие» само по себе, – оно – только тяжелый сон, при-  
снившийся под утро, – кошмар, навалившийся всей тяже-  
стью и спеленавший тебя по рукам и ногам.

Быть на языке этого «Бытия» означает быть приглашен-  
ным на благотворительный вечер, организаторы которого с тру-  
дом скрывают свое отвращение к приглашенным, без церемоний посматривая на часы, в ожидании, когда можно будет,  
наконец, выпроводить всех присутствующих вон.

Но то, о чем мы действительно грезим, и что, пожалуй,  
еще связывает нас с Истиной, – это *оказаться вдали*. Ведь  
быть истинным, значит всего только это: *быть вдали*

И пусть твои слова не донесутся, утонув в разделяющем  
нас пространстве, а твои черты сотрет это равнодушное рас-  
стояние, – *не велика беда*. Не велика беда, – если мы, конеч-  
но, хотим большего. Пожалуй, тебе не захочется даже кри-  
чать, чтобы докричаться, и уж тем более напрягать слух, что-  
бы услышать, о чем кричат тебе другие. Зато, какое блажен-  
ство – это древнее, как мир, подлинное Бытие, обретенное

в его изначальной истинности! Оно ведь не значит ничего другого, кроме этого, последнего: *быть вдали*

## 58. Водные процедуры перед лицом Небес

Конечно, он и так пожалел сто раз, что его угораздило дать согласие выступить на этой нелепой презентации, как будто он заранее не знал, кто там собирается и чего можно ждать от всех этих самодовольных поборников, ратующих за чистоту иудаизма и с подозрением встречающих хоть что-то мало-мальски им незнакомое.

«Вот она, цена малодушия», – сказал он позже Давиду, имея в виду, что ему следовало бы без долгих отлагательств, сразу отказаться от приглашения и не портить жизнь ни себе, ни устроителям торжеств, которые, похоже, тоже не отличались большим умом, пригласив в одну лодку рабби Ицхака вместе с рабби С. и рабби Ш., повсеместно известных своей железной ортодоксальностью, которую их последователи и почитатели ставили всем в пример.

Бедный рабби, – посочувствовал ему Давид, когда впервые услышал эту историю.

Бедный рабби, подумал он, представив себе этот полный зал, который, познакомившись с программкой мероприятия, начинал на все лады склонять имя рабби Ицхака, так что, когда он появился в зале сам, возникла даже небольшая па-

уза и шум стал стихать, подобно тому, как стихает поток воды, перекрытый вдруг случайной воздушной пробкой.

В конце концов, это было, конечно, немного обидно, ведь все приглашенные пришли не для того, чтобы заниматься рабби Ицхаком, а чтобы принять участие в презентации давно уже обещанной книги, которая носила название «В ожидании Машиаха» и принадлежала перу пяти или шести авторов, делившихся с читателем своими соображениями относительно грядущего Помазанника. Справедливо или нет, но выход этой книги вызвал повышенный интерес публики, так что выпустившее книгу издательство сочло возможным даже немного допечатать ее тираж, хотя и не слишком при этом расщедрилось.

В ожидании Машиаха, сэр.

В ожидании Машиаха, Мозес.

Если бы присутствующих действительно занимала эта тема, то они могли бы приложить некоторые усилия и выспросить все, что касалось этого предмета у лучшего ожидальщика Машиахов – Исайи. И возможно, даже лично принять участие в этом ожидании, одолжив у Исайи на некоторое время его волшебный стул, предназначенный, как всем было уже давно известно, именно для этой цели.

Увы! Похоже, что присутствующих больше волновал медленно разворачивающийся на сцене скандал, а вовсе не желанный приход Машиаха. Речь уже первого выступающего была полна каких-то непонятных намеков, подозрений и



предупреждений вроде тех, что «*близок час, когда*», не говоря уже о постоянно повторяющемся упоминании каких-то крадущихся неизвестно куда врагов, всех этих «*ренегатов*» и забывших свои корни «*предателей*»

Чем дальше выступали присутствующие, тем прозрачнее становились намеки, и тем сильнее сгущались над головами собравшихся сумерки праведного гнева, о приближении которого можно было догадаться по тому, как все громче и громче зал реагировал на те или иные реплики выступавших.

«Я чувствовал себя так, – рассказывал позже рабби Ицхак, – словно попал в рой разъяренных пчел, перед которыми был совершенно беззащитен, так что все, что мне требовалось сейчас, это брезентовый костюм и сетка, способные защитить меня от укусов».

На вопрос Давида, чего, собственно говоря, он ждал от этого не слишком симпатичного сборища, рабби ответил в свойственной ему мягкой манере, что если у тебя есть даже самый маленький шанс повлиять на происходящее в положительную сторону, ты должен этим воспользоваться. Потому что, в конечном счете, тебе остается неизвестным, что же, собственно, задумал Всевышний, когда подсовывал этот шанс, делая тебя почти своим напарником.

«Я понимаю, что это смешно, – любил говорить рабби Ицхак, когда разговор касался этой темы, – но я всегда разделял ту точку зрения, что слово может двигать горами и

останавливать кровь, при том, разумеется, условия, – добавил он, – когда оно принадлежит не тебе, а Небесам».

Всемогущий, проведший тебя через испуг и сомнения, чтобы попробовать еще раз достучаться до своего творения.

Возможно, именно с этой мыслью он встал тогда со своего места и направился к эстраде, чтобы подняться затем по пяти, ведущим на эстраду, ступенькам, взять в руки микрофон и дожидаться с улыбкой, когда стихнет шум.

Странно, что ему еще дали говорить и при этом – довольно долго, несмотря на недовольный шум в зале. Так, словно шумевших мучило любопытство, толкающее их продолжать слушать то, о чем говорил рабби Ицхак, и в то же время притворяться беспредельно возмущенными его словами, чтобы кто-нибудь, упаси Боже, не подумал, что они разделяют и поддерживают все, что слышали сейчас их уши.

«И что же они слышали?» – спросил Давид, похоже, уже зная, хоть и не в деталях, *что* могли услышать в тот день собравшиеся на церемонию любители презентаций и вечно запаздывающих Машиахов.

«Я сказал им одну простую вещь, которую, собственно, они знали и без меня, а именно, что есть всего два образа Машиаха, с которым мы встречаемся в Танахе и Талмуде. Один образ – это образ Машиаха-воина, покоряющего себе мир и царствующего над покоренными народами, искренне признавшими его превосходство. Тогда как другой образ рисует человека, чье милосердие, сострадание и человеческое

тепло были столь велики, что растопили льды Божественного гнева и позволили Всемогущему ответить такой любовью, что вся земля расцвела и покрылась цветами. Во всяком случае, так говорят многие источники.

И вот я спрашиваю, Давид, отчего же он все не приходит и не приходит? Не от того ли, что нам оказывается милей и ближе тот, другой образ его, который кажется нам и понятней, и проще, и привычней, вместе с его торжеством силы и порядка, с его идеалом общественного благосостояния и снисходительного обращения с другими? Не от того ли, что этот воинственный образ занят только народом и государством, не принимая в расчет отдельного человека, для которого его приход значит так же мало, как инаугурация нового Президента или нового изменение экономической политики? Не от того ли что, задержав дыхание, нам следует признаться самим себе, что этот Машиах вообще не в состоянии когда-либо прийти, ибо Всемогущий занят во все не экономикой и военной мощью, а вот этим, одиноко бредущим по жизни человеком, радующимся, печалующимся, любящим, проклинаящим и сомневающимся. А значит, нам следует дать самим себе отчет в том, что каков наш внутренний выбор, таков и тот Машиах, которого мы заслужили, и если он до сих пор еще не пришел, то это значит, что наш собственный выбор сделан не в его пользу, сколько бы мы не твердили об обратном».

Что же это значит, сэр?

Что же это значит, Мозес?

Не то ли, милый, что все дело, в конце концов, заключается только в том, что тебе давно следовало бы признать – только ты сам несешь ответственность и за самого себя, и за этот никчемный мир, куда тебя занесло против всех правил, в надежде, что ты все-таки попытаешься сделать то, что должен. Начав с того, что тебе следовало бы поискать в своем сердце тепло, сострадание и милосердие, – эту уносящуюся в Небо лестницу Иакова, а не клянчить у Небес то, что они явно не желали тебе дать.

«В конце концов, – сказал рабби, стараясь перекрыть этот шум, который, по мере того, как он говорил, становился все громче и громче, – в конце концов, Небеса не предлагают нам ничего нового, когда хотят, чтобы мы открыли свои сердца навстречу другим! Потому что, сострадая, жертвуя и любя, ты сам становишься Машиахом, – тем, кто входит в этот мир, неся божественный свет надежды, истины и любви!»

Наверное, те, кто были на этой чертовой презентации, запомнили, какой шум поднялся в зале после этих слов. Ничуть не менее громкий, чем раздавшийся после того, как в знак протеста рабби С. и рабби Ш. демонстративно покинули зал, выкрикивая по пути к двери слова, которые, к сожалению, трудно было разобрать из-за шума.

«А ведь все что я сказал, Давид, это то, что они прекрасно знали и без меня, а именно то, что Бог простит неведение и

заблуждения, но никогда не простит лукавства, хитрости и самодовольства»

«Кажется, там было еще что-то такое? Что-то сказанное по поводу Обетованной земли», – спросил Давид.

По поводу Обетованной земли, сэр.

Что-то вроде той неслыханной точки зрения, будто Моше и его народ служили Святому не от чистого сердца, а за награду, не находя в этом ничего предосудительного и не догадываясь, что эта обещанная Святым Земля была только одной из многих ловушек, которые так мастерски умел ставить Всемогущий. На этот раз Он превзошел самого себя, подсунув Израилю обещание о Земле, чтобы посмотреть, как тот поведет себя перед лицом этого испытания, а, впрочем, зная наперед, что ни о каком Машиахе не может быть и речи, поскольку тот мог прийти, только будучи свободным от груза всех вещей и привязанностей. Особенно от таких, как эта Обетованная земля или этот великолепный Храм, которые висели на нем, как висят стопудовые гири, мешая сделать хоть полшага и превращая Время в бессмысленную трату человеческих сил, надежд и жизней.

«В конце концов, – сказал рабби, – все, что я сказал, могло легко уместиться в нескольких словах, вот как эти, – *давайте попробуем измениться к лучшему*».

Непонятно было только, кто возражал против этого, Мо-зес? Возможно, это был тот самый молодой человек, чье появление в глубине сцены за шумом, криками и свистом неко-

торое время оставалось незамеченным.

Просто молодой человек с красным пластмассовым ведром в руках.

Тем самым ведром, Мозес, которое спустя мгновение было опрокинуто над головой рабби Ицхака.

Раз! – и готово!

Что-то вроде домашнего Ниагарского водопада или крестильной купели, которые обрушились на рабби Ицхака, заставив его охнуть от неожиданности и даже присесть, что было, конечно, немного смешно, – а особенно это самое «уф-ф-ф», которое, конечно же, сразу забылось, потому что внимание всех присутствующих было занято этой одинокой фигурой на сцене с расползающимися темными пятнами на сюртуке и капающей с полей мокрой шляпы весенней капелью.

Совершивший эту водную процедуру молодой человек бежал под шум и аплодисменты зала.

Красное ведро откатилось в сторону, сигнализируя своим цветом об опасности всем, кому было до этого дело.

Зал на мгновение охнул, но затем пришел в себя.

Надо полагать, сэр, надо полагать, Мозес, что оказавшись в такой ситуации, любой здравомыслящий человек постарается поскорее покинуть несчастливое для него поле боя, ретируясь в надежде сохранить остатки достоинства и понимая, что сейчас для него наступило отнюдь не лучшее время. Возможно, сказанное касалось бы всех, кто попал в такую ситуацию. Всех, но только не рабби Ицхака, который, отрях-

нувшись, словно птица, попробовал было еще раз решительно взять в руки микрофон, чтобы довести все сказанное им до конца, исполняя, тем самым, заповедь, гласившую, что если ты можешь чем-то помочь своему ближнему, то делай это незамедлительно и быстро, ибо никто из нас не знает, когда Всемогущему придет в голову призвать тебя к себе.

Впрочем, никто из присутствующих, конечно, не собирался давать рабби Ицхаку возможность закончить выступление. Микрофон был отобран, а сам рабби препровожден в одну из комнат, дабы он мог привести себя в надлежащий порядок.

«А теперь скажи, мой милый, что ты думаешь по этому поводу?» – спросил рабби Ицхак, давая Давиду возможность высказаться о случившемся со стороны, что иногда позволяло ухватить какие-нибудь важные детали, которые было трудно различить вблизи.

«Если хотите честно, – сказал Давид, все еще не зная, как уместить в словах то, что он собирался сейчас сказать. – Если хотите услышать, что я думаю по этому поводу, то я могу вам сказать, что в последнее время меня почему-то не оставляет ощущение, что при всем уважении и к тому, и к другому, между вами и Всевышним стоит Талмуд и 613 мицвот. И, возможно, не только они».

Разумеется, сказанное не нуждалось ни в каких объяснениях, да они, пожалуй, были невозможны.

В конце концов, это ведь тоже были только слова, сэр.

Всего только слова, Мозес.



## 59. Филипп Какавека. Фрагмент 199

**Сократ:** Скажи-ка, чужестранец, верно ли то, о чем рассказал мне Калликл и ты действительно покидаешь нас с первым же отплывающим кораблем?

**Чужестранец:** Это так, Сократ.

**Сократ:** По правде сказать, рассказ Калликла поверг меня в изумление. Я даже не решаюсь повторить то, что я услышал от него относительно причин твоего поспешного отъезда. Но я не могу и промолчать, чужестранец...

**Чужестранец:** Говори смелее, Сократ.

**Сократ:** Говори!.. Легко сказать!.. Скажи-ка, правда ли, как сказал Калликл, тебя преследует некая благородная особа, чье имя, без сомнения, повергнет в трепет любого смертного?

**Чужестранец:** Истинная правда, Сократ. Да ведь Калликл, наверное, назвал тебе ее имя?

**Сократ:** Назвал, любезный. Но не назовешь ли ты мне его сам? Признаюсь, мои собственные уста сковал страх.

**Чужестранец:** Я бегу от Истины, Сократ. Вот это имя, которое, как я полагаю, тебе хорошо знакомо.

**Сократ:** Надеюсь, это так, чужестранец... Но послу-

шай-ка, Калликл, какому странному стечению обстоятельств обязаны мы знакомству с нашим гостем!

**Калликл***(шепотом)*: Я же говорил тебе, Сократ, что он не совсем в себе.

**Сократ**: Погоди-ка, Калликл... Чем же, скажи, не угодил ты Истине, чужеземец, что она преследует тебя, словно сборщик налогов? Был ли ты с ней непочтителен или существуют какие-нибудь другие причины? Прости, но хотя душа моя и замирает всякий раз, когда я слышу это имя, однако же, не стану скрывать, что я просто сгораю от любопытства не хуже последней базарной торговки, которая посчитает день прожитым зря, если не узнает две-три сплетни.

**Чужестранец**: Дело в том, Сократ, что она влюбилась в меня... Да не делай ты, ради Аполлона, такое лицо, Сократ. Клянусь своим спасением – это правда. Лишив меня покоя, она преследует меня всеми правдами и неправдами, полагая, что я должен безропотно уступить ее постыдным домогательствам, словно последний раб.

**Сократ**: Я не ослышался, чужестранец? Не хочешь ли ты сказать, что Истина, благородство которой не уступает ее беспристрастности, вдруг отличила тебя среди многих и многих, сделав предметом своего внимания?

**Чужестранец**: Ты выразился чересчур мягко, Сократ. Вернее было бы сказать – своего вожделения.

**Сократ**: Бессмертные боги! Как можно в это поверить, чужестранец?.. Скажи, разве не любит нас Истина всех оди-

наково сильно, так что свет ее любви, подобно свету солнца, сияет равно над всеми людьми, не отличая одного от другого?

**Чужестранец:** Ты, наверное, хотел сказать: свет ее равнодушия, Сократ.

**Каллик:** Тише, тише, чужеземец. Как бы всевидящие боги не покарали нас вместе с тобой за твой чрезмерно вольный язык!

**Чужеземец:** Я ведь только повторил всем известное, Каллик. Истина вполне равнодушна и к нашим бедам, и к нашим успехам. Богам это также хорошо известно, как и каждому из нас. К несчастью, время от времени, с ней случаются припадки некоторой, как бы сказать, влюбленности и горе тому, на кого пал ее выбор. Уж не знаю, чем это можно объяснить. Может это что-то такое вроде течки, как у животных, когда им приходит время обзавестись потомством, как ты думаешь, Сократ?

**Сократ:** Ужасные вещи приходится мне слышать сегодня от тебя, чужестранец!.. Но, может быть, ты говоришь в некотором роде метафорически? Ведь иносказание часто помогает нам лучше понять суть дела, чем прямая речь. Вот я и думаю, не хочешь ли ты сказать, что Истина любит тебя, подобно тому, как она любит человека, которому спешит доверить свои тайны, до сих пор скрытые от людей? Не делает ли она тебя тогда некоторым образом посредником между собой и всем прочим миром? Именно такого человека, ко-

торого ведь по праву можно назвать любимцем Истины, наделяет она особым и чудесным зрением, позволяя ему различать новое и доселе неизвестное... Ну, как, чужестранец, попал я в точку?

**Чужестранец:** Попал, да только не туда, куда надо. Ну, что такого необычного и неизвестного может рассказать, потвоему, влюбленная дура? Разве только то, что все люди глупы, ограничены, невежественны, немощны, завистливы, злы и нескромны, а впереди их всех ждет то, о чем и говорить-то вслух не хочется. Так ведь это мы все прекрасно знаем и без нее, как, впрочем, и об этом месте, куда нас угораздило попасть, и которое философы называют Космосом, возможно потому, что оно похоже на те механические игрушки бродячих фокусников, которые привлекают внимание зевак тем, что они никак не могут понять – из чего они сделаны, и какая сила заставляет эти игрушки двигаться.

**Калликл:** Мне кажется, что ты чересчур желчен, чужеземец. А где желчь, там, известно, нет места для правды. Не гласит ли всеобщее мнение, подсказанное божественным разумом, что нет ничего выше Истины, ни на небе, ни на земле, ни в морских глубинах? Не свидетельствует ли оно, что только одной ей принадлежат по праву все богатства и чудеса, о которых мы не можем даже толком помыслить? Не эта ли великая и страшная храмина Космоса, расцвеченная звездами, украшенная Солнцем и Луной, является ее зримым воплощением, благодаря чему и мы, люди, можем получить малую

толику от ее щедрот и не остаемся совсем уж в неведении относительно и самих себя, и этого мира? Разве же не зовем мы Истину – Путеводительницей, чужеземец, поскольку только ей одной принадлежит право вести нас, ибо только ей ведомы и сам этот путь, и его цель?

**Чужестранец:** Ты забыл упомянуть, Калликл, что даже боги без возражения идут туда, куда она их позовет, с радостью делая то, что она от них потребует. Клянусь вашим Дельфийским оракулом, слушая тебя, мне начинает казаться, что это не ты, а сама Истина разглагольствует тут о своих достоинствах, словно публичная девка, расхваливающая свой товар, и тогда ноги сами несут меня отсюда прочь... Прощай, Сократ. Прощай и ты, Калликл. Если вам вдруг не посчастливится, и вы встретите ту, о которой мы тут говорили, то, заклинаю вас, сжальтесь надо мной и пошлите ее искать меня куда-нибудь в Персию или в Египет.

**Сократ:** Но на что же ты надеешься, чужестранец? Как же может жить человек, который только и занят тем, что бежит от Истины?

**Чужестранец:** На что мне еще и надеяться, Сократ, если ни на свои ноги? Разве, по-твоему, было бы лучше, если бы она настигла меня, чтобы сделать из меня влюбленного дурака, какими набит весь мир?.. Прощай. *(Поспешно уходит)*

**Калликл:** Милосердные боги! Ты слышал, о чем он попросил нас? Послать Истину по неверному следу.

**Сократ:** Конечно, прежде всего нам надлежит заботить-

ся о делах правды и благоразумия. Однако, случается, что приходится поступать прямо наоборот. Потому что, боюсь, в противном случае мы будем бежать уже не от Истины, а от самих себя, а это, мне кажется, много хуже, как ты думаешь, Калликл?»

## 60. Мир воняет

– Тише, пожалуйста, – сказал доктор Аппель после того, как все присутствующие расселись.

Пришедших, впрочем, было сегодня совсем немного. Иезекииль, Амос, Габриэль, Олаф, Соломулик, Хильда, Патерсон и Допельстоун заняли места прямо перед вознесшейся над аудиторией кафедрой, за которой, словно Зевс-громовержец, стоял доктор Аппель. Остальные – их было человек десять – разместились на задних рядах, ближе к двери, чтобы иметь возможность незаметно исчезнуть, если бы это вдруг понадобилось.

– Тема наших сегодняшних занятий – жизнь и творчество Филиппа Какавеки, – сказал доктор Аппель, оглядывая аудиторию. – Вы что-то хотите, Хильда?

– Я хочу, чтобы господин Патерсон перестал икать. Мне это не нравится. Он икает мне прямо в ухо.

– Господин Патерсон...

– Вообще-то я ухожу, – Патерсон поднялся со своего места. – Вы обещали, что сегодня мы будем обсуждать комплекс Клеопатры, а не этого, как его там... Какавеку. Поэтому я ухожу. – Это было сказано с некоторой обидой, после чего Патерсон повернулся и пошел к двери.

– Нет, – сказал доктор. – Вы неправильно поняли, Патер-

сон. Комплексом Клеопатры мы будем заниматься в следующий раз. В четверг, через неделю. А сегодня мы будем изучать жизнь и творчество Филиппа Какавеки, о чем всех заранее предупредили. Вы не хотите остаться с нами?

– Нет, – Патерсон уже решительно взялся за ручку двери.

– Нам будет вас не хватать, – не очень уверенно попытался остановить его доктор, чем вызвал в первых рядах негромкое хихиканье. Он дождался, пока за Патерсоном закроется дверь и продолжал:

– Кто из присутствующих знает что-нибудь о человеке, которого зовут Филипп Какавека? О нем или о его жизни? Или о чем-нибудь, что с ним было бы близко связано?

В ответ в аудитории сразу поднялось несколько рук.

– Олаф, – кивнул доктор.

– Ну, почему всегда Олаф, – обиделся Руссо, опуская руку.

– Потому, – сказал Олаф, поднимаясь на ноги. – Он был сумасшедший – и это главное. Писал свои дурацкие афоризмы, а потом рассылал их по всем мало-мальски известным людям, начиная с президента и кончая черт знает кем, как будто это действительно могло что-нибудь изменить. Мне кажется, что тут было больше тщеславия, чем чего-нибудь еще.

– Понятно... Кто-нибудь еще считает, как Олаф?

Никто не отозвался.

– И напрасно, – сказал Олаф, опускаясь на стул.



– Руссо?

– Может это и не важно, – сказал Руссо, оставаясь на месте, – но я слышал, что у него была целая куча женщин. Я прочел это в каком-то журнале. Он занимался этим с утра и до утра и так похудел, что, говорят, с него даже кипа падала. – Он постучал себя по макушке и захихикал.

– Не было у него никаких женщин, – возразил Амос.

– Ты знаешь, – сказал Руссо.

– Я-то как раз знаю. Да, какие там женщины, подумай сам! Все было значительно хуже, потому что он любил одну израильскую шлюху, а она наставила ему целый лес рогов. И после этого он поклялся, что до конца жизни не подойдет ни к одной женщине. Наверное, он любил ее всю жизнь, вот в чем дело.

– Как романтично, – раздался голос с последнего ряда. – А может, он просто был импотент?

– Говорю вам, что у него была куча баб, – повторил Руссо.

– Ну и что? – спросил Иезекииль. – У Соломона тоже была целая куча баб и ему это нисколько не мешало.

– Смотря в чем, – ответил Руссо.

– Хорошо, – доктор попытался утихомирить сидящих. – А теперь давайте послушаем, что нам скажете, Хильда... Можете с места, Хильда.

– Bravo, – воскликнул Олаф.

– Я, конечно, ничего такого не читаю, – начала Хильда, – но мне кажется, что он получил какую-то премию. Кажется,

Большую литературную премию Ватикана. Хотя говорят, что он даже не был католиком.

– Каким еще там католиком, Господи, – сказал Руссо. – Говорю же вам, что у него кипа с головы падала от этого дела. При чем здесь католик?

– Я думаю, что ему наплевать было и на католиков, и на всех остальных, – не сдавался Амос. – В том смысле, что он был свободным человеком, вот что я имею в виду, господин доктор. Во всяком случае, судя по тому, что я читал, его трудно отнести к тем идиотам, которые напяливают на себя какую-нибудь маску, а потом не снимают ее всю жизнь, довольные тем, что это избавило их от обязанности думать самостоятельно.

– Слова, – сказал Олаф.

– И при этом – правильные, – отпарировал Амос.

– И как всегда, грубые, – возразила Хильда.

– А я еще раз вам повторю, что он был частным лицом и больше никем! – отрезал Амос. – Спроси вон у доктора, если сам ничего не знаешь!

– Я знаю только то, что он подражал Ницше и корчил из себя великого учителя – сказал Олаф. – Рассылать все свои дурацкие афоризмы, это еще надо додуматься!

– Ничего он не рассылал, – сердито сказал Амос.

– Дайте сказать Соломулику, – попросил доктор. – Вы что хотите сказать, Соломулик?

– Ничего такого, – Соломулик явно робел. – То есть я хо-

тел сказать, что его книга, кажется, даже попала в индекс запрещенных книг, если я не ошибаюсь.

– Ну, я же говорил, – сказал Руссо. – У него всегда были одни бабы на уме.

– Хорошо, хорошо – доктор поднял руки, останавливая прения. – Вы сами только что были свидетелями того, какие разнообразные мнения сопровождают имя Филиппа Какавеки, – продолжал он, выходя из-за кафедры. – Одни говорят о нем одно, другие другое, а третьи, разумеется...

– Третье, – хихикнул Иезекииль.

Сидящие в задних рядах засмеялись.

– Да, – доктор был серьезен. – Третье. А теперь послушайте, что расскажу вам я.

Продолжая говорить, он спустился по ступенькам в аудиторию и не спеша пошел по коридорчику между стульями, заложив руки за спину и поглядывая то налево, то направо.

– Филипп Какавека родился в 1941 году в России, в пересыльном лагере недалеко от города Воронежа. Его мать звали Марией, и она была испанская еврейка, которая, вероятно, попала в Россию в числе взрослых, сопровождавших испанских детей, вывезенных в Советский Союз во время гражданской войны в Испании. И это то, что нам на сегодня известно. Все остальное – это только легенды, домыслы и предположения, более или менее подкрепленные сомнительными свидетельствами или благочестивыми вымыслами его поклонников, но не имеющими никакой научной ценно-

сти. Мы ничего не знаем ни о семье Филиппа, ни о его детстве, ни о его привычках и интересах. Мы не знаем ничего – ни где он учился, ни где жил, ни где работал, ни где он умер, если, конечно, он уже умер, в чем лично я сильно сомневаюсь, потому что при известном стечении обстоятельств, он вполне мог бы дожить и до наших дней. Мы ничего не знаем ни о его замыслах, ни о его печалях или его надеждах. Ничего, кроме того, что мы можем прочесть в его книге.

– Но раз есть книга, – сказала Хильда, – значит, мы все-таки что-то о нем знаем?

– Увы, – доктор Аппель вновь поднялся по лестнице к кафедре и остановился на верхней ступеньке, повернувшись лицом к аудитории. – К сожалению, с его единственной книгой, которую он нам оставил, дела обстоят тоже далеко не блестяще.

Он сделал небольшую паузу и продолжал.

– Конечно, мы обладаем, по-видимому, большей частью текста, но что касается всего остального, то тут встречаемся со множеством проблем. Во-первых, мы до сих пор не знаем – когда, где и при каких обстоятельствах книга Какавеки впервые увидела свет. На это претендуют, по крайней мере, три издания, – французское, турецкое и русское. Все они вышли без указания года где-то между 1980 и 1985 или даже 1987 годом. При этом все они носили различные названия, положив начало дурной традиции называть книгу Филиппа Какавеки так, как это заблагорассудится изда-

телю. Например, подарочное издание, вышедшее в Мексике в 1989 году, называется «Фрагменты». Издание на английском языке без указания года, носит название «Происхождение реальности из духа сновидений», а русский перевод называется просто «Встречи». Лично я пользуюсь параллельным испано-немецким изданием 1998 года, выпущенным и откомментированным Обществом Филиппа Какавеки и носящим имя «Прогулки с Истиной и без». И наконец, самое главное, – продолжал доктор, опираясь грудью на кафедру и почти нависая над первым рядом аудитории. – Трудно поверить, но никто из литературоведов не имеет на сегодняшний день в своих руках мало-мальски полной версии нашей книги. Неизвестно ни окончательное число составляющих ее фрагментов, ни – что еще хуже – их последовательность. Можете себе представить? Ведь это значит, – как заметил один из исследователей творчества Филиппа Какавеки, Лукас Пеструцци, – что, его книгу можно сравнить с гениальной шахматной партией, от которой, увы, сохранились только невнятные воспоминания свидетелей, да перемешанные шахматные фигуры, чье расположение на шахматной доске нам уже никогда не будет точно известно. О том, как в действительности обстоит дело с книгой Какавеки, может свидетельствовать тот факт, что из четырех монографий, вышедших за последние двадцать лет и посвященных его книге, три отстаивают три различных варианта последовательности фрагментов, тогда как автор четвертой пытается доказать,

что автор вообще не ставил перед собой задачи систематического изложения своих мыслей, а писал от случая к случаю, не имея ни внутреннего плана, ни определенной цели.

– А может он просто пошутил над всеми, доктор? – спросила Хильда. – Знаете, есть такие шутники, которые шутят даже на похоронах. Что если этот ваш Какавека просто шут и больше ничего?

– Динь-динь, – сказал Амос, трясая головой.

– Есть, конечно, и такая точка зрения, – согласился доктор Аппель, глядя куда-то в сторону, из чего, пожалуй, можно было сделать вывод, что он эту точку зрения ни в коей мере не разделяет. – Но даже если он и шут, то шут на службе у Господа Бога, а не у людей. Во всяком случае, – добавил он, поднимаясь по ступенькам, – таково мое мнение, которое я вам не навязываю, но которое, поверьте мне, сложилось далеко не на пустом месте.

– Похоже, у вас с этим Филипом Какавекой большое взаимопонимание, – заметил Иезекииль.

– Вы угадали, – доктор Аппель, похоже, немного смутился. Щеки его слегка порозовели. – Как-никак я являюсь вице-председателем международного Общества Филиппа Какавеки и пожизненным председателем его немецкого отделения с центром в Гамбурге, – доктор слегка поклонился. В аудитории раздались несколько негромких аплодисментов.

– Bravo, – воскликнул Иезекииль.

– Спасибо, – сказал доктор. – У кого-нибудь есть еще ка-

кие-то вопросы?

– У меня нет, – покачал головой Амос.

– И у меня тоже, – присоединился Олаф.

– Тогда минутку внимания, – доктор вновь встал за кафедрой. – Сейчас я прочитаю вам один из афоризмов Какавеки, а вы постараетесь рассказать мне, о чем он, по вашему мнению, хочет сказать. – Он раскрыл лежащую на кафедре тетрадь и прочел:

– Фрагмент тридцать девятый. *«Конечно, в этом есть нечто кощунственное – петь и танцевать, когда рушится целый мир! Еще большее кощунство заключается в том, что мир, похоже, рушится именно из-за того, что мы поем и танцуем! Но разве есть в этом наша вина? Мир не выносит легкости, наши же танцы так легки, что каждое падение обрушивается на него словно стопудовый молот. Быть может, стоило остановиться? Но разве это в нашей власти? Тогда хотя бы пожалеть о нем? Ведь сострадание, пожалуй, последнее, что еще связывает нас с миром. – После, после! Сначала дотанцуем до конца все наши танцы. И не стоит спрашивать, что мы намерены делать после того, как рассыплется в прах последний камень»*

Какое-то время в аудитории царил тишина.

– Итак, – сказал доктор, выходя из-за кафедры. – Кто первый? Что нам скажет Хильда?

Сцепив под подбородком пальцы, Хильда посмотрела сначала направо, потом налево и, наконец, посмотрела на док-

тора, ожидающего ее ответа. Затем она неуверенно произнесла:

– По-моему, это ужасно.

– Что именно?

– Я не знаю, – Хильда наморщила лоб. – Это как бомжи, которые ночуют зимой под мостами и разводят костры. Я где-то читала про это. Иногда, когда бывает очень холодно и им нечего бросить в огонь, они просто замерзают. Мне кажется, что они тоже не думают о том, что будет завтра.

– Это плохо? – спросил доктор.

– А разве нет? – переспросила Хильда. – Конечно, это плохо. Если ты не думаешь о завтрашнем дне, то в одно прекрасное утро он просто не придет или оставит тебя в дураках, вот как этих бомжей под мостом. Если бы они заботились о завтрашнем дне, – добавила она с некоторой горячностью, – то просто поинтересовались бы прогнозом погоды и запасли бы побольше дров, чтобы не замерзнуть.

– Просто запасли бы побольше дров, – повторил доктор. – Понятно. Скажи мне, Хильда, тебе их жалко?

– Нет, – сказала Хильда, немного подумав.

– Разве ты не сказала, что это ужасно?

– Я имела в виду – ужасно, что в мире вообще существуют такие вещи, с которыми мы сталкиваемся и которые нам приходится принимать в расчет, хотим мы того или нет, – ответила Хильда несколько монотонно, как будто она заранее выучила ответ и теперь просто произнесла его вслух.



– Но тебе их все равно не жалко, – повторил доктор.

– Нет. Нисколечко.

В последнем ряду кто-то заплодировал.

– Понятно, – сказал доктор Аппель. – Спасибо, Хильда.

Теперь, пожалуйста, Амос.

– Э-э, – сказал Амос, поднявшись со своего места и обращаясь больше к сидящей у двери аудитории, чем к доктору. – Мне кажется, господин доктор, что такова, в конце концов, всякая человеческая жизнь. Пока человек живет, он занят только тем, что все время что-то строит, чинит, создает или думает о том, что ему еще надо достроить или починить. Он занят своей работой, своим будущим, своей семьей, футболом, картами, он вечно чему-то учится, за кого-то голосует, что-то ненавидит или любит, тогда как на самом деле он строит вокруг себя одни только иллюзии, среди которых живет, думая, что они настоящие и что на небесах его поглядят за это по головке и скажут: молодец!.. Вы понимаете, о чем я?

– Думаю, что да, – сказал доктор.

– И если он дурак, – продолжал Амос, – то он так и будет до конца жизни что-то строить, что-то планировать, на что-то надеяться. Так что если ему вдруг придется сломать что-нибудь, то он будет думать, что он поступает нехорошо, потому что его с детства приучили к тому, что человек должен строить, строить, строить, а не ломать, а тому, кто ломает место если не в Аду, то уж точно в тюрьме.

– Так, так, – протянул доктор, вновь выходя из-за кафедры. – Интересно, вы сами пришли к таким выводам или, может быть, кто-то вам помог?

– Я пришел к таким выводам благодаря моему другу Мозесу, – сообщил Амос. – К сожалению, он сегодня отсутствует.

– Я заметил, – сказал доктор. – А что касается Мозеса, то почему-то я так и подумал – тут чувствуется его присутствие... Что же, продолжайте, пожалуйста.

– Кажется, я потерял нить, – Амос щелкнул пальцами и наморщил лоб, закрывая глаза. – Сейчас... Я хотел сказать... Ага! – вспомнил он. – Я хотел сказать, что в один прекрасный день человек вдруг понимает, что все, что он до сих пор делал – не стоит и выеденного яйца. И тогда все вокруг него просто валится в таргарары... Вы понимаете?.. Тебе не приходится даже брать в руки молот, чтобы разломать всю ту дрянь, которую ты называл раньше миром, потому что она просто расползается теперь сама по себе, как песочная крепость под дождем.

– Не очень-то она и расползается, между прочим, – подал голос Олаф.

– Можешь не сомневаться, – сказал Амос и сел на свое место.

– Хорошо, – доктор дал шуму, наконец, стихнуть. – Я надеюсь, мы еще подумаем над словами Амоса, или, вернее, над словами Амоса и Мозеса. А сейчас послушаем других.

Кто-нибудь еще желает высказаться по нашей теме?.. Пожалуйста, господин Иезекииль. Порадуйте нас своим мнением.

– Я хочу сказать о том, какие иногда попадаются среди людей свиньи, – Иезекииль поднялся со своего стула, оставаясь стоять на месте. Длинная седая борода его была загнута и покоилась на плече. – Например, этот самый Круз Билингва, сэр, о котором все знают, – продолжал он, нацелившись указательным пальцем прямо на доктора. – Тот, который поет «Я встретил Какавеку у черничного ручья». Он поет про это уже тридцать лет, и до сих пор находятся идиоты, которые ходят его слушать. Это до чего надо дойти, скажите на милость, господин доктор, чтобы тридцать лет петь одно и то же?

– Господи, ну при чем здесь Круз Билингва? – громко сказал Олаф.

– При том. Тридцать лет он поет эту глупость, и тридцать лет находятся дураки, которые ходят на его концерты.

– А может они ходят потому, что он хорошо поет, – вмешалась Хильда. – Откуда вы знаете? Мне, например, нравится его мягкий и приятный голос.

– И парик, который он носит с двадцати лет, – ввернул Олаф.

– Ой, только не надо про голос, – скривившись, Амос сделал вид, что его сейчас стошнит. – Слышали мы голоса и получше.

– Ну, а может быть действительно в этом все дело? – ска-

зал доктор. – Хотя мне кажется, что мы говорили о чем-то другом. Поправьте меня, господа, если я ошибаюсь.

– Мы говорили о Какавеке, – напомнил Олаф.

– Удивительно, но мне тоже так показалось, – улыбнулся доктор.

– Минуточку, – Иезекииль сделал вид, что не слышит доктора. – Про кого это вы сказали, что он хорошо поет? – повернулся он к Хильде. – Это, по-вашему, Круз Билингва, что ли, хорошо поет? Да у него во рту всегда каша вместо слов.

– Вот и я говорю, – сказал Амос.

– Если дерьмо посыпать сахаром, оно от этого не перестанет быть дерьмом, уж можете мне поверить, – продолжал Иезекииль. – Просто все дело в том, что в мире не убавилось идиотов, которые до сих пор ничего не понимают в музыке, вот и все.

– Я бы сказал, что их даже прибавилось, – поддержал друга Амос.

– Поосторожней на поворотах, – сказала Хильда.

– Тише, господа, тише, – вновь вмешался доктор Апель. – Иезекииль, вам что, действительно не нравится Круз Билингва?

По лицу Иезекииля скользнуло выражение некоторого превосходства.

– Надеюсь, это не преступление, – сказал он, меряя доктора строгим взглядом.

– Разумеется, нет. Я просто хотел узнать, что именно вам

не нравится в Крузе.

– Все, – отрезал Иезекииль. – Тем более, – продолжал он, опускаясь на стул, – как вы сами говорили, каждый из нас имеет право на собственное мнение. Или вы уже взяли свои слова обратно, господин доктор?

– Я готов повторять это столько раз, сколько понадобится для того, чтобы вы как следует поняли, – ответил доктор, прижав ладонь к сердцу. – Но вот что я хотел бы добавить и это, мне кажется, довольно важно. – При слове «важно» Хильда и Олаф быстро открыли свои тетрадки и приготовились записывать. – Конечно, мы все имеем право на собственное мнение, – продолжал доктор, подходя к краю сцены и останавливаясь на верхней ступеньке лестницы, – каждый из нас имеет право его иметь, отстаивать и высказывать. Однако при этом не следует забывать, что в мире существует множество вещей, чья ценность, так сказать, уже апробирована многими и многими поколениями до нас. Например, те или иные произведения искусства. У нас с вами просто не хватило бы сил, если бы мы захотели дать объективную оценку тому, что уже было до нас. Тем более что этого и не надо, потому что чаще всего время сохраняет все самое замечательное и нам остается только с благодарностью принимать все то, что оно для нас сохранило. Тициан, Джотто, Эйфелева башня, собор святого Петра...

– Круз Билингва, – Амос негромко захихикал.

– Между прочим, когда я был маленьким мальчиком, –

сказал доктор, – мама водила меня на концерты Круза. Он приезжал к нам на гастроли, и это всегда было для меня огромным праздником, который я помнил потом много лет... Конечно, вы можете сказать, что у меня нет вкуса, но тогда вам придется обвинить в отсутствии вкуса и те миллионы зрителей и слушателей, которые боготворили Круза столько лет... Вы что-то хотите сказать, Иезекииль?

– Пожалуй, да, – Иезекииль несколько смутился. – Хотя я с вами по-прежнему не согласен, господин доктор, потому что, по моему мнению, в данном случае количество никогда не перерастает в качество, но, тем не менее, наверное, я хотел бы извиниться перед вами за то, что косвенно назвал вас идиотом.

– Пустяки, – сказал доктор. – Вы ведь не знали, верно?

– Я мог бы догадаться, – ответил Иезекииль. Это прозвучало несколько двусмысленно, на что, правда, никто не обратил внимания, тем более что в тот самый момент с последнего ряда раздался голос Маркуши Че Гевары:

– И как это, все-таки, прикажите понимать, доктор?

– Да? – доктор поднял голову и вопросительно посмотрел на высокую фигуру Че в зеленой майке, на которой был нарисован портрет Фиделя Кастро. При каждом движении Че лицо Кастро менялось, оно то хмурилось, то, наоборот, улыбалось или, сморщившись, подмигивало и закатывало глаза, что всегда доставляло находящимся рядом большое удовольствие. – Хотите что-то сказать, Че?

– Послушать вас, – продолжал Че, делая несколько шагов в сторону кафедры, – получается, что мы все должны ходить вокруг этого вашего прошлого на цыпочках и сдувать с него пыль только потому, что какие-то там зажавшиеся кровососы решили – чем древнее какое-нибудь там барахло, тем оно дороже стоит!

– Мне кажется, что я этого не говорил.

– Вы говорили, что все уже решено. А это значит, что тем самым вы призываете нас к конформизму.

– Боже упаси, – возразил доктор Аппель. – С чего бы я стал призывать вас к конформизму, Че?

– Что значит, с чего? – сердито проворчал Че и Фидель на его майке подмигнул доктору, словно предупреждая, чтобы он следил за своим языком. – Если вы хотите заставить всех считать это древнее барахло какой-то ценностью, даже не спрашивая, что думает об этом народ, значит – мы должны заткнуться и как стадо баранов идти туда, куда нас хотят завести капиталисты. Но я, например, не желаю, чтобы мне навязывала свое мнение разная буржуазная шваль, у которой руки по локоть в крови рабочих товарищей. Народ уж как-нибудь сам разберется, что имеет ценность, а что нет.

– Bravo! – поддержал его Амос. – Наш революционер, наконец, добрался до трибуны.

– Амос, – покачал головой доктор.

– Молчу, – сказал Амос

– Можете говорить, что хотите, – продолжал Че. – Но вы

не заставите меня пускать сопли над всякой антикварной дрянью и называть ее «искусством» или «шедевром», или еще каким-нибудь иностранным словом, которое специально придумали для того, чтобы втирать очки трудящимся. Поэтому когда я прохожу мимо какого-нибудь дурацкого музея, мне всегда хочется взять молот и раздолбать к чертовой матери все те чашечки, блюдечки, статуэтки и картинки, которые хранятся неизвестно для чего за его стенами.

– Вы так не любите искусство, Че? – спросил доктор Апель.

– Я не люблю, когда мне пудрят мозги насчет того, что какой-то кусок камня или разрисованный кусок холста может иметь хоть какое-нибудь серьезное значение в чьей-то жизни. Когда какая-нибудь раскрашенная сучка говорит: посмотрите налево, перед вами то самое, ради чего вы сюда притащились, то мне хочется взять ее за волосы и спросить, знает ли она, сколько детей в мире умирает от голода, в то время когда она водит жирных толстосумов любоваться этими, с позволения сказать, произведениями искусства!

Он махнул перед собой сжатым кулаком и Фидель на его груди на мгновенье грозно нахмурился.

– Кто еще так считает? – спросил доктор, стараясь не смотреть на хмурящегося и подмигивающего Фиделя. – Боже мой. Неужели вы, Олаф, тоже разделяете точку зрения нашего Че, что все музеи следует поскорее сравнять с землей?



– Не совсем, – сказал Олаф, немного виновато. – Но когда я однажды был в Лувре, мне вдруг страшно захотелось помочиться на Джоконду. Это, конечно, не то же самое, что взять и разрушить целый музей, но, тем не менее, это желание мне кажется тоже можно назвать деструктивным, не правда ли, доктор? Тем более, – добавил он, – я чувствовал при этом скрытую поддержку окружающих.

– Неужели? И в чем же она выражалась, эта поддержка?

– В том, что я чувствовал – многие из присутствующих испытывают точно такое же желание, что и я, – сказал Олаф. – Взять и помочиться на Джоконду или на что-нибудь похожее. Можно сказать, что я читал это в их глазах.

– Bravo, товарищ, – раздался из полумрака задних рядов голос Че.

– Вы мне об этом, кажется, ничего не говорили, – доктор какое-то время пристально смотрел на Олафа. Затем он повернулся к аудитории и сказал: – Хорошо. Кому еще из присутствующих хотелось... э– э помочиться на какое-нибудь произведение искусств?

– Мне, например, не хотелось, – сказала Хильда.

– Пожалуй, мне тоже, – поддержал ее Амос.

– Потому что вы ханжи и лицемеры, – Олаф резко повернулся к Амосу. – Думаете, если вы скажете, что вам ничего такого никогда не хотелось, то так вам все и поверят. Все хотят чего-нибудь такого, только никто в этом не признается.

– Видит Бог, – Амос поднял вверх указательный палец. –

Видит Бог и моя история болезни, что мне много чего хотелось в этой жизни такого, от чего моя мама сразу упала бы в обморок. Например, написать порнографический роман или бросить в вентилятор яйцо. Но чтобы мочиться на Джоконду? Да с какой стати, черт возьми?

– Вот именно, – сказал Хильда.

– С такой, – не сдавался Олаф. – Потому что общество – это только куча уродов, которые всегда хотят помочиться на Джоконду, но каждый боится начать первым. И ты здесь, между прочим, совсем не исключение.

– Я сам по себе, – Амос был тверд.

– Ну, конечно, – усмехнулся Олаф.

– Нам следовало бы, – вновь возник из сумрака Че, – поскорее сплотить свои ряды, чтобы доказать всему миру, что это аморально – любоваться какими-то старыми горшками, когда народ живет в нищете и невежестве.

– Отстань, – отмахнулся от него Олаф.

– Да здравствует Фидель, – сказал Че и вернулся на место.

– Между прочим, я тоже этого не понимаю, – произнес до того молчавший Габриэль. – Может, мне кто-нибудь объяснит, почему если какой-то придурок полчаса врет тебе с экрана телевизора о всеобщем благосостоянии, то считается, что он ничего плохого не сделал. А когда какой-нибудь бедолага хочет просто-напросто помочиться на кусок старого холста, с которого уже давно сыплется краска, то вызывают полицию, тащат его в отделение и не перестают повторять,

что он враг всего святого?.. Как хотите, но я этого не понимаю.

– Вы задаете очень серьезный вопрос, – сказал доктор Аппель, глядя в сторону. – Не уверен, что многие из присутствующих готовы обсуждать сегодня то, что вы предлагаете. К тому же, если я не ошибаюсь, мы все-таки еще не закончили разговор о Филиппе Какавеке. Давайте-ка вернемся к нему снова, пока у нас есть еще немного времени. Нет возражений?

– Валяйте, – махнул рукой Амос.

– Мне кажется, господин Допельстоун хочет нам что-то сказать... Прошу вас, поднимайтесь ко мне.

– Не знаю, надо ли, – господин Допельстоун неуверенно топтался на месте. – Но если вы настаиваете, доктор, то я могу рассказать вам о том безобразии, которое произошло два года назад в Давосе. Я читал об этом в какой-то газете.

– А что там произошло? – спросила Хильда.

– Я же сказал – форменное безобразие, – сухо заметил Допельстоун, недолюбливавший Хильду. – Антиглобалисты распустили слух, что Филипп Какавека якобы прислал им телеграмму с выражением поддержки. Они тогда как с ума все походили.

– И что же он прислал? – спросил Руссо.

– Он прислал два слова. Я могу вам процитировать, если хотите. *Мир воняет*, вот что он прислал им. По-моему, это просто хулиганство.

– Фу, – Хильда демонстративно прикрыла нос, как будто кто-то, в самом деле, испортил в помещении воздух.

– Во, дает, – воскликнул Руссо. – Мир воняет...

– На следующий день весь город был исписан этой глупостью, – продолжал Допельстоун. – Витрины, машины, тротуары, все, все, все. Полиция ничего не могла сделать. Они умудрились написать это даже на крыше местной кирхи.

– Черт возьми, – в голосе Амоса звучало неподдельное одобрение. – А ведь отлично сказано! Правда, доктор? Мир воняет! Мне, например, нравится!

– Мир воняет! – сказал Че и Фидель на его майке замигал обоими глазами. – Попал в самое яблочко!

– Мне нравится, – негромко засмеялся Иезекииль.

– Мы вставим это в Меморандум Осии, – наклонившись к Иезекиилю, сказал Амос.

– Тише, пожалуйста, – доктор вышел из-за кафедры и начал спускаться по ступенькам в аудиторию. – Давайте-ка, не все сразу. Пожалуйста, Амос. Что, по вашему мнению, хотел сказать Филипп Какавека этими довольно странными словами? Насколько помню – это, кажется, фрагмент сто пятьдесят первый, если я не ошибаюсь.

– Что он хотел сказать? – спросил Амос. – А что он хотел сказать? Я думаю, что он хотел сказать, что мир давно протух. Что же еще?

– Допустим, – согласился доктор.

– Возможно, это значит, что он просто забыл помыться

сам, хотя я и не уверена в том, что он вообще знает, что такое мыло, – добавила Хильда.

– Это значит, что он просто грязный ублюдок, вот что, – сказал Допельстоун.

– Пожалуй, это уже лишнее, – неодобрительно покачал головой доктор. – А что вы скажите, Олаф?

– Мне кажется, я согласен с господином Допельстоуном. Это просто хулиганство. Умные и серьезные люди собрались, чтобы обсудить важные проблемы, которые касаются судеб всего мира, а вместо благодарности в них просто взяли и швырнули куском грязи.

– При чем здесь – швырнули куском грязи? – возразил Иезекииль. – Это было послание. И если ты не трус, то на него следовало бы ответить, а не прикрываться кучей полиции. Тебе просто завидно, что находятся люди, которые мочатся не на беззащитную Джоконду, а на старых пердунов, решивших, будто им известно, как надо жить всем остальным.

– Слова, – протянул Олаф.

– Вы сказали «послание», Иезекииль, – сказал доктор. – И кому же оно, если это не секрет?

– Во всяком случае, не тем придуркам, которые собрались в Давосе, – ответил Иезекииль. – Что с них взять? Я думаю, что это послание направлено Богу.

Олаф презрительно рассмеялся.

Хильда тоже презрительно хмыкнула и посмотрела на Олафа.

– Небесам, – твердо пояснил Иезекииль, показывая указательным пальцем на потолок.

– Значит, по-вашему, получается, что Бог не в курсе? – спросил доктор Аппель.

– Помилуйте, но это разные вещи, – Иезекииль сделал удивленное лицо. – Одно дело знать, а совсем другое получить об этом письмо. Например, вы можете знать, что у вас не заплачены налоги, но когда к вам приходит письмо из налоговой полиции, то это, согласитесь, уже совсем другое дело.

– Бога нельзя принудить никакими письмами, – отчеканила Хильда.

– Где-то я это уже читал, – Иезекииль не сдавался. – Только как же тогда быть с молитвой? Разве неправильно будет сказать, что когда мы молимся, то посылаем Всевышнему письма, которые Он читает, чтобы потом нам ответить?

– Или не ответить, – сказал Габриэль.

– Или не ответить, – согласился Допельстоун.

– Или ответить так, что мы потом сильно пожалеем, что молились, – добавил Амос.

– Все-таки молитва больше похожа на телеграмму, чем на письмо, – подал голос Габриэль.

– Какая разница, – сказала Хильда. – В конце концов, главное, чтобы оно дошло.

– Что касается писем, телеграмм и всего такого, то я хочу еще раз вернуться к Крузу, – Иезекииль решил воспользо-

ваться короткой паузой. – Мне кажется, это будет интересно всем присутствующим. Представьте себе, что однажды я написал ему большое письмо. И что вы думаете? Он мне даже не ответил. Ну, не гаденыш ли он после этого?

– Ты бы еще написали письмо Президенту, – сказал Олаф.

– Спасибо за совет. – Тем более что я уже писал ему. И не один раз. Только он мне тоже ничего не ответил.

– Интересно, что же вы ему написали, – заинтересовался доктор. – Поделитесь с нами, если, конечно, это не секрет.

– Какой там секрет, Господи. Я написал ему, что всякий раз, когда Круз Билингва поет про Какавеку, я представляю себе, как наш Путеводитель скрывается за дверью сортира с последним номером «Плейбоя» в руках.

– Фи, – фыркнула Хильда.

– И ничего не «фи». Я только хотел сказать, что прежде, чем учить других, неплохо было бы самому заглянуть в зеркало.

– Действительно, странно, что он вам не ответил, – сказал доктор Аппель задумчиво.

Олаф захихикал.

– Я сам удивляюсь. Ведь, казалось бы, просто сядь и напиши ответ, так ведь нет, не дождешься. Мне кажется, в этом есть какое-то неуважение к своим избирателям.

Сидевший рядом с Иезекиилем Амос вопросительно указал на него пальцем.

– Боже сохрани, – сказал Иезекииль. – Я что, похож на

идиота?

– Послушайте, – не выдержал, наконец, доктор. – Мне показалось, что мы сейчас обсуждаем афоризм Какавеки «Мир воняет». Я не ошибся?

– Нет, – сказал Амос. – А что же еще?

– Тогда давайте все-таки вернемся к нашей теме.

– Давайте. Хотя я и не уверен, что мы от нее отошли.

– А разве нет? Мне кажется, что мы к ней еще даже не приблизились.

– Зато мы поговорили о письмах, – возразил Амос. – Кто, кому и когда писал.

– Ну и при чем здесь Филипп Какавека? – сказал доктор, вздыхая.

– Да вроде как не причем, – согласился Амос.

– Хорошо, – сказал Аппель, сдаваясь. – Хотите говорить о письмах, говорите о письмах... Кто-нибудь еще хочет рассказать, кому он писал?

Сразу поднялось несколько рук.

– Похоже, эпистолярный жанр среди присутствующих переживает период расцвета, – попытался пошутить Аппель. – Ну и куда вы писали? Руссо?

– Лично я писал министру культуры, – сказал Руссо, с шумом двигаясь вместе со стулом по направлению к доктору.

– Ради Бога – доктор выставил вперед ладони. – Оставайтесь, пожалуйста, на своем месте... И о чем же вы ему писали, дорогой мой?



– Я писал ему, что для повышения культурного уровня было бы желательно в общественных туалетах держать дешевые издания классической литературы.

На несколько мгновений в аудитории повисло недоуменное молчание. Потом кто-то захихикал.

– Прекрасная мысль, – бодро сказал доктор Аппель. – Значит, для повышения культурного уровня, вот для чего?.. Мне кажется, в этом что-то есть.

– Определенно, – согласился Амос.

Хихиканье стало громче.

– Нет, в самом деле, – продолжал доктор, оглядывая присутствующих. – Приходишь в общественный туалет и вместо того, чтобы проводить там время практически впустую – читаешь Шиллера или Кафку.

– Или Лонгфелло, – добавил Руссо.

– Да, – согласился доктор. – Или Лонгфелло.

– Зачем же книжки, – сказал Руссо. – Можно было бы сделать гораздо проще, просто печатать текст на туалетной бумаге.

– Еще одна прекрасная мысль. Кто-нибудь хочет высказаться?.. Габриэль? Вы у нас сегодня почему-то совсем перестали подавать признаки жизни.

– Однажды я написал письмо своему отцу, – мрачно сообщил Габриэль и умолк.

– И? – спросил доктор.

– Наверное, это было глупо, потому что к тому времени,

как я собрался ему написать, он уже умер, – сказал Габриэль со вздохом. – Но я все-таки написал ему, потому что у меня не было тогда другого выхода.

– Вы написали письмо своему умершему отцу? – переспросил доктор.

– Да, – кивнул Габриэль. – Я написал ему, что если он не поможет мне выпутаться из долгов, то мы все пойдем по миру – и я, и старший брат, и младшая сестренка. Я ведь был тогда единственным кормильцем в семье.

– И что, он тебе ответил? – неуверенно спросил Амос.

– Он обещал мне помочь.

– Вы хотите сказать, что он прислал вам письмо? – решил все-таки уточнить доктор.

– Письмо? Зачем письмо? Он в жизни своей не держал в руке ничего письменного. Нет, он пришел ко мне во сне сам.

– Габриэль, – сказал Иеремия.

– Говорю тебе, что он пришел ко мне во сне, – упрямо повторил Габриэль. – Можете не верить, если хотите. Он пришел ко мне во сне и всю ночь орал, что я не слушался его в детстве, поэтому вырос таким болваном, а потом даже попытался выдрать меня ремнем.

– Надеюсь, ему это не удалось? – хмыкнул Амос.

– Еще как удалось. Не было случая, чтобы ему когда-нибудь это не удавалось.

– И что же потом? – осторожно спросил доктор.

– Потом? – горько усмехнулся Габриэль. – В том-то все и

дело. Почти сразу после этого два моих кредитора, которым я был должен кучу денег, поехали кататься на яхте и утонули.

Кто-то с уважением присвистнул.

– Ничего себе папа, – сказал Амос. – Вот это, я понимаю, помог.

– Еще бы, – Габриэль залился краской.

Задний ряд дружно зааплодировал.

– У него и при жизни-то был скверный характер, – продолжал он, ободренный вниманием окружающих. – А видно, после смерти он совсем испортился.

– Вы полагаете, что это дело рук вашего... э-э, батюшки?

– А чьих же еще? – спросил Габриэль. – Конечно его. Не матушкиных же.

Несколько мгновений в аудитории царило восхищенное молчание.

– Ну, хорошо, – сказал, наконец, доктор, еще не вполне освободившись от рассказа Габриэля. – Возможно, мы еще вернемся к случаю с Габриэлем позже. – Потом он поднял голову, посмотрел на аудиторию и спросил. – Кто-нибудь еще из присутствующих получил ответ на свои письма кроме Габриэля?

Аудитория подавленно молчала. Некоторые озирались, словно ожидали увидеть притаившуюся в тени фигуру батюшки Габриэля.

Наконец поднялась одинокая рука, принадлежавшая господину Допельстоуну.

– Прекрасно, – с облегчением вздохнул доктор Аппель. – Господин Допельстоун. Вы хотите сказать, что получили ответ на ваше письмо, не так ли?

– Не совсем, – ответил господин Допельстоун. – Я тоже получил на свое письмо устный ответ.

– Прекрасно. Нет, просто замечательно. И кому же вы писали?

– Вам, – немного стесняясь, сказал Допельстоун.

– Мне? – удивился Аппель – По правде сказать, я что-то не припоминаю. И о чем же вы мне писали?

– Я писал о том, что в нашем отделении творятся форменные безобразия, – Допельстоун вновь поднялся со своего места. – Форменные безобразия, господин доктор, если не сказать больше, – продолжал он, повышая голос и обводя аудиторию рукой, словно призывая стены в свидетели своих слов. – В прошлом году я своими глазами видел, как медсестра унесла из нашего туалета рулон туалетной бумаги, а потом положила его в свою сумочку, чтобы отнести вечером домой... А сантехник? Он оставил нас на два дня без горячей воды, потому что ему, видите ли, пришло в голову поменять в подвале трубы. Как будто этого было нельзя сделать заранее. Я уже не говорю о садовнике, который не может отличить флоксы от чабреца, а чабрец от трехцветного гибралтарчика, того самого, от которого у всех нас бывает в мае аллергия.

– Да, да, кажется, я припоминаю, – сказал доктор глядя

в сторону.

– Это просто возмутительно, – продолжал Допельстоун. – Пусть это и было год назад. Впрочем, боюсь, что с тех пор мало что изменилось, господин доктор.

– Ну, что-нибудь, наверное, изменилось, – доктор по-прежнему смотрел куда-то в сторону двери. – Если не ошибаюсь, то я, действительно, ответил вам тогда устно. Глупо было бы, в самом деле, посылать вам письмо по почте, когда можно было ответить устно.

– А мне кажется, что это было бы совсем не глупо, – возразил Допельстоун, заметно волнуясь. – Ведь вы могли бы заметить, что я обратился к вам письменно, а значит и ответ рассчитывал получить в некотором смысле тоже письменный.

– Логично, – Иезекииль с сочувствием посмотрел на доктора.

– Потому что, – продолжал Допельстоун, – если, допустим, вы даете человеку займы пятьдесят шекелей, то, согласитесь, что было бы довольно странно, если бы вместо того, чтобы отдать вам их назад, он просто пошуршал перед вами стошекелевой бумажкой.

– Прошуршал, – повторил доктор. – Значит, вы считаете, что в ответ на ваше письмо я просто взял и прошуршал?

– У меня есть на это основания, – Допельстоун по-прежнему глядел в пол.

– Мне кажется, пора сделать перерыв, – сказал доктор Ап-

пель, внезапно краснея – Через десять минут я жду вас всех обратно, – продолжал он, выходя из-за кафедры. – Что же касается вас, господин Допельстоун, то я обещаю, что сегодня же отвечу на ваше письмо. Письменно. Может быть, вы случайно помните, о чем еще было написано в вашем письме?

– У меня есть копия, – ответил Допельстоун.

## 61. Филипп Какавека. Фрагмент 58

«Жена Лота оглянулась и стала соляным столпом. Смысл рассказанного сомнений не вызывает: оглядка отдает тебя во власть прошлого, которое и манит, и сковывает тебя по рукам и ногам, превращая в пленника, не способного уже сделать ни одного шага. Прошлое, – несуществующее, пригрезившееся, – делает таким же несуществующим и меня, живущего.

Не следует ли тебе поэтому оглядываться не так, как это сделала лотова жена, а как-то иначе: как власть имущему? Не попробовать ли тебе властвовать над прошлым, а не бояться его колдовских чар? Не поучиться ли превращать его вчера в твое завтра? Да, разве и само оно ни просит тебя вернуть его самому себе, – этот призрак, уставший бродить по безводной пустыне небытия, жаждущий, наконец, обрести реальность?»

## 62. Стул Исайи

У нее была дурная привычка – прежде чем дать уложить себя в постель, попытаться привести в порядок все, что, как ей казалось, в этом нуждалось, – например, расстелить, как следует, кровать, чтобы простынка была похожа на безупречную поверхность ледяного катка, а подушки – без единой складочки – напоминали облака, опустившиеся прямо с небес, – разложить по полочкам в ванной кремы и шампуни, вымыть посуду, вынести мусор, привести в порядок стол, сложив в стопки книги и тетрадки, аккуратно развесить на спине стула снятое платье и ни в коем случае не забыть про цветы, которые, как правило, обязательно надо было полить именно тогда, когда Давид начинал изнывать от одиночества и желания.

Дурная манера, – так, по крайней мере, показалось сначала Давиду, который, в лучшем случае, ждал, когда она закончит этот бессмысленный и никому не нужный ритуал, а в худшем – должен был сам принимать в нем участие. Например, вынести и вытряхнуть на балконе коврик или срочно помыть грязную посуду, или выносить мусор, слыша все эти бесконечные «сейчас» или «еще немного», или «лучше бы сам помог», от которых хотелось ругаться или превратить весь этот чертов порядок вокруг в хаос, смахнув на пол по-



суду и выбросив во двор цветы, чтобы потом заняться с ней любовью прямо здесь, на кухонном столе или в прихожей, на сомнительной чистоты коврике для ног.

Однажды, в ответ на его слабое сопротивление, она сказала:

– Я не могу заниматься этим, пока не уверена, что у меня везде порядок.

Кажется, он спросил ее тогда:

– Зачем?

Она ответила:

– Чтобы потом все разрушить.

Было не похоже, чтобы она шутила. Во всяком случае, он помнил, что она ответила именно так.

Создать, чтобы потом разрушить.

Привести в негодность весь этот с таким трудом созданный порядок, не оставив от него камня на камне, ибо, собственно, в этом-то – как он начал понимать позже – и заключалось все дело.

Обрести равновесие, Мозес.

Обрести равновесие, прежде чем хаос унесет тебя с собой, потому что, в противном случае, он мог бы и не обратить на тебя внимания, навсегда оставив в лабиринте без права возвращения назад.

В конце концов, это называлось: разгрести чужие завалы, сэр. Разгрести чужие завалы, Мозес. Странное занятие, склонность к которому отнюдь не была похожа на простое

любопытство.

Однажды ему пришло в голову, что та же самая история происходила всякий раз, когда она выходила после ванны, благоухающая, завернутая в халат, готовая немедленно пресечь любые его попытки приблизиться к ней, не говоря уже о том, чтобы сдернуть с нее этот чертов халат или, по крайней мере, запустить под него руку, – во всяком случае, до той минуты, о наступлении которой знала только она. Это было похоже на какую-то игру, смысла которой он никак не мог уловить.

– Не трогай меня, пожалуйста, подожди, – говорила она, выставив перед собой руки, чтобы затем поскорее уплыть на кухню или на балкон, оберегая что-то такое, что он никак не мог взять в толк и о чем не мог, пожалуй, даже догадаться.

Прошло какое-то время, прежде чем она однажды не призналась ему:

– Наверное, это выглядит очень глупо, Дав, но после ванны мне всегда кажется, что я такая чистая, что меня может запачкать любое прикосновение.

– Ну, спасибо.

– Ой, только не обижайся, – сказала она, ставя между ними стул, который должен был служить препятствием, если бы вдруг в голову Давида пришла мысль до нее дотронуться. – Я хочу тебя, но это сильнее всякого хотенья. Это все равно как если бы ты вдруг стал ангелом. Понимаешь?

– Не уверен, – Давид, впрочем, не отказал себе в удоволь-

ствии представить это сомнительное превращение И все – благодаря куску мыла, шампуню и горячей воде.

Впрочем, если говорить серьезно, тут было над чем подумать, Мозес.

Стать ангелом перед тем, как упасть в тартарары – здесь мерещилась какая-то известная, но по-прежнему пугающая теологическая загадка, к тому же, как было нетрудно убедиться, поставленная с ног на голову.

Так, словно приходилось признать, что неверность заблудшего Денницы была испытана и подтверждена вовсе не тем, что он пал, не желая по какой-то нелепой причине принять и прославить божье творение, а как раз тем, что он остался тверд и непреклонен, предпочтя отстаивать понятный порядок вещей перед лицом пугающего и нелепого божественного беспорядка, который ведь и не думал никуда деваться. И в этом с ним с радостью согласилось бы подавляющее большинство людей, во все времена находящих себе убежище от хаоса в простых и понятных конструкциях разума, гарантирующего уверенность, постоянство и привычку.

Конечно, он мог привести в свое оправдание целую кучу доводов, этот ангел, у которого, видимо, не все было в порядке с чувством долга, зато все прекрасно обстояло с логикой, так что всякий, кто был с ним солидарен, мог бы подтвердить, что Истина была ничем иным, как этим разворачивающимся упорядоченным Космосом, в границах которого только и возможны были звук человеческой речи и рокот мор-

ского прибора, пение жаворонка и песня свирели, шум леса и дождя, и еще многое и многое другое, тогда как хаос знал, по-видимому, только мычание, всхлипы, стоны, отдельные слова, которые вдруг срывались с языка, и еще гортанные выкрики и сладкое постанывание, прерывистое дыхание или молчание, которое, конечно, было громче любого крика, что не делало его ни более понятным, ни более объяснимым.

К тому же, неизбежность прикосновения, Мозес.

Неизбежность прикосновения, которое с означала неизбежную потерю чистоты, о чем, собственно говоря, упоминать было не всегда прилично.

Совершенно неприлично, сэръ, особенно если учесть, что это еще никогда и никого не останавливало.

Никогда и никого, Мозес.

Как бы то ни было, но спустя какое-то время, возвращаясь всякий раз памятью к этому последнему месяцу, Мозес, как правило, вспоминал почему-то историю со стулом Исайи, и, вспоминая ее, он всякий раз сопровождал это каким-нибудь не слишком вразумительным замечанием вроде, например, того, что:

– Пожалуй, это все-таки было похоже на стул Исайи.

Или:

– Наверное, это, я думаю, имел в виду Исайя.

Или еще:

– Если бы у каждого был такой стул, как у Исайи, все, может быть, обернулось бы совсем иначе.

Само собой было ясно, что дело здесь, конечно, заключается совсем не в стуле Исайи, так что какие-либо ассоциации, если они вообще имели место, выглядели, пожалуй, крайне натянутыми и в высшей степени неубедительными. Мытье посуды и политые цветы оставались посудой и цветами, а стул Исайи – стулом Исайи. Однако стоило Мозесу вспомнить это давно ушедшее и почти забытое, о чем сам он пытался лишней раз не вспоминать, как перед его глазами начинал маячить этот легкий, изящный стул со слегка гнутыми ножками, который никак не вписывался в послевоенную Европу, со всеми ее рок-н-роллами, холодной войной, смертью Кеннеди, свободной любовью, спутниками, русскими танками в Будапеште и повальным увлечением спортом во всех его видах.

Вот именно, сэр.

Тот самый стул, с которым он появился в клинике несколько лет назад.

Изящный, венский стул с гнутыми ножками и спинкой, похожей на греческую арфу, изображение которой можно найти в любых альбомах, посвященных расписной греческой керамике, – стул, так мало гармонизировавший с современной меблировкой клиники, что сразу же бросался в глаза всем, кто видел его впервые, так что они обыкновенно говорили при этом – *«смотрите-ка какой стульчик»* или *«а что это тут стоит такое»*, или просто *«какая прелесть»* и даже пытались время от времени сесть на него со словами *«смот-*

*ри-ка, да он даже не скрипит, вот уж умели делать».* Но те, кто знали кое-что про этот стул, смотрели на все эти попытки крайне неодобрительно и даже позволяли себе не слишком вежливые замечания в адрес тех, кто пытался осчастливить этот стул прикосновением своей задницы. Потому что, как-никак, а все-таки это был стул Исайи, и к нему стоило относиться со всем уважением, а не таращить глаза, как это делали невежды, которые видели его впервые и даже представить себе не могли, как им повезло, что он встретился на их жизненном пути.

Стул Исайи, Мозес.

Тот самый, который он обнаружил в дешевой забегаловке, куда зашел как-то, чтобы выпить чашечку утреннего кофе. Чашечка утреннего кофе, которая оказалось в результате пропуском на Небеса или чем-то в этом роде. Бывает, Мозес, что Небеса вдруг посылают нам откровения по части топографии, открывая – в какую сторону нам следует направить наши стопы, чтобы, в конечном счете, стать ближе и к самим этим Небесам и, возможно, даже к самим себе. И хотя на самом деле это случалось крайне редко, но раз случившись оно, во всяком случае, уже не вызывало никаких сомнений, как в реальности самого этого случившегося, так и в его смысле.

Так, видимо, было и в тот день, когда Небо привело Исайю на порог этого ничем не примечательного кафе, на оконных витринах которого был изображен изящный золотой петух,

распушивший хвост и держащий в поднятой лапе веселенький зеленый флажок.

Он уже допивал свой остывший кофе, как вдруг его взгляд остановился на изящном венском стуле, стоявшем у противоположной стены в луче падающего из окна солнечного света, словно облитый этим потусторонним светом, в котором можно было увидеть, как миллиарды кружащих таинственных миров, так и обыкновенную пыль, которая еще долго кружила после того, как кто-нибудь, проходя, случайно задевал плечом пыльную портьеру.

Богу, скорее всего, все равно какие формы принимать для того, чтобы беседовать с человеком. На этот раз Он обратился к Исайе из глубин венского стула, который был и формой посланного ему откровения и – в то же время – его живым содержанием. И результаты этого, разумеется, не заставили себя долго ждать.

– Я возьму у вас этот стул, – сказал Исайя, подходя к разговаривающим у стойки официантам и улыбаясь им той самой улыбкой, которой не мог противостоять никто. Улыбкой, наводящей на мысль о том, что весть о приближающемся Царствии небесном, может быть, совсем не так преждевременна, как казалось.

– Если не хватит, – добавил он, доставая кошелек, – то я принесу деньги сегодня к вечеру. Можете не беспокоиться. Вы ведь еще не закрываетесь?

– Шутите, – усмехнулся один из официантов, лениво раз-

глядывая странного человека. – Мы стульями не торгуем.

– Если бы мы тут торговали стульями, то, наверное, назывались бы мебельным магазином, – вяло пошутил другой.

– Тогда я возьму его просто так, – сказал Исая с такой непосредственностью, что вызвал вокруг смех. – Разве Бог не сотворил нас совершенно бесплатно?

– Валяй, валяй, – сказал Первый официант.

– Если все станут брать, то что им понравиться – у нас скоро останутся одни только голые стены, – сказал Второй.

Вместо ответа, улыбающийся Исая подхватил стул и направился к выходу.

– Невероятно, – сказал Габриэль. – Неужели наш Исая на это способен?

– Еще как способен, – сказал Иезекииль. – Он бился за этот стул, как лев, Моисей. Как Трумпельдор, сражающийся с превосходящими силами противника. Когда его тащили в полицию, он так вцепился в его спинку, что никто не мог разжать ему пальцы, так что пришлось волоочь его до полицейского участка вместе с этим стулом, который он держал перед собой, предупреждая пешеходов легким криком «поберегись»!.. Самое смешное, пожалуй, заключалось в том, что в нагрудном кармане его пиджака лежал заграничный паспорт с израильской визой и авиабилет до Тель-Авива на завтрашний день. Обетованная земля, сэр. Обетованная земля, которая уже открыла ему свои объятия.

– Невероятно, – повторил Габриэль.



– Невероятно, – согласился Иезекииль.

– Ну, что? – сказал дежурный полицейский, после того, как выслушал рассказанную ему историю и заполнил первые строчки протокола. – Захотелось месяц-другой провести за решеткой? Это мы устроим мигом.

– У нас все воруют, ложки, тарелки, супницы, – сказал один из официантов. – Но чтоб воровали стулья? Это извините.

– Вот и посидим теперь, – сказал дежурный.

– К сожалению это никак невозможно, – сказал Исайя, улыбаясь и похлопывая себя по нагрудному карману. – Никаких «посидим».

– Интересно, – сказал полицейский, уже почти очарованный его улыбкой. – Это почему же?

– Потому что завтра, господин полицейский, я улетаю в Землю Обетованную, – сказал Исайя и еще раз похлопал себя по груди. – Знаете, где это?

Это сообщение почему-то произвело на дежурного полицейского сильное впечатление. Он отпустил сопровождающих Исайю официантов, оставив стул в качестве вещественного доказательства и пообещав, что поставит их в известность по поводу дальнейшего хода дела, как только появятся новые факты. Затем он закрыл на ключ дверь кабинета, предложил Исайе присесть и попросил его чистосердечно рассказать, как все было, что Исайя охотно и сделал, подробно описав сегодняшний вечер, завершившийся битвой за стул и его

препровождением в полицейский участок, ни в чем не уклонившись от правды.

– И вот теперь я тут, вместо того чтобы готовиться к завтрашнему путешествию, – закончил он свой рассказ и улыбнулся так, что дежурному полицейскому на мгновение вновь показалось, будто комнату залил солнечный свет, хотя в ней не было ни одного окна. Судя по всему, Исаяя не испытывал при этом ни малейшего угрызения совести.

– Черт знает что, – дежурный полицейский, похоже, все еще не понимал до конца смысла выслушанной им только что странной истории. – Но этот чертов стул... В конце-то концов. Зачем он вам? Вы ведь не коллекционируете, надеюсь, венские стулья?

– Вы ничего не понимаете, – любезно улыбнулся ему Исаяя. – Это тот самый стул, на котором я собираюсь ожидать прихода Машиаха, если вам это что-нибудь говорит.

В ответ полицейский тоже неожиданно улыбнулся, и при этом в его улыбке не было ни насмешки, ни самодовольства, а только понимание и сочувствие, как будто ему вдруг стало совершенно ясно все, что было связано с этой историей. И притом – до такой степени, что он немедленно выбросил протокол, который уже было начал составлять и, повернувшись к Исаяе, взволнованно спросил:

– Вы уверены в этом?.. В этом стуле?

В ответ Исаяя усмехнулся и сказал:

– Неужели вы думаете, что я стал бы воровать чужие сту-

ля?

– И все-таки, вам следовало бы быть немного осторожней, – мягко посоветовал полицейский. – Не все полицейские в этом городе хотели бы встретить новый год в Иерусалиме.

Затем он некоторое время рассматривал стул, после чего спросил:

– Вы позволите мне ненадолго присесть?

– Ради Всевышнего, – и Исаяя вновь улыбнулся. – Для чего же еще он, по-вашему, нужен?

Дежурный полицейский осторожно опустился на стул и некоторое время сидел на нем с закрытыми глазами. Скоро на лице его появилось такое выражение, как будто он слушал первый концерт для фортепьяно с оркестром Иоганна Себастьяна Баха.

Потом он встал, погладил спинку венского стула ладонью и вздохнул:

– Я отпускаю вас, но только через черный ход, чтобы не было потом никаких разговоров. Берите ваш стул и будьте, ради Всевышнего, осторожней.

– Спасибо, – сказал Исаяя, догадываясь, наконец, в чем собственно дело. – В будущем году в Иерусалиме, да? – негромко спросил он, улыбаясь и обеими руками прижимая к себе стул.

– Ба шана хабаа бирушалаим, – полицейский тоже улыбнулся и сделал Исаяе знак не шуметь. – Пойдемте, я покажу

вам дорогу.

– Тогда раба, – сказал Исая, исчезая в полумраке черного хода и радуясь, что Всевышний не только указывает ему верное направление, но и собственноручно ведет его по предназначенному ему пути, зримо являя свою помощь и даруя, тем самым, неложную надежду на благоприятный исход.

Уже много позже, когда, вызывая смех и глупые вопросы, против которых, кажется, было невозможно устоять, Исая появился со своим стулом во втором отделении клиники, Всемогущий вновь показал ему свое могущество, приказав его языку быть столь убедительным, что любой, кто вступал с ним в дискуссию, практически сразу же оказывался побежденным и должен был с позором признать свое поражение. Так случилось и с Иезекииелем, и с Амосом, которые первыми встретились с Исаяей в коридоре клиники, когда он присел на свой стул, чтобы немного передохнуть, прежде чем подняться в палату.

– Значит, вот этот самый стул? – спросил Амос, останавливаясь возле сидящего Исаяи.

– Да, – кивнул Исая. – Этот самый.

– На котором мы сидим, ожидая... Да?

– Да, – Исая погладил край сидения. На спинке стула еще болталась какая-то таможенная квитанция.

– Мы и так его ждем, – сказал Иезекииль, намереваясь задать новоприбывшему хорошенькую трепку. – И при этом – без всяких там стульев. Что это за глупые фантазии, хотел

бы я знать!.. Стул!

– Вам только так кажется, что вы его ожидаете, – Исайя улыбнулся, словно подтверждая этой улыбкой правоту сказанного. – Только кажется, – повторил он голосом, полным доброжелательного превосходства.

Улыбка его вновь расцвела, словно куст роз из диснеевского мультфильма.

– Что значит, кажется? – не понял Иезекииль, почувствовав что-то похожее на тревогу от прозвучавшей в этих словах снисходительности.

– Вот именно, – поддержал его Амос. – Если кому-то и кажется, то уж, во всяком случае, не нам.

– Кажется, это когда вы думаете, что Всевышний вас любит в тот самый момент, когда Он на вас мочится, – сказал Исайя и почему-то показал указательным пальцем на небо, словно опасаясь, что его собеседники забыли, где оно находится. Амос и Иезекииль проследили взглядом за невидимой траекторией начертанной этим пальцем и, переглянувшись, молча сошлись на том, что сказанное, пожалуй, характеризует сказавшего с лучшей стороны, чем они ожидали. Придя к этому выводу, они приготовились выслушать все, что он собирался им поведать.

– Это очень просто, – продолжал Исайя, останавливаясь позади своего драгоценного стула и положив ладони на его спинку. – Когда вы утром встаете и идете, чтобы приготовить свой завтрак, вы не ждете никого, кроме этого вашего

завтрака, потому что вы хотите есть и вам пора на работу. И поэтому, как бы вы ни хотели, вы не можете сказать, что вы ожидаете в это время Машиаха, потому что на самом деле в голове у вас тогда можно найти один только этот завтрак и ничего больше. То же самое происходит, когда вы заняты какой-нибудь работой, воспитанием детей, чтением или разговорами с друзьями, соседями и родственниками. Когда вы болеете или занимаетесь любовью. Когда вы спите. Когда вы моетесь или чистите зубы. Все что вы делаете, может быть чем угодно, но только не ожиданием Машиаха. И не надо успокаивать себя тем, что у вас просто нет другого времени, чтобы ждать его. Потому что время на это есть всегда, стоит только захотеть, чтобы оно пришло. В конце концов, это как молитва. Ты ведь находишь время для молитвы, Амос? Тогда почему ты не можешь найти его для того, кого обещал нам рано или поздно Всемогущий?.. Машиах потому и не торопится, что мы, по сути дела, давно уже не ждем его, а только делаем вид. Мы гуляем, работаем, воспитываем детей, умираем и думаем, что если время идет, то тем самым оно приближает его приход, неважно – хотим мы того или нет. А на самом деле, он приближается только тогда, когда мы его ждем. Зачем ему, подумайте, приходить туда, где ждут чего угодно, но только не его?

Молчание, которое последовало за краткой речью Исаяи, можно было сравнить с капитуляцией попавшей в окружение армии, поспешно бросающей технику, оружие и замира-

ющей в ожидании той минуты, когда победитель продиктует условия сдачи.

Да, Мозес, да. Все было именно так, милый. Потому что, в конце концов, все, что нам следовало делать, это вот так вот просто сидеть и ждать, хотя бы только раз или два в неделю, чувствуя, как время начинает течь правильно и целенаправленно, так что его движение, наконец, обретает смысл, а его исход обещает теперь только одно – долгожданный приход Машиаха.

Ожидание, больше похожее на неторопливый разговор, который ты ведешь сам с собой, не надеясь услышать что-то новое.

– Кажется, это стоит того, чтобы об этом подумать, – проворчал Иезекииль, пытаясь понять смысл бродившей по лицу Исая улыбки.

– Конечно, – сказал Исая и вновь улыбнулся.

– А можно нам тоже иногда сидеть на твоём стуле? – спросил Амос и, получив утвердительный ответ, немедленно уселся на стул, оттеснив от него Исая, впрочем, сохраняя при этом на лице выражение, которое свидетельствовало – он прекрасно понимает, что несмотря ни на что, на свете все-таки еще встречаются вещи, которые следует делать серьезно.

К вящей славе порядка, сэр.

Ибо, прежде чем наступить божественному хаосу и беспорядку, неизбежно следовало пройти через порядок, – как

проходят сквозь любовь, ненависть или смерть. Именно так и звучала эта нелепая истина.

Пройти через порядок, сэр.

Порядок смертей и рождений, чистки зубов и расписаний автобуса, порядок встреч и расставаний, дней, часов и лет. Словно билет, который давал тебе право сесть на автобус, везущий тебя до конечной остановки, которая называлась Царством Божьим или Царством Небесным, Раем, Миром свободы или Новым Иерусалимом, Последним Приютом или как-нибудь там еще – в зависимости от того, откуда тебе приходилось на это смотреть.

Он вдруг вспомнил, во что превращалась эта аккуратная постель после того, как закончив приводить в порядок этот маленький мир на третьем этаже, она, наконец, благоволила обратить внимание на Давида. Во что вообще превращалась эта комната после хрипов, стонов и бессвязных слов, когда, наконец, оторвавшись друг от друга можно было увидеть весь этот лежавший вокруг разрушенный порядок – смятую простыню, упавшие на пол подушки, опрокинутую на ковер лампу, перевернутую пепельницу, – мир, обретавший вдруг, неведомо почему, какую-то загадочную истинность, какое-то понятное без слов правдоподобие, что, конечно, могло служить некоторым утешением, а иногда даже наводило на мысль, что пока время еще не пришло, следовало просто жить, смиренно сообразуясь с этим печальным фактом. А именно – вставать по звонку будильника, чистить



зубы и гладить помятую одежду, рассчитывать до следующей полочки деньги, поливать цветы и вовремя платить за газ, – впрочем, не забывая за всей этой суетой найти время для того, чтобы иногда прислушиваться, не звенят ли уже ключи, отпирающие Небесные врата, за которыми тебя ждал Божественный беспорядок, ничего общего не имеющий с тем упорядоченным бытием, о котором рассказывали философские и теологические трактаты, заставляющие тебя молиться на все эти правила поведения, наставления учителей и занудство родителей – одним словом, на все это наследие Непослушного ангела, пугливо вслушивающегося теперь в таинственные звуки, время от времени доносящиеся с другой стороны Небесных врат, – этого гордящегося своей твердостью и надеющегося на силу порядка Падшего ангела, который, – случись что, – ни в коем случае не даст тебя в обиду...

## 63. Филипп Какавека. Фрагмент 211

«Всякий раз, когда я вспоминаю эту раннюю осень и проселочную дорогу, погруженную в первые, еще едва различимые сумерки, я еще и еще раз спрашиваю себя: что же, на самом деле, я вижу сегодня, созерцая это минувшее, случившееся со мной много лет назад, – эти неясные образы и туманные очертания, почти стершиеся звуки твоего голоса, сохранившиеся в том пространстве, которое мы называем *памятью*? Не есть ли только *ничто*, манящая и дразнящая иллюзия, подобная вдруг вспыхнувшему на водной глади отражению лунного света? Да, ведь, пожалуй, у отражения больше оснований считаться существующим, чем у этого минувшего, которое зачем-то хранит моя память. И все же: разве не дает оно услышать и увидеть себя всякий раз, когда я обращаюсь к нему, или же тогда, когда, не спрашивая моего согласия, оно само вторгается в мои сновидения? Отчего же я с таким упорством продолжаю называть его *бывшим*? Не все ли оно здесь, рядом, лишь скованное какой-то колдовской силой, не позволяющей ему *быть*? Словно обреченное существовать за пыльным и мутным стеклом, которое искажает его образы и лишает его голоса, мое минувшее подчини-

лось чьей-то чужой воле, разделившей нас: меня и мое прошлое, обращая и его, и меня в ничто. Не зовет ли оно меня, чтобы я уберег его от забвения, это минувшее? И не ждет ли оно меня, чтобы преодолеть разделяющую нас преграду? Не тоскует ли оно обо мне, как тоскую о нем я сам?

Идущий много лет назад по этой осенней, погруженной в ранние сумерки дороге, слыша твой голос и шелест опавшей листвы под ногами, не жду ли я по-прежнему спасения и избавления, грядущих из будущего, не различаю ли сквозь мутную пелену времен свое собственное, обращенное ко мне лицо?

Размышляя о Царстве Вечности, некоторые древние учителя учили, что за гранью времени памяти больше не будет. Это не следует понимать, как учение о забвении, но, скорее, как учение о возвращении, – нас ли минувшему или минувшего нам, – не все ли равно?»

## 64. Семейные сцены и никому не нужные воспоминания

Он вдруг вспомнил, как однажды она сказала: – Мы ржали, как лошади.

Иногда она, действительно, была исключительно вульгарна.

– Мы ржали как лошади, – сказала она и засмеялась. Рыжая сучка, – подумал Давид, чувствуя, как ему вдруг стало тяжело дышать. Грязная рыжая сучка. Следовало бы просто встать и надавать ей пощечин, а не смотреть, как она строит глазки Осипу, который, похоже, таял от этого, словно масло на сковородке, и продолжал дальше нести какую-то ахинею, подогретый ее взглядами и, похоже, не очень заботясь о том, как все это выглядело со стороны.

– Например, для меня большим открытием было то, что я не выношу себя с затылка, – говорил Осип, размешивая сахар. – Нет, правда, просто терпеть себя не могу... Серьезно.

– Ты, что – стрижешь себя сам? – спросила Ольга.

– Уже десять лет, – Осип самодовольно улыбнулся. – Однажды я пошел стричься и увидел, что в парикмахерской целая толпа народа. Я повернулся и с тех пор не подходил ни к одной парикмахерской даже близко. Зато теперь я должен

каждый раз смотреть на свой затылок. Когда я его стригу, то вижу в зеркале совсем другого человека. И он мне совершенно не нравится...

– Потрясающе, – Ольга захлопала в ладоши – И со мной то же самое. Ненавижу себя с затылка... Ты представляешь? – она мельком скользнула глазами по Давиду.

– Еще бы, – усмехнулся Давид. – Прекрасна только одномерность. Это все знают.

– Чего? – спросил Осип, не отрывая глаз от Ольги.

– То, что не имеет задницы...

– Я, собственно, говорил о своем затылке, – сказал Осип с некоторой холодностью, словно давая понять Давиду, что в случае чего здесь прекрасно обойдутся и без него.

Вновь скользнувший по нему взгляд как будто охотно это подтверждал.

Кажется, ты опять собираешься все испортить, Дав, – говорил этот слегка обеспокоенный, слегка тревожный взгляд. Мне ужасно весело, а ты хочешь все испортить. Да, что с тобой сегодня такое, в самом деле?..

Конечно, он сам был виноват, что притащил ее сюда, к Осипу, с которым она тоже была когда-то знакома, – в эту вечно для всех открытую квартиру на последнем этаже, с балкона которой можно было видеть каменистую пустыню и шоссе, петляющее между холмами и исчезающее в темно-зеленом пятне лесопосадок.

В эту чертову квартиру, где вечно с ним случалось ка-

кое-нибудь дерьмо со стихийным мордобоем и вызовом полиции или с пьяными шлюхами, от которых потом тошнило и хотелось провести остаток жизни в душе, – в эту чертову квартиру, куда он уже тысячу раз зарекался забыть дорогу и тысячу раз нарушал зарок.

– Между прочим, мы живем в мире чудес, – говорил Осип, продолжая сверлить Ольгу масляным взглядом. – Нет, серьезно. Зачем далеко ходить за примером? Возьмем самый обыкновенный платок. Я имею в виду носовой платок, конечно.

Он полез в нагрудный карман и достал оттуда носовой платок, о белизне которого Давид мог только мечтать.

– Какое это дивное изобретение, не правда ли? – Он легко потряс платком в воздухе, затем сделал вид, что сморкается, после чего сложил платок и убрал его в карман. – Глупая, маленькая тряпочка, а сколько пользы! Страшно подумать, как люди обходились без него столько времени.

Ольга захихикала.

– Причем некоторые, – продолжал Осип, пытаясь изобразить на лице неподдельный ужас, – прекрасно обходятся без него и до сих пор... Нет, нет, нет, о присутствующих ни слова...

Бросив на Давида косой взгляд, она захихикала еще громче.

Чертова самка, – сказал в голове Давида чей-то знакомый голос. – Чертова, чертова, чертова безмозглая самка.

– Впрочем, что уж говорить про других, – Осип вздохнул, делая печальное лицо. – Дай Бог, если я сам только к тридцати годам оценил это прекрасное изобретение.

– Не слишком ли поздно? – улыбнулась Ольга.

– Вот именно, – сказал Давид, чувствуя что, кажется, собирается сморозить какую-то глупость. – Слегка поздновато, мне кажется. Боюсь, что это знание уже вряд ли сделает тебя счастливым.

Сказанная явно не к месту реплика повисла в воздухе. Словно воздушный шарик, зацепившийся за ветку.

– Как знать, – Осип, прищурившись, посмотрел на Давида, словно пытаясь понять, насколько серьезно тот собирается испортить ему вечер.

– Тут и знать нечего, – Давид дал понять, что ни при каких обстоятельствах не позволит делать из себя дурачка. – Слишком поздно значит – слишком поздно и больше ничего.

– Теоретически, – сказал Осип, снова глядя на Ольгу. – Теоретически наш друг, конечно, прав. Но почему?.. Потому что он сам знаком с носовым платком только теоретически. А на деле все обстоит совсем не так, как он думает. Я угадал, верно?

Ольга захихикала. Вызывающе и обидно. Во всяком случае, так показалось Давиду.

– Уверен, что это чистая правда, – продолжал Осип, вежливо улыбаясь. – Могу поклясться, что в твоих карманах не найдется даже что-нибудь отдаленно напоминающее носо-

вой платок.

– Если поискать... – сказал Давид, вымученно улыбаясь. – Если поискать, – сказал он, похлопав себя по карману.

Впрочем, его, конечно, никто не собирался слушать.

Легкая, застольная, светская беседа, черт бы ее побрал вместе с самими беседующими.

К несчастью, у него никогда не было склонности к этому виду искусства. Нести ахинею в обществе себе подобных, легко перескакивая с одной новости на другую – в этом он всегда плелся в хвосте, удивляясь способности других говорить часами ни о чем или поддерживать беседу при помощи всех этих "*кстати*" или "*между прочим*", вот как, например, сейчас, когда Осип вновь продемонстрировал свое умение быть вполне непринужденным, как, впрочем, того и требовали обстоятельства, потому что беседа о платках явно зашла в тупик, а вопрос "*что это мы сидим, словно на похоронах*" как нельзя лучше помогал вернуть утраченную было легкость разговора.

– Нет, в самом деле, – спросил он, поднимаясь из-за стола. – Сидим, как на похоронах... Если никто не возражает, я хоть поставлю Карла Брюннера... Как ты насчет Брюннера? Нравится?

Последний вопрос, само собой, был адресован Ольге.

Было бы странно, если бы она вдруг сказала "нет".

У полки, на которой стояли пластинки, Осип сказал:

– Все походили с ума с этими дисками, а я почему-то



обожаю антиквариат. Между прочим, я собирал их почти десять лет. Есть какая-то прелесть в этом пощелкивании и шипении. Что-то такое домашнее, верно?

Не было никакого сомнения, что он говорил это уже далеко не в первый раз.

– Потрясающе, – Ольга остановилась возле полки. – Какое старье!.. Гуди Флак... – Она провела ладонью по корешкам пластинок. – А у тебя есть Джетро Талл?

– Джетро Талл, – Осип расплылся в улыбке. – Да у меня тут целая куча Джетро Талла. Можешь приходить и слушать сколько хочешь. Но сначала я поставлю Карла Брюннера.

Скотина, сказал про себя Давид, успевая одновременно отметить и это, на первый взгляд безобидное "*можешь приходить и слушать*", и реакцию Ольги, которая вдруг смутилась и пробормотала в ответ что-то вроде "спасибо", или "может и приду", или что-нибудь в этом роде, о чем он, правда, мог только догадываться, потому что в это мгновение ожил саксофон Карла Брюннера и его стеклянный дождь застучал по крыше, делая боль еще невыносимей.

Чертов саксофон, громоздивший целые горы битого стекла, через которые невозможно было пройти, не поранившись.

– Может, еще чаю? – спросил Осип и посмотрел на Давида. – Что-то ты мне сегодня не нравишься, Дав. Сидишь, как на похоронах... Ну, что, чаю?

– С удовольствием, – улыбнулась ему Ольга.

– Боюсь, нам уже пора, – возразил Давид.

– Сейчас принесу, – Осип, похоже, пропустил мимо ушей это "пора", как будто его и не было.

– Собирайся, – сказал Давид, как только они остались одни.

– Я хочу чаю, – упрямо повторила Ольга.

– А я хочу, чтобы мы, наконец, ушли.

– Почему? – она глядела на него широко открытыми глазами, в которых можно было без особого труда прочесть досаду и раздражение, очень похожие на те, с которыми он сталкивался, когда пытался увести ее прочь из какого-нибудь дурацкого бутика.

– Ладно, – сказал Давид. – Ты идешь?

– Какого черта, Дав? – ему показалось, что глаза ее раскрылись еще шире.

– Ладно. С меня хватит. Я пошел.

– Ты с ума сошел? – спросила она, но он уже был в коридоре.

– Ты чего, Дав? – Осип внезапно появился на пороге и посмотрел на него так, словно, наконец, заметил, что тот находится рядом.

– Ничего, – сказал Давид. – Я пошел. Слушайте своего Брюннера, а мне надо работать.

Грохот захлопнувшейся за спиной двери был, конечно, смешнее некуда. Сбегая по ступенькам, он представил себе, как они расхохотались, услышав этот дверной выстрел

и громко выругался. Поднимающаяся навстречу женщина с собакой попятилась и прижалась к стене. Собачка неуверенно тьякнула.

– Гав! – злобно рявкнул Давид, сбегая по ступенькам.

Конечно, и без всякого Филоферия М. было ясно, Кто время от времени вываливает нам на голову ведра с отборным мусором, который висит у нас в волосах или стекает за шиворот. Вопрос, собственно, заключался в другом: с какой целью, сэр?

С какой целью, дружок?

Ведь что бы там ни говорил рабби Ицхак по поводу мужчины и женщины, было ясно, что все женщины – законченные шлюхи и все такое прочее. Законченные шлюхи, Дав. Неоспоримость этого факта была столь очевидна, что, конечно, не нуждалась ни в каких доказательствах, тем более что если бы кому-нибудь и в самом деле вдруг пришло в голову привести в подтверждение этому все имеющиеся в наличии факты, истории, события и рассказы очевидцев, то земля, ей-богу, содрогнулась бы от ужаса, не имея возможности уместить все эти доказательства в тесном пространстве мира, – что, в свою очередь, могло бы само послужить неплохим доказательством всего вышесказанного, сэр. Взять хотя бы сегодняшнюю историю, Мозес.

– Чертова сучка, – повторил он, кривя губы. – Да пошла ты...

Она догнала его уже возле остановки.

– Эй, – сказала она, пытаясь схватить его за руку. – Ты уже совсем спятил, Дав?.. Оставил меня одну, в чужой квартире, да еще с этим твоим озабоченным, у которого, кажется, только одно на уме.

– А то ты не знала, – он вырвал руку.

– Да с какой стати, господи!.. По-твоему, если я дружу с Мирьям, то я должна чего-то знать про Осипа?.. Да я его видела-то всего раза три!

– Неужели? – он вдруг неожиданно почувствовал себя необыкновенно счастливым. – А по-моему, тебе только этого и надо.

Размахнувшись, она въехала ему по спине своей сумочкой.

– Дурак. Ну, почему мне всегда так везет на дураков?

– Наверное, потому что ты сама дура, – сказал он, особенно не думая, что говорит.

– Наверное, – согласилась она. – Подобное тянется к подобному.

В голосе ее уже можно было слышать признаки близкого примирения.

– А кого ты еще имела в виду? – спросил он, чувствуя, как боль проходит.

– Неважно, – сказала она, явно для того, чтобы позлить его.

– Ну, еще бы. У вас все дураки, кто не пляшет под вашу дудку.

– Конечно, – она улыбнулась. – Проводишь меня до следующей остановки?

– Да, хоть до дома, – сказал он, поворачиваясь.

Некоторое время они шли молча. Потом она осторожно взяла его за руку. Кажется, немного посопротивлявшись, он уступил.

Древняя, как мир, игра, сэр, когда один делает вид, что убегает, а второй – что догоняет его.

– Вообще-то все это было довольно глупо, – он вдруг резко остановился посередине тротуара. – Я готов немедленно загладить свою вину...

– Неужели? И чем, интересно?

– Да, – сказал он, набирая в легкие побольше воздуха. – Хочешь выйти за меня замуж?

Впрочем, возможно, что он сказал это, не останавливаясь, а продолжая идти, а остановилась как раз она, когда услышала, как он сказал:

– Хочешь выйти за меня замуж?

– За тебя? – Ее глаза вдруг снова раскрылись, как тогда, когда она натыкалась в каком-нибудь бутике на что-нибудь интересное. – Ну, конечно, нет.

– И почему? – Давид почувствовал, как у него похолодела спина.

– Потому что ты ревнивый козел, – сказала она. – Вот почему... Тупой, гадкий и ревнивый. Кажется, я не давала тебе пока еще никаких поводов.

– Мне так не показалось, – возразил Давид.

– Ему не показалось, – передразнила она и издевательски засмеялась. – Скажите пожалуйста, какой наблюдательный.

– Конечно. Ты сидела и слушала, раскрыв рот, всю эту ахинею, которую он нес, а я должен был, как идиот, сидеть и тоже все это слушать!

– Ты сам меня туда привел. А что мне было еще слушать? Тем более что он ничего такого не говорил. Не понимаю, чего ты завелся.

– Не понимаешь?

– Конечно, нет.

– Пусти, – он попытался вырвать руку, а впрочем, довольно миролюбиво.

– Вот это все, что ты умеешь, – сказала она, не отпуская.

– И кое-что еще, – упрямо продолжал Давид, уже не особенно стараясь вырваться.

– Да, перестань же, наконец, – она схватила его за обе руки и не отпускала. – Между прочим, он стал довольно симпатичным, этот твой Осип. Просил тебе передать, чтобы ты не сердился. Вы давно с ним знакомы?

– А что? – спросил он, подозрительно глядя ей в глаза.

– Ничего, – сказала она. – Просто спросила.

– Сто лет. Мы вместе служили в армии. В одном взводе. Однажды он действительно мне здорово помог.

– Вот видишь. А ты ведешь себя, как неблагодарная свинья.

– Какая уж есть.

– Он же не виноват, что у него все написано на лице, правда?

– А у него написано?

– Еще бы. Большими, большими буквами.

– А я тебе что говорил? – сказал Давид и добавил. – Между прочим, я сделал кой-кому предложение

– Насчет чего? – спросила она

– Насчет всего.

– Ты это серьезно?

– Конечно, нет, – он опять остановился и повернул ее к себе. – С чего это ты взяла?

Ее лицо вдруг оказалось совсем близко.

– Дав, – сказала она едва слышно. – Дав. Ты самый мерзкий из всех людей, которых мне приходилось встречать.

Ее губы пахли сладкой клубничной помадой.

– Ты будешь весь в помаде, – прошептала она.

– Плевать. Главное, все-таки, что я буду.

Клубничный поцелуй, сэр.

В некотором роде – отблеск Рая, Мозес. Что мог бы подтвердить тебе любой, кто однажды чувствовал его вкус на своих губах.

– Мне кажется, ты опять думаешь о женщинах, Мозес, – сказал Амос, подвигая кресло и садясь прямо напротив Мозеса. – У тебя такое лицо, как будто ты собираешься сейчас кончить.

– Господи, Амос, – сказал Мозес, расставаясь с тем днем и возвращаясь к действительности, которая вдруг показалась ему ужасно убогой и неприветливой. – Господи, Амос, – повторил он, не желая открывать глаза. – Шел бы ты уж лучше к черту. Нельзя же, в самом деле, быть таким грубым.

– Скажите пожалуйста, какие мы нежные, – Амос пересел с кресла на стул. – Между прочим, я только констатирую факт... Ты ведь знаешь, что если тебе попался какой-нибудь факт, то его надо законстатировать, пока кто-нибудь не сделал это вместо тебя.

Мозес открыл глаза и с сожалением посмотрел на Амоса.

– Глупости, – сказал он, чувствуя, как ощущение поцелуя на губах тает и исчезает. – Есть такие факты, которые в случае чего сами могут легко отконстатировать тебя по полной программе.

– Назови хоть один, – попросил Амос.

– Ну, не знаю. Например, факт неизбежной смерти.

– Вот видишь. Я ведь сказал, что ты думал о женщинах. У меня на это нюх... Сначала ты думал о смерти, а потом стал думать о женщинах, потому что только женщины в состоянии отвлечь нас от погребальных размышлений... Ты слышал, Иезекииль? – Амос повернулся к читавшему газету Иезекиилю. – У нашего Мозеса, кажется, опять начался период мартовской течки. Он снова думает о женщинах.

– Я думал о своей невесте, – сказал Мозес, чувствуя вдруг, что ему совершенно все равно, как воспримет это сообщение



Амос и остальные. – Я думал о своей невесте, а это все-таки немножко не то, о чем вы думаете.

– Извини, – Амос, кажется, немного смутился. – Я и не знал, что ты о ней думаешь. Я решил, что ты думаешь о каких-то посторонних бабах... Прости, если напомнил тебе что-нибудь печальное.

– Ничего, – сказал Мозес.

Ничего такого, сэр.

Ничего такого, дурачок.

– Женщины посланы нам в наказание, – сказал Иезекииль, опуская газету и смотря на Мозеса поверх очков. – Наверное, для того, чтобы мы не слишком много задавались. Ну, кто, интересно, будет задаваться, если у него в штанах болтается такая штуковина, которая вечно тянет тебя на какие-то сомнительные подвиги и дергается от всякой проходящей мимо женской задницы?.. Ну, подумайте сами.

– Никто, конечно, – согласился Амос, пересаживаясь в кресло.

– Вот и я говорю, – подтвердил Иезекииль, вновь исчезая за газетой. – Все эти чертовы эмансипе забывают, что природа унизила в первую очередь, не их, а мужчину.

– Ну, уж не так она нас и унизила, – сказал Амос.

– Ну, если тебе нравится обливаться потом и изображать своей задницей швейную машинку, тогда, конечно, пожалуйста, – бросил Иезекииль из-за газеты. – Во всяком случае, когда у меня закончился репродуктивный период, я по-

чувствовал себя так, словно слез с бешеного коня.

Пока Амос раздумывал над тем, как бы ему получше ответить, сидящий рядом старик Допельстоун сказал:

– Женщины – как мухи. Даже хуже. Жужжат вокруг тебя, а потом оказывается, что ты загажен весь с ног до головы. – Он посмотрел на Мозеса и добавил, почему-то понизив голос. – А некоторым, боюсь, не удастся отмыться до самой смерти.

Если особенно не приглядываться, то в свои восемьдесят с чем-то Допельстоун выглядел весьма и весьма прилично. Нарумяненные щеки. Подведенные глаза. Замазанные морщины. Гладко выбритый подбородок. Каштановый парик кокетливо завивался на плечах. Пластмассовый набалдашник тонкой трости изображал череп, проросший побегом розы.

– Похоже, ты знаешь, что говоришь, Доп, – сказал Амос.

– А ты как думаешь, сынок, – Допельстоун переложил свою трость из одной руки в другую. – Во время войны я был лейтенантом и отвечал за санитарное и техническое состояние передвижного борделя. Можешь быть уверен, что зря времени я не терял.

Опустив газету, Иезекииль с уважением посмотрел на Допельстоуна и покачал головой.

– С ума сойти, – удивился Амос. – У итальянцев были передвижные бордели?!

– А то, – Допельстоун улыбнулся Амосу, как улыбаются несмышленому подростку. – Они были у всех, кроме русских, которые сначала строили из себя целомудренных це-

лок, а потом изнасиловали пол-Германии. Нельзя пускать такую силу на самотек, вот что я вам скажу. Во всем должен быть порядок, а уж в таком-то деле, как это, так и подавно.

– Ты никогда про это не рассказывал, – сказал Амос.

– А что там рассказывать? – пожал плечами Допельстоун. – Нечего такого. Всего делов, что передвижной бордель. Два грузовика. И еще двадцать молоденьких шлюх, которые решили поддержать в трудную минуту родную страну. Слышали бы вы, как они трещали и ругались, когда что-то шло не так, как надо. – Он негромко захихикал и потер руки.

На лице Амоса появилось мечтательное выражение.

– Двадцать шлюх, – сказал он, стукнув ногой по ноге Мозеса. – Это прямо-таки какой-то исламский Парадиз.

– Гораздо лучше, – улыбнулся Допельстоун.

– Как тебя только не стошнило, – пробормотал Мозес.

– Не слушай его, Доп, он просто завидует, – сказал Амос – Посади его среди такого цветника, и он распустится не хуже твоей розы... Надеюсь, ты-то не посрамил мужского братства? Небось, до сих пор посылают тебе открытки, верно Доп?

– Ничего они не посылают, – Допельстоун вновь переложил свою трость из одной руки в другую. – Посылали бы, может, если бы не угодили под бомбежку.

– Да, ну, – сказал Амос.

– Вот тебе и "да, ну". Это было где-то возле Палермо. Никто не успел даже сказать "Господи, помилуй". Бах, – и от

них осталась одна только воронка. Большая такая, черная воронка с целой кучей разноцветных лоскутков по краю. – Он негромко засмеялся, словно мысль об этой воронке посреди дороги вызывала у него самые теплые чувства.

– А ведь самое интересное, что я сам чуть было не женился на одной из этих девок. Вот был бы номер. Ее звали Мария. Мария Кульбе. Ей было восемнадцать лет. Совсем девчонка.

Взгляд его вдруг просветлел и стал сосредоточенным, как будто он увидел сейчас что-то, чего не видели и не могли видеть остальные.

– Понятно, – кивнул Амос, посмотрев на Мозеса.

– Она взяла с меня слово, что если она согласится выйти за меня замуж, я никогда не напому ей, чем она занималась.

– Плохо же она знала мужчин, – сказал Мозес.

– Вот и я говорю, – вздохнул Допельстоун – Быть героем пару раз и ненадолго – это сумеет почти каждый, но быть героем всю жизнь, это уже, извините, совсем другое дело. Не думаю, чтобы у меня получилось.

– Выходит, что Всевышний как всегда распорядился всем правильно, – сказал Амос.

– Иногда я тоже так думаю, – согласился Допельстоун. Потом он полез в карман и достал оттуда мятый листок бумаги.

– Кстати, чуть было не забыл.

– Что это? – спросил Амос.

– Письмо в администрацию. По поводу безобразного по-

ведения охраны в ночную смену... Мы должны объединить свои ряды, чтобы добиться справедливости.

– О, нет, – сказал Амос.

– Что значит "нет". Нам следует решительно отстаивать свои права, надеюсь, мне не надо доказывать, как это важно в современных условиях? Иначе они совершенно обнаглеют. Если бы все в мире отстаивали свои права, мы давно бы уже жили в Царствии Небесном... Давайте, давайте, подписывайте. Не упрямитесь... Есть ручка, Мозес?.. Если нет, то возьми мою.

– Ладно, – вздохнул Амос. – Только из уважения к этой твоей... как ее?.. Марии.

– К Марии Кульбе. Кажется, она была родом откуда-то из Фландрии.

– Да примет ее душу Всемогуший, – сказал Мозес.

– По правде сказать, иногда мне даже становится не по себе, – старик Допельстоун вдруг оторвался от своих бумажек. – Ее нет на свете уже шестьдесят лет, а я до сих пор помню, как пахли ее волосы. Мне кажется, это непорядок.

## 65. Филипп Какавека. Фрагмент 71

«НИ О ЧЕМ. Что же еще может сказать в свое оправдание этот мир, если сам он – *ни о чем*? Все его слова и заверения, обещания и глубокомысленные рассуждения, о чем бы ни вели они речь и куда бы ни звали, – всегда ни о чем, и никогда – о чем-то. Да, и как иначе, если в своей глубине или на поверхности, в своем прошлом или будущем, в своих праздниках и победах, в вещах и воспоминаниях, мир всегда ни о чем? Ни о чем и этот закат, и эта трава, и эти улицы, и сам город, ни о чем крушение империй и кружение звезд, время и пространство, и даже сама Истина, – такая, какой ее рисуют придворные живописцы, – все это: *ни о чем*

Что же значит это *ни о чем*? О чем оно? – Привычка задавать подобные вопросы свидетельствует только о том, что мы еще не до конца погрузились в *ни о чем* этого мира и его вещей, еще не до конца утомились бродить по его пустым коридорам, плутать по бесконечным лестницам и переходам, еще не окончательно утратили надежду, заглядывая в пустоту бесчисленных комнат, отыскивая в них следы обещанного. Ведь это *ни о чем* потому и носит это имя, что оно подлинно *ни о чем* – о чем бы оно ни говорило, что бы ни утверждало и чем бы ни казалось. Не грядущая ли с неизбежностью смерть обращает все в это *ни о чем*? Не ей ли дано с лег-

костью превращать всякое о чем-то в свою противоположность? Но ведь и сама она тоже *ни о чем* – ничуть не менее чем все остальное. Впрочем, меня не убеждает и радость о том, что лежит по ту сторону мира, ибо и по ту сторону его царствует все то же, легко узнаваемое, *ни о чем*. И тот Бог, о котором пишутся книги и ведутся дискуссии, Он-то уж совсем ни о чем, – божественное ни о чем, творящее ни о чем этого мира, этого неба за окном и этой комнаты, где я пытаюсь, как умею, отыскать слова, способные передать молчание этого царствующего *ни о чем*

## 66. Первое появление Самаэля

Конечно, ему было хорошо известно, что Дьявол появляется там, где его меньше всего ждут. И все-таки, это сегодняшнее явление было просто из ряда вон. Тем более что ему и так было не слишком-то удобно стоять в этой толпе на задней площадке, между такими же, как и он, с трудом втиснувшимися в автобус и держащимися теперь кто за что. Он, например, держался одной рукой за верхний поручень, а другой – за спинку сидения, и это было, по правде сказать, не так уж и плохо. Пожалуй, лучше было и не придумать, потому что многие вокруг вообще не держались ни за что, а стояли, стиснутые со всех сторон такими же, как и они, полагаясь только на свои ноги и на то, что, в случае чего, им не дадут упасть сердобольные пассажиры. Хотя, между нами говоря, эта надежда не стоила и ломаного гроша, потому что в таких делах – каждый за себя, другими словами, кто смел, тот и съел, и к этому, пожалуй, уже нечего было больше добавить. Разве только то, что ничего хорошего в этом стоянии, как будто, не было, а была, напротив, какая-то горечь и тоска, какая-то неправда, от которой пальцы непроизвольно сводило в кулак и ходили на скулах желваки, тем более, что для того чтобы убедиться в этом, достаточно было совсем немного, – просто взять и посмотреть на тех, кто



всеми правдами и неправдами успел занять сидячие места. На всех этих развалившихся, расслабившихся, поставивших на колени свои сумки и портфели, расстегнувших верхние пуговицы и теперь делающих вид, что они заняли эти места по праву, что позволяло им теперь с пренебрежением поглядывать на стоящих вокруг, как будто эти стоящие были тут не совсем уместны, не совсем приличны, тем более что они всячески норовили прижаться к сидящим своими коленями, плащами и сумками, наваливались телами, когда автобус начало или норовили зацепить и порвать одежду, когда они протискивались вперед, отчего на лицах сидящих, как правило, проступало выражение какого-то брезгливого превосходства, которое время от времени сменялось маской невинного страдания, так, словно если бы они только захотели, то могли бы немедленно поведать миру потрясающую повесть о своих муках и исключительном терпении. Хотелось, не долго думая, дать им чем-нибудь тяжелым по голове, потому что это было бы, во-первых, уместно, а во-вторых, справедливо, и об этом, между прочим, свидетельствовало и красное сияние, вспыхнувшее где-то впереди, у самой кабины водителя, – этакое бледное поначалу сияние, которое, впрочем, все разгоралось и разгоралось, указывая место на передней площадке, где происходило теперь что-то ужасно важное, так что многие уже перешептывались и вытягивали головы, чтобы посмотреть, что же все-таки там такое происходит, пока, наконец, долетевший оттуда голос, сказавший «*Билетики*

*приготовим»*, не поставил все на свои места. Страшный Суд, вот что это такое было. Страшный Суд, Мозес, и ничего более. Он и сам поднял было голову и даже чуть наклонился в сторону, желая получше рассмотреть происходящее, но сразу же вслед за этим поспешно вернулся в прежнее положение, сжался за спинами вокруг стоящих, почувствовав тревожный озноб и желание спрятаться, раствориться, очутиться за тысячу миль отсюда, как это было когда-то в школе, когда учитель надевал очки и раскрывал классный журнал. – Беги, Мозес, беги. – Потому что там, в красном сиянии, еще отгороженный от тебя спрессованной толпой и отсюда пока еще не отчетливо видный, двигался кто-то, с кем ты хотел бы встретиться меньше всего, – с этим раскинувшим над головами пассажиров даже не черные, а какие-то бездонные крылья, чье бледное сияние могло заморозить кого угодно, в особенности, если зазевавшись забыться и, не отрывая глаз, смотреть и смотреть, медленно погружаясь в эту клубящуюся пучину, в глубине которой вдруг начинали медленно проступать звезды – стоило только приглядеться, как было уже не отвести глаз – серебряные, изумрудные, бирюзовые и золотые – вот загорелся Млечный путь и вспыхнула Утренняя звезда, сплелись, цепляясь друг за друга, незнакомые созвездия, закручиваясь спиралями, поплыли во мраке ракушки Галактик, мерцая, разгорались и гасли жемчужные облака пыли, – крылья, с головой выдававшие Князя Тьмы, самого Великого Контролера, который медленно протискивал-

ся сквозь толпу, досадливо хмуря лоб и сверкая из-под капюшона белками глаз, – протискивался, распространяя вокруг себя красное сияние, время от времени останавливаясь и не забывая напомнить о себе, настойчиво и серьезно. «*Билетики, попроси билетики*», – говорил он, не опасаясь, что его не услышат или не поймут, потому что его превосходная дикция не оставляла никаких лазеек даже для глухих, она настигала, не оставляя возможности ни возразить, ни спрятаться, так что каждый, кто слышал эти слова, вдруг начал понимать, что лучше человеку быть брошенным в море с привязанным к шее жерновом, чем оказаться без проездного билетика в этом вечернем автобусе, в ожидании плывущих в твою сторону траурных, раскрытых над головой, крыльев, ненавязчиво напоминающих тебе, что пришло время Страшного Суда, о чем свидетельствовал, в первую очередь, этот лучший в мире Контролер, мимо которого не сумело бы проскользнуть даже спешащее в Шеол Божье дыхание. Похоже, ему даже не было нужды ничего проверять, потому что он заранее знал имена всех, у кого не было в кармане спасительного билетика, как знал, конечно, и все их заранее приготовленные увертки и отговорки, вроде отсутствия денег, рассеянности или срочной необходимости посетить заболевшего отца, – существенным было лишь это отсутствие билета, за которое полагалось немедля отправиться туда, во тьму внешнюю, за дверцы автобуса, где стоял плач и скрежет зубовный, и уж во всяком случае, где не было никакой на-

дежды, как об этом убедительно свидетельствовали святые всех рангов и конфессий. – Никакой надежды, сэр. Вот ведь должно быть, местечко. – Пожалуй, в этом отсутствии надежды было даже что-то смешное, – во всяком случае, Мозес почувствовал вдруг легкое щекотание в горле, – некое предвестие смеха, впрочем, вполне понятное, потому что, в конце концов, это отсутствие навсегда освобождало нас от всяких страхов и торопило смех, который всегда приходил, чтобы посмеяться над этими потерявшими свою силу страхами, – этот непристойный смех, впрочем, больше похожий на зубовный скрежет, – к тому же, он не имел ни имени, ни пристанища, потому что куда бы он, в самом деле, мог теперь пойти после того, как надежды не стало? – Даже сквозь сон Мозес, кажется, немного огорчился тому, что такая ахиня находит себе место в его голове. Она была похожа на заплесневевший бутерброд, случайно обнаруженный в дальнем углу холодильника. На чай, который простоял на подоконнике три дня. Было бы намного лучше, если бы ему приснился сегодня Большой Филармонический оркестр, как это однажды случилось с Иезекиилем, который благодаря этому всю ночь слушал свою любимую увертюру к Тангейзеру, не опасаясь, что соседи перестанут с ним здороваться или проткнут у его велосипеда шины. Впрочем, сон еще продолжался. Уже на последнем выдохе, уже на излете, он заставил Мозеса похолодеть и судорожно сунуть в карман руку – и все это, разумеется, только затем, чтобы продемонстрировать царящую

там девственную пустоту. Еще один карман, вывернутый наизнанку, наводил на подозрение, которое вот-вот должно было стать уверенностью. «*Билетики, билетики, попрошу*», – раздавалось совсем близко. Красное сияние плыло уже почти над его головой. Если бы не разваливающийся сон, который походил теперь на тлеющий в разных местах лист бумаги, то он, наверное, попытался бы спрятаться за чужими спинами или, скорее всего, просто заорал бы во всю силу легких, призывая вернуться плотную, устойчивую и безопасную явь. Но сон и без того истлевал прямо на глазах, – явь, словно червь, изгрызла его плоть и теперь проступала за тлеющими прорехами, уже вполне внятно давая понять, что там, за дверями автобуса нет ровным счетом ничего, потому что не могло же, в самом деле, существовать еще что-то, помимо этой разъедающей сон яви, что было одновременно и смешно и, вместе с тем, неудобно и тревожно, потому что куда, в самом деле, было спешить тогда этому автобусу и всем тем, кто в нем ехал, если за его окнами не было ровным счетом ничего, кроме подступившей тьмы, лишенной каких бы то ни было признаков жизни? – Конечно, в первую очередь следовало бы задать этот вопрос тому, кто был уже совсем рядом, ах, если бы он только не был так заносчив, так упрям и так уверен в своей правоте, этот Великий Кондуктор, угрюмо взирающий на мир через призму божественных инструкций и циркуляров. Начальник всякого порядка. Великий и угрюмый Самаэль, сэр. Он всегда выглядит таким серьезным, что мне

его иногда становится жалко. Сколько я его помню, он ни разу даже не улыбнулся. Щипчики в его руках, впрочем, все еще весело щелкали, пробивая очередной билет, но вздымающиеся над головой крылья уже побелели и стали похожи на слепленные на скорую руку старые театральные декорации из папье-маше. С них сыпались обрывки газет и бумажная пыль – некое подобие небесной перхоти, которая ложилась на волосы пассажиров и капюшон Великого Кондуктора, кружилась в воздухе, засыпая всех этих сидящих, стоящих, дремлющих и бодрствующих, которые уже сами походили на плохо одетые манекены, какими они, впрочем, и были, о чем свидетельствовали их нелепо вывернутые руки и шеи, так что было не совсем понятно – у кого, собственно, предписывали небесные инструкции требовать билеты, ведь не у манекенов же, в самом деле; но ответить на это уже не было ни времени, ни желания, потому что прорехи приближающейся яви, как сыпь пошли по всему пространству сна, где больше, где меньше, одна из них погасила красное сиянье, а другая разъела одно крыло и теперь медленно съедала пространство над головой и часть плеча, так что не оставалось никаких сомнений, что Князь тьмы уходит в небытие – это было совсем не так красиво, как могло показаться и, скорее, походило на плавящуюся кинолентку, на которой деформированное изображение не чувствует ни страдания, ни страха, ничего из того, что делает нас людьми. Впрочем, прежде чем исчезнуть совсем, он успел посмотреть на

Мозеса, давая тому возможность отметить, что глаза уходящего полны невыносимой боли и еще более невыносимого высокомерия, – подлинность того и другого удостоверилась их неразрывным соседством. – Похоже, он даже хотел что-то сказать ему напоследок, – что-нибудь, разумеется, подобающее месту и случаю, например *«До следующего раза, дурачок»* или *«Билетики ведь не дураки придумали, Мозес»*, или же *«А ты держался молодцом, Мозес»*, однако вместо этого его рот открылся и произнес то, что произносил всегда, а именно – *«Билетики, попрошу билетики»*, и как будто даже протянул перед собой руку – хотя эти слова уже не имели никакого смысла, потому что прежде, чем он открыл рот, они уже осыпались, закружились вместе с бумажной пылью, разлетелись, подхваченные ветром, – Мозес все-таки машинально сунул руку в карман, чтобы напоследок нащупать там какой-то клочок бумажки, – словно некто подал ему в последнее мгновение руку помощи или подсказал вдруг правильное решение, от которого зависела вся жизнь. Впрочем, была ли эта бумажка действительно билетом, об этом можно было теперь только догадываться.

## 67. Филипп Какавека. Фрагмент 349

«Спрашивает Августин: дай мне узнать и постичь – надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе? Или – чтобы познать – надо именно это: воззвать к Тебе до и прежде всякого познания?»

Взывание, как условие и основание познания, – зов, как метод направляющий нас к Истине, – кому придет охота углубляться в такую сомнительную эпистемологию? Да ведь и сам Августин прежде всякого зова указывает на веру, предваряющую зов и возвращающую нас этим предварением в границы понятного. Ибо и в самом деле: как взывать не зная? Ведь и та вера, о которой говорит Августин, в конечном счете, обнаруживает себя, как знание.

И все же нам следует идти именно этим путем. А лучше сказать – идти безо всякого пути, ибо взывать в никуда, значит находиться так далеко от каких-либо путей, как это только возможно.

Я сказал «в никуда», и это именно то, что я хотел сказать. Ведь указующее направление «к Тебе», в действительности не указывает ни «туда», ни в какую бы то ни было противоположную «сторону». И само это «Ты», оно, воистину, не



«это», и не «то», а разве только вот что: условие самого этого нелепого зова, – сомнительная возможность, обрекающая нас на взывание, – Ничто и Нигде, не соприкасающиеся ни со мною, ни с миром, ни с Истиной. Не смешно ли взывать в это Никуда, к этому Нигде? Не подтверждает ли сам этот зов, что «Ты» – всего лишь жалкая метафизическая метафора нашей оставленности?

И все же: не оно ли, это взывание, и есть тот последний «метод», к которому нам следовало бы обратиться, – то первоначало, которое мы уже давно устали искать, но о котором все еще храним смутную память, как о самом главном? Не есть ли они, и впрямь, самое главное – все-вновь-возвращающее или, быть может, все-вновь-творящее? Разве ни с него начинается само Начало? И возвращающее меня Возвращение, не обещано ли им – зовущим? Не тем ли и наполнено оно, это взывающее?

Чем больше вслушиваюсь я в него, тем прозрачнее делается память о других путях, так глубоко погружаюсь я в окутавшее землю ночное безмолвие, не помнящее даже самого себя. Но если это взывание принадлежит кому-то, – спрашиваю я дальше, – может ли оно быть условием условий и началом начал? Если оно только лишь *чье-то*, – не погасит ли его налетевший ветер, не заглушит ли шум дождя или грозовые раскаты? Не есть ли оно все же нечто большее, чем просто в одиночестве взывающий голос?

Странные подозрения приходят здесь, вдали от проверен-

ного и достоверного. Не есть ли, – спрашиваю я, вслушиваясь в тишину ночи, – не есть ли сам я только это, всего только это и ничего больше – это взывание?

Не взывающий – ибо я уже все отдал своему взыванию, – но само это взывание, без устали зовущее и не желающее знать ничего, кроме самого себя, ведь ничего другого, похоже, уже не осталось ни на небе, ни на земле. Не это ли взывание и есть моя подлинная «природа»? Выплеснувшаяся наружу глубина, не желающая больше оставаться в глубине? Богатство, бегущее прочь от своих сокровищ, чтобы обрести, быть может, себя в последней нищете? И весь этот мир с его плывущим над рекой туманом и хороводом созвездий, не есть ли и он тоже только зов – не взывающий только, но само взывание, взывающее в ничто и в никуда? Не жаждет ли и он преодолеть вместе со мной свою опостылевшую глубину, чтобы вернуться к изначальной простоте, – мир, ставший зовом, чтобы взывать о невозможном? Разве не рождаюсь я в этом зове вместе с миром, обнаруживая уже не чужие, но свои собственные границы, которые простираются настолько далеко, насколько способен простираться наш зов? Разве не кончилось время распри между мной и миром, – время, наполненное всеми чудесами, кроме одного: чудом Возвращения?

Мир, как взывание, взывающее в своей оставленности, мир, постигающий свою сущность, как оставленность, которую уже не отличить от зова, – не стоим ли мы уже там, где

нам уже нечего искать? И нечего ждать?

И все же мы выбрали верное направление – если, конечно, это можно назвать направлением: стояние в пространстве, очерченном зовом, или – какая разница – в пространстве, очерченном самим тобой. В пространстве, где знаком каждый камень и каждое слово. Но не есть ли всякое стояние – стояние-перед... – и не само ли, это стояние, рождает то, перед чем оно дерзновенно стоит? Не есть ли оно поэтому всегда пред-стояние, пусть оно и открывается самому себе, как предстояние, предстоящее перед ничем. Не есть ли оно самое простое из всего возможного, это предстояние? И ни оно ли одно заслуживает, несмотря ни на что, чтобы мы называли его Ожиданием? Ведь даже само Время, сделав полный круг, стало ожидающим, не способным ни оберегать собранное, ни открывать новое.

Ни тоже ли скажем мы и о вере, ничего не обещающей, хранящей свою пустоту, как бесценный дар – не о вере, о которой рассказывают «Катехизисы», а о той вере, которая рассказывает сама о себе, в час, когда она приходит, неотличимая от тебя самого? Ведь она – только другое именование зова и ожидания, оставленности и предстояния, предстоящего перед тем «Ты», чье существование кажется и немислимимым, и невозможным. Думая еще глубже подчеркнуть эту невозможность, мы сравниваем его с эхом или тенью. Эхом, возвращающегося к нам от нашего зова, и тенью, которую отбрасывает наше предстояние.

Впрочем, чаще всего, мы не отдаем себе отчета в том, что и то, и другое – это только наши собственные, давно забытые имена».

*В оформлении обложки использована фотография с <https://pixabay.com/> по лицензии CC0, License*